

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

и. о. начальника отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Верстка: **О. Н. Вялкова**

Корректурa: **М. Н. Долгов**

5/2017

Содержание

ПРОЗА

Владимир ЗЛОБИН. Гул. Роман. Окончание.	3
Геннадий БАШКУЕВ. Сложная пара. Рассказ.	61
Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Хромой пастух. Сендушная сказка.	79
Евгений ПРОКОПОВ. Байки о новосибирских художниках. Миниатюры.	119

ПОЭЗИЯ

Надя ДЕЛАЛАНД. Смысл облаков. Стихи.	58
Андрей АНТОНОВ. Веселья тихая страница. Стихи.	71
Наталья АХПАШЕВА. На дне ночного неба. Стихи.	116
Дмитрий ЛЕГЕЗА. Доктор Франк. Стихи.	126

ЖУРНАЛЬНЫЙ МИР

«Витражи» (Мельбурн)

Мария РУБИНА. Золушка и Людмила Улицкая.	129
-------------------------------------------------------	-----

«Дон» (Ростов-на-Дону)

Вячеслав НИКОНОВ. «Люблю России честь...»

Пушкинские уроки лидерства.	132
------------------------------------------	-----

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Людмила ЯКИМОВА. Мемуары ученой дамы. Продолжение.	160
-----------------------------------------------------------------	-----

Картинная галерея «Сибирских огней»

Павел МУРАТОВ. Монументалист Василий Кириянов.	180
-------------------------------------------------------------	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор-руководитель ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Владимир ЗЛОБИН

ГУЛ

Р о м а н*

XXV.

Шинельные швы плотно обложила белесая вошь, от которой тело нудело, как от мелкой назойливой работки. Крепкими желто-черными ногтями Жеводанов почесал кожу. От ночевки на земле она задубела. Не эпителий, а гофрированная бумага, которой в конце германской перематывали бойцы рваные раны. Ногти у Жеводанова удлинлись. Под них забились еловая грязь, а если поднести солдатские коготки к свету, внутри черноты загорался розовый огонек, будто капля крови упала в чернозем.

«Пора бы подстричься, — решил Жеводанов. — Зарос, крестьянином стал. Поди, и погоны больше не отличат от человека: грязь звездочки закрыла. Отколупать, что ли? До чего же скучна война без смерти. Грязь, нищета, голод... Через год то же самое, может быть, слякоть добавится или злой холод. Для этого войны и не надо. Можно и городovým побыть, вот как тогда на улочке — там и смерти больше было. Кабы был поумней — словил тот портфель. Ха, рифмую, точно мальчишоночка. Вот он, спит. Носиком трепещет. У-лю-лю, не ложися на краю! На войну за честной смертью идут, а тебе — обман: похлебай годик баланду, кофе из цикория, сидишь, считай, под обстрелом, фронт то вперед, то назад. Скука. Под дождем можно и дома пожить. Вырыл окоп за домом да становись героем. Война на то и война, что там смерть живет. С войны только блохи на собаке возвращаются. Хорошо бы еще на мобилизационном пункте устраивали сестрички благотворительную лотерею: кому штыком легкое продырявит, кому газ, пуля, шрапнель. Что призывнику попалось, то он и щет. Вот это по справедливости. А так... обман один!»

Жеводанов нехотя моргнул. В глазах из горизонтали в вертикаль повернулся зеленый зрачок. Мужчина поскреб спину и снова посмотрел на ладонь. На ней лежала черная жесткая щетинка. Каждое утро надирал Жеводанов с загровка целый пук колкой щетины. «Ничего, —

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 3, 4.

подумалось офицеру, — зимой от подшерстка теплее будет. Можно в снегу спать, если силища раньше не явится. Как ей не явиться?! Даже Елисей Силыч обещал. Он в этих делах понимает. Хоть живет коровой, но понимает. Интересно, когда ангелочки будут его на небо тащить, у них пуп не развяжется? Тяжело Елисеюшкина гордыня весит: никтоде, кроме истинно православных, не спасется. Так, получается, тех, кто крестится иначе или неправильной рукой ест, — тех в ад? По мере, а не по вере? Чушь же! Вот как Хлытинушка говорит? Справедливо ведь указал. Нет, этого не приемлю. Верю, что каждый может заслужить... что — не знаю. Такое вот... чтобы заросшие раны разом раскрылись... чтобы жизнь свернулась в бумажный лист и самолетиком — на новые небеса. Чудо? Да хоть горшком назови. Мне — силища больше нравится. Чудо бывает, когда ребенок в речке не утонул или потерянный кошелек вдруг нашелся. Тьфу! А вот силища... Силищей успешные роды не назовешь. Я к ней давно приготовился, знаю, что в ответ крикнуть. Пусть только спросит, только намекнет! Я сразу раскрою, зачем жил и ходил по земле Виктор Игоревич Жеводанов!»

Офицер посмотрел на Костеньку Хлытина. Тот был такой юный, такой смешной — мыкался, шлепал правой ножкой, грязь к нему почти не приставала, а та, что ложилась на гимнастерку, оттиралась маленьким пальцем, старательно, как в гимназии выскребают из тетрадки помарочку. Идет — думает. О чем думает? О глупых эсеровских делах думает. О крестьянах, Учредилке, о Любе или Даше, которым посвящал слишком смелые стихи про пчелу и орхидею... Надо подойти цапнуть его! Щелкнуть зубами над ухом! Зубы железные, вставленные по немецкому рецепту. Доктор даже немного позавидовал, мол, сможете теперь, Жеводанов, на четырех лапах бегать по улицам и как следует ругаться на омнибусы. Не нравится — клац! Нравится — клац! Хорошо! Клац-клац! Житуха! Шел Жеводанов по тротуарным делам и щелкал зубьями каждому встречному. Любил офицер нагрянуть в компанию, обсуждающую, скажем, перспективы Луцкого прорыва. Один мужичок за столиком кружку двигает — это Брусилов, другой газету складывает — это Австро-Венгрия, третий умные советы дает, как это дело правильно расположить, чтобы кайзер с повинной в Петроград приехал. Жеводанов за углом притаился, окопным задом виляет и в самый разгар словесной баталии — раз! — подскакивает к столику, первому стратегу в морду — клац зубами, второму — клац и третьему, пусть тот уже догадался о своей судьбе, тоже — клац! По ходу дела кружечка на газетку и пролилась — затопила-таки русская армия Галицию. Под испуганное возмущение Жеводанов вытягивался во фронт, корректнейше отрекомендовывался: «Честь имею!» — и уходил клацать зубами в другое место.

Ныне грустил Жеводанов: не находилось протезу достойного применения. Щелкал над старовером — тот даже от молитвы не отвернул. Щелкнул на белку — та убежала. Щелкал в ночном карауле — так тьма щелкнула в ответ, перестал выкаблучиваться Жеводанов. Оставался Костя Хлытин. Хорошенький мальчик. Теплый. Миленький, пушистень-

кий. Ай какой мальчик! Облизнуть бы его, как косточку, да прикопать, погрызенного, под сосенкой. Пусть корешки-червячки сердце выпьют. Жеводанов подкрался к палевому ушку, где билась несмелая мальчишеская жилка. Страстно захотелось обсосать нежные хрящики — офицер кое-как удержался.

Клац!

— Не поделишься ли со мной тельцем?

— Оставьте ваши глупости!

Жеводанов с удовольствием гоготнул.

— Глупость, мальчишечка, это ваши уставы. Лозунги и литература партийная. Да-с. Неосуществимо. Окажись вы с товарищами по партии на необитаемом острове, то первым делом выстроите не уборную с жилым домом, а тюрьму. И выберете из анархистов главного тюремщика. И правильно сделаете! Потому что если не выберете, то все у вас мгновенно развалится.

— Виктор Игоревич, вы бредите. При чем тут анархисты? Они не имеют к нашей партии ни малейшего отношения! Мы социалисты-революционеры.

— Да? А то я поутру, когда гадил, думал, что вы и есть анархисты. Простите. Оказывается, социалисты. Запомню!

— «Вы»? — усмехнулся Костя. — Тогда уж — мы. Мы, товарищ, состоим в революционной народной армии Антонова! Мы под красными флагами ходили! Сам Антонов из боевых эсеров, а командование придерживается идей правого крыла партии...

— Где? Какой Антонов? Не вижу! Здесь только мы с тобой да Елисей Сильч. И красного флажка не вижу. С собой носишь? А? Хочешь, еще над ухом клацну?

Жеводанов в шутку толкнул парня. На землю упало не только тело, но и уязвленная гордость. Вояка третировал социалистика отнюдь не из-за его убеждений. Какая разница, социалист ты или монархист, когда люди испокон веков голосуют за хлеб? Видел по ночам Жеводанов, что жизнь Кости Хлытина покоилась не на тоске о шести десятинах земли, а на ревности и гордыне. То женщину во сне поминал, то образованного себя ставил в пример. Хотел Костя прошедшей мимо него славы. А то он вроде как по возрасту почти взрослый, а похвастаться нечем. На войне не был, книжку не написал, в революции не участвовал. Через пяток лет, когда юность окончательно сойдет, нельзя будет в приличном столичном обществе показаться. Начнут спрашивать, интересоваться, как и откуда, а что он им ответит? Уже не получится сослаться на возраст, и какой-нибудь педант, поправляя на носу очки, растерянно бросит в зал: «Знакомьтесь... Костенька». Дамы снисходительно улыбнутся, а человек за роялем нажмет на клавиши сильнее, чем нужно. Все посмотрят на Костю и рассмеются.

Вот Хлытин и наработал опыт. Не за идею страдал, а жизнь мечтал украсить. Чтобы к той женщине, о которой ночами шептал, приблизиться. Жеводанов мелочных людей не любил. Женщин тоже не любил. Что

женщины? Все они, красивые и некрасивые, замужние и колдовские, одинаково засохнут и умрут. А вот довлеющая сила никуда не денется.

Костя поднялся с земли и процедил сквозь прозрачные зубки:

- Вы, Жеводанов, пакость.
- Что... что ты, мальчишечка, говоришь?
- Во-первых, прекратите меня так называть!
- Ну не-е-е! — клацнул Жеводанов зубами.
- Во-вторых, потрудитесь не распускать руки.

Жеводанов смущенно посмотрел на большие грязные руки, от которых разило псиной, и послушно убрал их в стороны. Хлыгин с чувством собственного превосходства смотрел на Жеводанова. Пусть тот сильнее и многое повидал, но ничего не знает солдафон ни про Максимилиана Волошина, ни про Мережковского, ни про скифство Иванова-Разумника, которое обязательно закружит, взбодрит весь мир. А особенно не знает офицер того, что Разумник не просто Иванов, а неожиданный Иванов. Что толку от человека, пусть трижды героя, если он думать не умеет? Какую пользу извлечет его ум? Что нового он скажет миру? Это ведь, считай, и не было подвига, если, когда просят рассказать о нем, герой отвечает: «Ну... э-э-э... вот что вам скажу... Да-с. Порядок должен быть». Костя был уверен, что жить надо не по совести, а по искусству. Иначе тут же забудут. Вон жили в веках бесчисленные миллионы, так где они? Из мертвой топи потомки выловили десяток-другой человек, а остальные? Остальных точно и не существовало. Потому что по природе своей это были типичные Жеводановы, смеющиеся над поэзией.

— В-третьих, — голос Хлыгина задрожал, — мне надоело слушать про вашу тягу к Танатосу. Если вы так хотите расстаться с жизнью, то почему медлите? Что, мало смерти кругом?

- Мало, — сверкнули глаза Жеводанова. — Оч-чень мало.
- Мало?!

— Запомни, мальчишечка, — напутствовал офицер, — ничего нет прекраснее смерти. Любят многожды, как и убивают. Родить можно три, шесть или вот как здесь — по десять раз. Все чувства берутся из любого повода и для любого дела. Даже кошечки салонной фифы — и те между собой дружат. Но вот смерть... свою смерть можно испытать только единожды. Она не дана в ощущениях. Вот ты, книгочей, знаешь ли, каково это — умирать? Кто из твоих писателей об этом знает? А никто! О своей смерти не напишешь, а о чужой — всегда неправда.

— Да не умирать надо, а побеждать, — пылко возмутился Костя. — Геройствовать... Вы читали Гумилева? Д'Аннунцио? Хотя бы Брюсова? Нет? Ну хоть писать умеете... Почувствуйте, какая эпоха в движение пришла! Кто ее двигает? Мы — поэты, революционеры! Пусть большевики, пусть самые наглые социалисты, однако жизнь здесь, у нас! Кто бы знал про Тамбов и Саратов, если бы не война? Она жизнь сгустила! Какое великое дело свершила русская революция: в Питере наконец-то говорят не про Париж и Берлин, а про Владивосток и Самару! Только за это ей можно поставить памятник. Что сейчас делает Европа? Обсуждает

нас. Чем сейчас заняты мы? Впервые не смотрим на Европу. Заветную миссию славянофилов, Достоевского и Леонтьева выполнили еврей из черты оседлости и необразованный разночинец. Не от Герцена, а от эсеровской бомбочки святая Русь проснулась. Как посреди лета завьюжило! Как задышалось! Буржуазный нюх чует смерть, дышит руинами, а мы, скифы, видим горизонты нового мира. Неопалимого мира красоты.

Жеводанов слушал очень внимательно. Ни одно из имен ему ничего не говорило, но желудку нравилось, как горячится Хлытин. Жареное ведь вкуснее сырого. Когда Костя совсем уж разошелся, офицер достал из-за голенища солдатскую ложку, облизал ее, подошел к пареньку и стукнул его столовым инструментом по лбу. Ложка издала смачный звук, и Хлытин удивленно заморгал.

— Гляди, Елисей Силыч! Прозрел птенчик! — крикнул Жеводанов. Однако Елисея Силыча рядом не было.

Дождавшись луны, старовер отошел в сторонку. Меж вспученных корней Елисей Силыч поставил лампадку. Огонек, обжигая темноту, бился мелко, почти испуганно. Старовер разделся, оставшись в желтоватой рубахе, и опустил на колени. От боли скривилось одутловатое лицо — ничего, ничего, чем больше пострадал на этом свете, тем сладостнее воздаяние. Молиться на коленях было не по уставу, но Елисей Силыч счел, что уморение гордыни важнее канона.

— Все спасутся, я сгорю. Господи Иисусе Христе. Все спасутся, я сгорю... Господи! Помилуй мя грешного!

Елисей Силыч клал поклон за поклоном. На лбу отпечатались шишки. Рубаха плотно облепила тело. Грузность перетекала от дуперстия к складкам живота. Специальная то была нагулянность, какая не сходит с человека и после долгих скитаний. Намертво прицепилась к организму, и даже если тело осунулось, исхудало, праздная тучность все равно не отлипала от костей. Дурное сало трепыхалось в обвисших грудях, билось под кадыком, торчало над выпирающими костями. Попав к Антонову, Гервасий начал строго соблюдать пост вплоть до сыроядения. И все же дурнота не уходила. Елисей Силыч был одновременно худ и толст, точно его тело состояло не из мяса, а только из ребер и жира.

— Все спасутся, я сгорю! Господи! Все спасутся, я сгорю!

Колени у Елисея Силыча были широкие, бледные, совсем немоленные. Глубоко туда впились сухие шишки, словно хотели заменить человеческие суставы. Через боль Елисей Силыч бил хвойной земле поклоны. Решил он дойти в молитве до круглой сотни, а потом спуститься вниз. Взаправду молился Елисей Силыч. Горячо. Упорно стоял на колючих шишках и не обращал внимания на комаров, зудевших вокруг. Только когда совсем одолевал гнус, он отнимал руку от крестного знамения, с наслаждением хлопал по ляжке или лопатке, размазывая по телу кровососущую тварь, и снова складывал пальцы в покрасневшее дуперстие.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, аминь!

Так в последний день старой жизни молился Гервасий. Утром задумал он подвиг веры, чему испрашивал разрешения у Бога. Вчера Елисей Сильч окончательно понял, что и бесконечный лес, и злобно-насмешливый Жеводанов, и голубок с винтовочкой, и он, разорившийся текстильный фабрикант, лишь части грандиозного замысла. А ключик у Елисея Сильча за пазухой. Грел сердце холодным металлом, отчего лезли в голову посторонние мысли. Нужно только повернуть ключ в замочной скважине — дверка в рай и откроется.

— Все спасутся, я сгорю! — пуце прежнего шептал старOVER.

Вспомнился старообрядцу бунт в родном Рассказове. Пьяная чернь из его же кабака разгромила родовой особняк Гервасиев и так отходила вышедшего к людям безоружного тятю, что на следующий день тот отдал богу душу. Елисею Сильчу удалось сбежать. Он долго проматывал богатство по разным городам и весям. Чем сильнее тратился Гервасий, тем ближе подбирался обратно к Тамбовской губернии, где у семейства было немало единоверцев и должников. Так и попал к антоновцам. Ходили они тогда под красным флагом; даже половина коммунистов Кирсановского уезда перешла к новоявленному вождю. И было среди них так много босяков, так много бедноты, у которой все оружие — кол деревянный, да и тот портки подпирает, что на допросе почтенный Елисей Сильч Гервасий стал запираяться. Очень уж не хотелось старOVERу говорить, что он известный в уезде капиталист-промышленник, которого, впрочем, за кучной бородой да в старых одеждах и родной приказчик с фабрики бы не признал.

Соврал Елисей Сильч, что странствует по миру Бога ради. Не было в том подлого умысла. Когда в его руках были фабрики и кабаки, Гервасий вкладывал в них все силы. И никто не мог сказать, что Елисей Сильч был сквалыгой. Деньги всегда платились в срок, а известная сумма пу-скалась на душеспасительный промысел. Перед младшим Гервасием стояло дело, над которым Господь повелел трудиться, чтобы не пребывать в праздности. Вот Елисей Сильч и трудился. А когда дела не стало, то он занялся тем, что у него еще оставалось, — Богом. Свой самовольный переход в беспоповство Гервасий объяснял возвращением к вере предков — это ведь дед ради торговли записался в поповцы. А Елисей Сильч правду восстановил. Поэтому рассказал он антоновцам про Вышинский монастырь, что принимал насельников со всей тамбовской земли. Обитель не так давно захватили коммунисты, а послушников выгнали на мороз Богом согреться. Помогите, защитники христианские, поруганную правду восстановить.

Антонов выслушал Елисея Сильча и принял бородача в отряд, благо ангелочки не мешали тому делиться в большевиков. Когда весна дала первый сок, Антонов совершил дерзкий налет на Вышинскую обитель, где партизаны разорили образцовый божеский совхоз. Елисей Сильч тогда ворошил штыком переколотую ячейку безбожников, а темный народ дивился и все спрашивал знающего человека: почему же коммунисты сделали из престола обеденный стол? Отчего кушали в алтаре? Зачем было

мостить пол нужника иконами? Кого хотели вонючей какой задавить — ангелов, что ли?

Елисей Сильч ответил не сразу. Старых книг он не собирал, иконы от большевистского гумуса не очищал — знал, что истина живет не в высохшем полууставе, а между ребер. Религии Елисей Сильч не сторонился — только попробуй пожить так в древлеправославной семье! — зато полагал, что Бог прежде всего деятельных людей любит. Нищий, хоть Богу и товарищ, богатого не спасет. Человек же домовитый может из грязи тысячи людей вытащить. А там, где грязь, там пьянство, разврат. Следовательно, чем больше на руках капитала, тем меньше в обществе греха. А отчего нет? Текстильные фабрики Гервасиев от многих людей голод отвадили. Пока анахореты в пещерах мир отмаливали, деньги Гервасиев сирот кормили. Да только вот нет больше ни фабрик, ни славной фамилии... В ушах Елисея Сильча загудело. Жарко стало внутри. Как будто через меха накачали в животе горячую кузницу. Ощутил старообрядец прилив сил, который принял за Бога.

— Енто, человеки, суть последние времена. Думаете, плохо, что преступники скит разорили? Не переживай, не бось, нет тут святости. Доску размалевать много ума не требуется. Молиться надо, душу спасти надо. Это еще в Писании сказано, что, когда воцарится чернобожие, тогда и радость главная ближе станет. Запомните, человеки, чем больше хмари в мире, тем ближе он к своему концу. Мир кончится не от счастья, а от умножения греха. Думаете, зачем зло на Русь пришло? Да чтобы вы, дурни, спаслись.

Много говорил Елисей Сильч. Про то, что социализм — это порождение Антихристово, а царь недалеко от него ушел. Бороться нужно не за хлеб насущный, а против безбожия. Разговор перерождался в проповедь, и Елисей Сильч с полной ясностью осознал, что на него возложена великая миссия. Суждено ему стать новым протопопом Аввакумом, который искупит людские грехи своей жертвой. Ведь Апокалипсисом подкреплено: блажен тот, кто отдал жизнь в борьбе с Антихристом. Ему место ближе к Богу уготовлено. То не людьми придумано. Так в Писании сказано. А Писание старовер знал хорошо. На вечернем правиле чудилось Елисею Сильчу, как сидит он одесную от сияющего престола. Ведь не зря же он пострадал в революционном огне, не просто так лишился фабрик, денег в банке, молеального дома и, конечно же, любимого тяти.

В апреле 1921 года повстанцы неожиданным налетом взяли село Рассказово. Чекисты еще отстреливались из дома купца Казакова, где от купца остался только градусник за стеклом, а Елисей Сильч приступил к исполнению своей миссии. Он не испытывал никакой радости от возвращения в родную обитель. Елисей Сильч подкатил тачанку к зданию, где раньше располагался ненавистный трактир, и сел за пулемет. При большевиках здание использовалось для дела Пролеткульта. Он выпустил по уцелевшим окнам несколько пулеметных лент. Стекла посыпались внутрь. Елисей Сильч сильнее сжал рычаги и долго трясся, пока не расстрелял все патроны. Кладку будто выела пулеметная оспа: кирпичи рас-

крошились, отбиты были подоконники и притолока. Гервасий бы и дом подпалил, и для верности закинул внутрь связку гранат, да только взяли повстанцы Рассказово — самый крупный успех Тамбовского восстания! — всего-то на два часа.

— Вот и все наши победы, — хохотал тогда Жеводанов, — Рассказово два часа грабить. Это наш Верден и Сомма! Куда там Луцкому прорыву! Куда Эрзуруму! По воинству и победа! Вот что Бог послал! Вот на что мы годны! Вперед, братва! На битву за Пахотный Угол!* А потом поляжем в сражении за Карай-Салтыково! Ур-ра-а-а!

...Новый звук примешался к молитве. Елисей Силыч прислушался. В голове давно кружился тайный гул. Он доносил акафисты из закрытого рая. Шептал наставления в вере. Елисей Силыч слушал его в карауле и на привале. Иногда даже отвечал, пока не услышал кроткое: «Аз есмь». По заросшим щекам покатались слезы. Он долго ждал горнего разрешения, побаваясь, что все происходит понарошку. Теперь же ему был явлен знак. Далеко в лесу сверкнуло белым. Лампадка потухла, но сияние посинело и округлилось, точно голубка снесла христово яичко.

Елисей Силыч покорно зашептал:

— Все спасутся, я сгорю! Все спасутся, я сгорю!

Отмолвившись, старовер не стал одеваться. Рядом с лампадкой он положил обрез, вещмешок, одежду, сапоги. Может, человеческому гаду пригодится или змейка заползет погреться. В собственности у Елисея Силыча осталась одна рубаха. Да еще взял богомолец штык от винтовки Мосина. Он был нужен для последнего дела. Вымыв ноги в ручье, Гервасий вернулся в лагерь.

Днем Елисей Силыч снова отстал от товарищей, чтобы напоследок как следует помолиться. А Жеводанов с Хлытиным крепко поругались. Дело дошло до драки. Офицер настаивал, что всех социалистов нужно расстрелять, потому что разница между эсером и коммунистом такая же, как между конем и лошадьё. Было ясно, что это просто предлог: давно сузились от голода глаза Жеводанова. Зрачок поворачивался вслед за Хлытиным, пока не стал вертикальным. Все чаще облизывал офицер беспокойные губы. Как лед на реке, лопались на них коросты. В пасти Жеводанова закровило. Есть хотелось всем, однако есть на Тамбовщине было нечего — вот и глядели люди друг на друга.

Костенька снял с воробьиного плеча винтовку и держал ее перед собой. Никак не удавалось Жеводанову взять этот барьер. Он наступал и наступал, нависая над мальчишкой дурно пахнущим зверем. Хлытин пятился не из-за страха — от смущения: взрослый мужчина, ветеран германской, офицер, а ведет себя как развязный раешник.

— Отстаньте от меня, наконец! Что я вам сделал?

Жеводанов подался вперед и клацнул зубами около носа Кости. Не напугать хотел, а вырвать на десерт молоденький хрящик. Мысль была

* Пахотный Угол — село неподалеку от Рассказова.

настолько дикая, отрезвляющая, что Хлытин от испуга упал в подозрительные желтые кусты. Те засыпали эсера срубленными ветками, и удивленный фронтовик разворошил оставшуюся маскировку. В небольшом овражке скрывалась вытянутая самодельная конструкция из веревочек, коряг, лоскутов и железа. Вроде и навалены они были в кучу, а грязная простыня трепыхалась как сломанное крыло, но чувствовалась в свалке определенная логика.

Жеводанов сделал четыре четких шага назад и быстро сообразил:

— Ба! Да это же аэроплан! Мы так на фронте ложные батареи делали. Противник по ним р-р-раз — и вскрывает свои позиции. А мы по ним! Бум! Брямс! Фшырк! Однако тут-то зачем? Милый мальчик, Хлытинушка, зачем тут аэроплан? Да еще и такой неказистый. Ты умный, красная шапка, объясни.

Хлытин тоже отошел в сторону:

— Гм... Это подобие летающей машины. Глупо сделано, по-крестьянски. Как будто подсмотрено. Может, некто был уверен, что если повторит все как на чертеже или в небе, то машина взлетит?

— Да ты чего? Просто детишки из деревни игрались!

Елисей Силыч подошел как раз к осмотру самодельной машины. В правой руке у него был зажат штык. Гервасий хотел подкрасться к Косте незаметно, только все испортил дурак Жеводанов:

— А вот и Елисеюшка! Ты, брат, одичал. Крадешься к нашему мальчишонке с железякой. Уж не задумал ли чего? Ты мне расскажи, расскажи. Может, и помогу. Надоела мне красная шапка. Жрать хочу.

Елисей Силыч медленно подходил к пятящемуся Хлытину и приговаривал:

— Костенька, голуба, стой на месте. Не трать силенки, поверь доброму человеку. Мы тебя под белы рученьки возьмем и на травушку положим. Она тебе спинушку пощекочет. А потом заголим животик и сделаем богоугодное дело.

— Что? Я не понимаю, Елисей Силыч...

— А понимать и не надо. Как же божеское можно человеческим умишком счесть? Писал народишко книжки, корпел в библиотеках, а что с тех книг? Не записывать надо, а слушать. Вот я и слушал. Сказано мне было, что нужно ветхозаветное приношение. Как Авраам — Исаака. Если же я ошибаюсь, если же мне просто причудилось, то не бойся моей руки. Если я сам себе придумал, то в последнюю секунду Бог протрубит в небесах и я остановлюсь. Не допустит Он греха. Так что ложись, отдыхай, заголяй животишко.

— Позвольте! Нет, даже так: по-о-озвольте!

Жеводанов перегордил Елисею Силычу дорогу. У Кости мелькнула мысль о разыгрываемой товарищами шутке, ведь не могли же они вправду съесть его или заколоть! Что это, право слово, за вздор! Гражданская, большевики рядом, чертов лес, Антонов, а они тут комедию ломают!

— С чего же вы, дорогой Елисеюшка, решили... Да-да! Вы, именно вы! Я к вам обращаюсь! С чего вы решили, что сие убийство рекомендовано свыше?

— Так мы тогда сразу из леса и выйдем. Чего плуаем в трех соснах? Потому что испытание нам дано. А как вознесем мальчишку — так сразу к Божьему престолу и выплутаем.

— А чудо там будет ждать? — жадно спросил Жеводанов. — Будет там довлеющая сила?

— Конечно будет. Чудо всегда в конце.

— Как я люблю вас, Елисей Силыч! Давайте поцелуемся.

Пара трижды почеломкалась. Старовер обнял почерневшего Жеводанова и похлопал вояку по спине, не разжимая руки со штыком. Жеводанов тоже обнял Гервасия. С секунду товарищи стояли, дыша друг другу в души. Первым не выдержал Елисей Силыч. Он зарыдал громко, искренне, сопливисто. Через заложенный нос попросил у товарища прощения. Вояка ответил тем же. Колючие усы намокли от слез и лежали на шее Гервасия как мягкая, поникшая трава. Мужчины плакали дружно, в надрыв, расставаясь со злостью и болью.

— Прости меня за все, Гервасий.

— Бог простит, — счастливо ответил старовер. — И ты меня прости.

— Прощаю, Елисеюшка.

Жеводанов медленно повернул назад одну только голову и сказал Косте:

— Ну что стоишь, мальчишочка? Беги. Мы с товарищем верующим к согласию пришли.

Хлытин, поддавшись юношескому страху, бросил винтовку и побежал. Он бы все равно не смог нажать на спусковой крючок, когда на него набросились бы офицер с железными зубами и бородастый мужик со штыком.

— Ау, мальчишочка! Поторопись! Догоним — ты уж не обессудь!

Выждав немного, Жеводанов захохотал и бросился следом. Офицер цеплялся за стволы и, прогнувшись в пояснице, описывая широкий круг, несясь дальше, то падая на четыре лапы, то вновь поднимаясь на две. Елисей Силыч отстал, запыхался, но смотрелось это еще страшнее: среди сосен, спускаясь в овраги и выбираясь оттуда, пытело грузное тело в грязной, пропотелой рубашке. Алыми крапинками засохли на ней убитые в молитве комары.

— У-у-у-а-а-а! У-у-у-а-а-а! — страстно выл Жеводанов.

Хлытин выкатился на полянку с великанским ясенем. Широкое было дерево: ствол в два обхвата, а купа — в двадцать. Недолго думая Костя подпрыгнул, подтянулся на ветке и укрылся в густой зеленой кроне. Через полминуты у комля остановился Жеводанов. Он тоже был без оружия — отбросил пицаль за ненадобностью. Жеводанов втянул покосившимся носом запах смолы. Черные, когтистые руки офицера были испачканы соснами и мешали почуять жертву. Виктор Игоревич обтер лапы о ясень. На стволе остались липкие разводы с прилипшей сосновой стружкой. Он осторожно принюхался. От ясеня кисленько несло революцией.

Жеводанов запрокинул бритую голову, где на заживке отросла жесткая шерсть, и тягуче пропел:

— Елисеюшка, дорогой, поди сюда! Нашел я нашего мальчишочку.

— На селе дурачок был, Геной кликали. Другие деревни бедные, там за лоскут старый удавятся, а у нас ничего, народ побогаче. Гену хлебом не корми — дай безделушку какую. Он тебя сразу поцелует — неважно, мужик или баба — да бежит в луга. Гвоздиком или сукном размахивает. Видать, тайник у него какой был. Я там укромную лоштинку знаю, куда Гена добро таскал. Хошь, покажу?

Арина тянула Федьку Канюкова за село, где среди холмов и полей можно было спрятать не только Генины сокровища, но и засадный полк. В ходе набега на Паревку бесследно исчез боевой командир ЧОНА Евгений Витальевич Верикайте. Федька к нему привязан не был — это же не Мезенцев, хотя и настораживало, что село, находящееся на переднем крае борьбы с антоновщиной, лишилось всех командиров.

Губернский штаб пригнал в Паревку подкрепление, бестолково топтавшееся на улицах. Душным и пахучим стало село. Военную силушку прикрывал парящий в небе аэроплан. Комендантский час был усилен, и после захода солнца покидать село запрещалось.

— Ну, глупый, пойдем! Али трусишь? Гришка таким не был.

С другой стороны, Федьке хотелось поскорее затолкать говорливую Арину в стог сена. Наверное, Арине тоже этого хотелось, вот она и звала его подальше от чужих глаз. Не на печи же при матушке? И хотелось Федьке, и побаивался он нового набега, и видел, как играют под юбками девичьи бедра. Сокровища юродивого Гены, конечно, всего лишь предлог. Да и какой у дурака может быть клад? Веревка конопляная да гнутая подкова?

— Чего там смотреть? — с ленцой ответил Федька. — Хочешь лучше про Рассказово послушать? Там дома в четыре этажа есть.

— А вот на это хошь посмотреть?

Девка оглянулась и задрала юбки. Федька не успел как следует разглядеть, юбки опустились обратно, и теперь комсомолец понял, чего от него хочет Арина. Бесстыдная оказалась девка. Не зря Гришке нравилась.

— Давай до темноты.

— Давай.

Вечером, когда работа в поле стихла, парочка двинулась в путь. Было еще светло, хотя солнце уже зацепилось о торчащий за Вороной лес. Красный цвет стекал в реку, которая несла его в новые земли. С холмов катил вниз горячий пыльный ток. По дороге Арина задирала курносый нос и весело рассказывала, как поссорилась с матушкой из-за него, дурака. Федька глупо улыбался в ответ.

Он любил природу, любил спокойствие, любил Арину. Ну как любил? Он знал, что в жизни полагается что-то любить, вот и любил. Мог полюбить на подводе жидовочку, но все-таки выбрал Арину. Крестьянка была проще, понятней. У той черноглазой наверняка была стеклянная идея, о которую Федька мог порезаться. А ему просто хотелось жить,

причем жить обыденно и хорошо, вовремя трудиться, завести семью, детей заиметь. Никакой тебе революции и всеобщего человеческого преобразования.

Вспомнилось, как на вечере политграмотности Рошке рассказывал, что природу требуется ошкурить и закатать в бетон. Федыка тогда был против. Не потому, что ему не нравился бетон, нет ничего плохого в бетоне, однако ведь природа тоже хороша, зачем её физиономию менять? Порой Федыке казалось, что он чуть ли не единственный человек, которому не нравится ни война, ни антоновцы, ни большевики, ни продразверстка, ни вообще эти клятые «измы». Сколько бы они ни притворялись и ни кричали, как только никто не видит, тут же пожимают друг другу руки. В чем разница между большевиками и антоновцами? Одни режут людей за счастье шестеренки, другие — из-за березового листа. И ведь все пройдет, все закончится, никто не вспомнит о том озверении, с которым бились люди в Тамбовской губернии, — ну так и зачем оно было?

— А еще приехал к нам фельдшер, — рассказывала Арина. — Из образованных. К нему последнего уцелевшего бычка привели на лечение, тот его щупает, щупает, а бык возьми и на него взгромоздись! Соскучился по коровкам!

Федыка заглядывался на Арину. Он бы с удовольствием трудился в Рассказове на фабрике, жил бы и жил себе на славу, даже газеты бы редко читал — что там могут написать? Сейчас каждую секунду Федыка тратил на то, чтобы рассматривать мощный круп Арины — это тоже казалось нормальным. Он же мужик, чего тут скрывать? Мужчине подросткового возраста приятно, что девка предпочла его, а не более рослых солдат.

— Эй, Арин, а замуж за меня пойдешь? — спросил вдруг Федыка.

Шаг девушки сбился, она остро посмотрела в поле и фыркнула:

— Ну ты время нашел! Какой из тебя муж...

— Да я ничем не хуже других. В Рассказово переедем, там у меня угол имеется. А чего? Соглашайся!

— Не знаю. — Девушка потупила взор. — Это ведь по правилам к матери нужно идти. Отца вот прибили. А люди что скажут — под убийца легла? Знаю, что ты не душегуб, но людям как объяснишь? Да и зачем тебе, комсомольцу, родниться со злобандитским селом?

— И что в том комсомоле? Мне сказали — я вступил, от греха подалее. Нравишься ты мне — вот что главное. А разрешение, командование... Чихал я на них. Так пойдешь или нет?

На мгновение захотелось рассказать о клейкой еврейке, чтобы поверила крестьянка в твердость Федыкиных слов. Ведь не воспользовался предложением, сдюжил, доказал верность. Тут никаких клятв больше не требуется.

— Так что, злобандитка, пойдешь за комсомольца?

Девушка грустно посмотрела на Канюкова. Не был он ничем отвратителен. Такой не обидит после кабака. Федыка осторожно взял ее за руку и несильно потянул к себе.

Арина побледнела и, вырвавшись, игриво крикнула:

— А знаешь, пойду! Согласная я. А теперь лови злобандитку!

Она забежала в колосающуюся рожь. Низкое солнце окрасило ниву в закатный цвет. Ветер, налетевший из-за Вороны, разметал колосья. Федька прищурился и с улыбкой смотрел, как Арина с головой присела во ржи.

— Эй, Федька, ищи! Найдешь — твоя буду!

Впереди были Змеиные луга, за ними Ворона и лес, а прямо перед парнем расстились поля. Не больно уж густые, времена-то безлошадные, но все же поля. Арина проползла на коленках несколько саженей и вынырнула в другом месте. Приветливо помахала парню рукой. Федька ринулся к зазнобе, Арина же снова села в высокую рожь и вышла совсем далеко.

— Эй, муженек, догоняй!

Рожь качалась, и нельзя было определить, куда ползла девушка. Каниюкову понравилась деревенская забава. От праздника урожая в штанах набухло. Федька с дурацкой улыбкой смотрел, как Арина снова кокетливо скрылась во ржи. Колосья подступали к комсомольцу, лаская руки будущим хлебом. Запрятнело, что Федька, в отличие от других продотрядовцев, зерно не изымал, а, наоборот, прибавлял каждодневным трудом. Сколько он пота пролил на этих полях! Сколько мозолей набил! Спину до сих пор ломило от работы, и грело душу одобрительное крестьянское гаканье.

В ответ благодарно качалась рожь: Русь всегда граничила с океаном. Ветер затих, а рожь все шевелилась и шевелилась. В голове зашептал гул, ублаживающий дурные мысли, и Федор устался в то место, где должна была появиться Арина. Вдруг поверх желто-красного моря знаков всплыла кудлатая голова. Громадный мужик молча поднялся и, шмыгнув носом, направился к Федьке. В руке у него был топор. Как по команде рожь расступилась. Из нее вылезли еще несколько бородатых крестьян. Федька их узнал: все они числились примерными паревскими хлеборобами. С некоторыми парень даже вел один плуг. Теперь землепашцы держали в руках косы и вилы. Федька дрожащими руками вскинул винтовку, но та щелкнула осечкой. Мужики бросились к парню, и Федька побежал, чувствуя, как сзади нарастает леденящий гул. Он шевелил волосы и путался в ногах. Парень юркнул в рожь, которая наполнилась глухими мужскими голосами. Крестьяне, как при покосе, шли дугой.

— Цыпа-цыпа-цыпа, — раздавалось рядом.

Федька отполз подальше. Если он сумеет выбраться на большак, то сможет добежать до караула. Надо только ползти быстрее. И незаметнее. Вот так. И еще немножко. Еще. А вот мышьяная норка. Что, если залезть в нее? Хорошо быть мышкой в Гражданскую войну! И зернышко можно стащить, и от погони в земле спастись. Человека земля по-другому прячет.

— Цыпа-цыпа-цыпа, — послышалось совсем близко.

Парень усерднее заработал локтями. Винтовочка осталась во ржи. Неужто Арина ее испоганила? Стыдно стало Федьке, что он не раздумы-

вая решил палить в мужиков. А если б сработало? Получается, убил бы. Потом отвечай... И так повезло, что он был в отъезде, когда на Паревку напали... Да где же дорога? Сколько до нее ползти?

— Цыпа-цыпа!

До последнего не верилось Федьке, что все может кончиться плохо. Ведь он никогда не лез на рожон и к людям старался относиться так же, как они к нему. А оно вот как обернись! А Арина? Где же Арина? Все-таки хорошо, что он ничего не рассказал про жишовочку. Только зачем, ну... право слово, зачем было соглашаться на замужество? Могла бы промолчать или отказаться. Или хотела раззадорить? Чтобы в погоню бросился? Или пожелала напоследок обрадовать?

Рожь над Федькой Канюковым раздвинулась, и мальчишескую грудку тяжело прижало к земле. Лицо больно кольнула выгоревшая трава. Сапог на спине несколько раз провернулся, оставив на гимнастерке землястый след.

Злой голос произнес:

— Вот тебе, сука большевистская, за все.

И топор размозжил Федькину голову.

На конец июля 1921 года от социального угнетения было освобождено более пяти тысяч человеческих единиц. Изъятые у населения заложники содержались в нескольких концентрационных лагерях. Одним из крупнейших был лагерь в селе Сампур. Еще был Борисоглебский и Инжавинский, но лагерь в Сампуре считался самым страшным и злым. Назывался он — Сампурский концлагерь № 10 для временно перемещенных лиц.

В лучшие дни лагерь мог вместить полторы тысячи человек. Вырос он у станции, где раньше отгружали зерно. Теперь там отгружали людей. Впрочем, Сампур с трудом можно было назвать лагерем: никаких построек, вышек или барачков. Лишь пустырь, обнесенный колючей проволокой. Из укрытий только редкие солдатские палатки, которых на всех не хватало. Внутри, как гусиный выводок, напустили людей. Одних детей-заложников набралось с сотню. Узники ночевали под открытым небом, хочешь — тучкой накрывайся. Питались сампурцы скудно. Гадилы прямо на солому. Даже вставать было запрещено, поэтому в лагере сидели в буквальном смысле слова.

Когда Серафима Цыркина попала в Сампур, там содержалось около полутысячи человек. Людей часто тасовали: отправляли на более пристрастное дознание в Тамбов или выпускали на волю. От загаженного колючего прямоугольника несло нечистотами. Издалека казалось, что это копошится большая черная вошь, однако если пройти через царские врата из ежовой проволоки, то гигантская мать-вошь распадалась на кучу маленьких вошек. Они возюкались в тряпье, дрались из-за лишней картошки или перебирали патлы чумазым детишкам.

Еще с конца весны, когда большевики додавливали восстание, повстанцы массово сдавались в плен, поэтому требовалось отделить кре-

стьянских попутчиков от идейных контрреволюционеров — работы у выездной комиссии ЧК и командования боеучастка № 3 было много. О некоторых семьях власти, видимо, совсем забыли. Крестьяне деловито освоились на новом месте: варили в полупустых котелках надежду, чесались и подумывали, что неплохо бы посеять на будущее жменю ячменя.

Новую партию сразу же проинструктировали:

— Вставать без команды — запрещено. Заниматься спекуляцией — запрещено. Вас будут вызывать для определения дальнейшей участи. А там — кто в Могилевскую губернию, а кто домой, кур щупать. Всем ясно?!

К начальству могли не вызывать день, два, а то и несколько. Спать нужно было на голой земле или, если повезет, на соломе. Гадить — туда же, что Сима проделала без отвращения, отрешенно колуяя ногтем лежащую землю. Девушка быстро поняла, что, несмотря на кажущуюся нищету, среди узников вовсю шла мелочная торговля. Яйцо на спички, корка хлеба на нитку, извечная самогонка на заточенную железку. Были в лагере приклатненные, державшиеся особняком. Им-то и достались палатки. Время от времени они отвешивали проползающему крестьянину пинка, отчего тот кубарем укатывался в завшивленное море. Блатные хохотали, как и пристроившиеся к ним мужички. За это им перепадали хлебные корки.

Симиной соседкой оказалась доходящая женщина. Без лица и уже без тела: ей было нечем заработать себе на еду. Она бормотала в забытьи и хватала Симу за платье:

— Дочка... Секрет рассказать? Ты мне куриное яичко принеси, а, дочка? Большой секрет знаю... Всю жизнь перевернуть может.

Неужто Сима здесь может раскрыть душу, обогреть кого-то задаром, не прося ничего в ответ? Пусть не Тамбов, а тем паче не Москва, но ведь и тут может произойти нечто удивительное.

Когда Симу привели на первый допрос, она быстро назвала настоящее имя, год рождения и род занятий. Удивленный чекист спросил:

— Что же вы сразу ничего не сказали? Тогда бы не попали сюда.

— Видимо, то была моя судьба.

— Судьба? Вы из образованных? Если ваши слова подтвердятся, мы вас выпустим.

— Я никуда не тороплюсь, — улыбнулась Сима.

После допроса девушка долго смотрела на доходящую женщину. Та была в лихорадке. Заметив соседку, вновь попросила о яичной услуге:

— Чего тебе стоит, дочка? Принеси, а? Я тебе секретку открою.

Так жалобно просила женщина, так сильно хотелось ей помочь, что Сима не выдержала. Только вот где достать еду? В баланде плавали капустные ошметки. Родственников с передачкой не было. Оставалось только древнее искусство торговли. От яичка чести не убудет. Девушка подползла к группе блатных. Те сидели кучей, один близ другого, шептались, деля лагерные богатства.

Вожак неприветливо спросил:

— Чего надо?

— Сколько за любовь дадите?

Парни заулыбались. Очень уж странный вопрос — не по его причине, а по формулировке. Образованная, с такой надо быть построже. Может книжками заразить.

Главарь положил перед Симой кусок хлеба и яйцо. Предложил лукаво:

— Выбирай.

Она взяла яйцо и сжала его в кулаке.

— Ложись, чтобы никто не видел.

Сима легла, и ее втащили в круг. Кое-кто из уголовников показался знакомым — сражался за правду вместе с Антоновым. Ну а от правды, известное дело, отдохнуть надо. Девушка привычно почувствовала, как по ней заелозили грязные руки. Сначала одни, потом другие. Порой они соединялись в артель или коммуны, познавая премудрость коллективного жизнепользования. Девку делили без спешки и злобы — не так, как привыкли делить их отцы чересполосицу десятин.

Вскоре Сима принесла умирающей и хлеб и яйцо: доброта человеческая не знает границ. Девушка почистила вареное яичко, размяла его в руках и вложила тюрю в просящий рот. Женщина, почувствовав приятный куркин вкус, всосала мякоть. На губах, покрытых белой коркой, остались разводы дыплячьей жизни. Сима легла рядом и по старой памяти стала сосать хлебную корочку.

Баба молчала, иногда переворачиваясь в бреду:

— Есть заначечка у меня, как выйду — разгребу.

В лагерь то приводили новую партию интернированных, то выдергивали опознанных бандитов и отправляли дальше по этапу. Кто пришел с повинной, сдал оружие, по закону оправдывался и отправлялся в родную деревню. Таких тоже было много. Не меньше, чем тех, кто угрюмо поднимался под штыками конвоя и уходил на окраину Сампура, где, как шутили уголовники, начиналась Могилевская губерния. Последних, кстати, никто сперва не трогал — ни мужики, ни власти. Что расписные вообще забыли среди кричащих детишек, толстых некрасивых женщин и суровых крестьян? Несколько раз они налетали на растерянных мужичков, раздвая их в поисках забавы и пищи. И тогда уголовников определили в неживые. Охрана да и сами заключенные слышали в темноте, как бандитов делали мертвыми. Те по-бабски верещали, звали солдат, но никто ночью за колючую проволоку не совался. Пальнули для остратки в воздух, на том все и кончилось.

Симу куда не вызывали. Один раз попытались вывести прочь, однако девушка вцепилась в больную. Не могла она уйти от тайны. Красноармейцы потолкались, покричали и оставили девку в покое. Умалишенная — что с нее взять? Она окончательно запаршивела. Темные глаза помутились, будто туда добавили мыла; впрочем, мыла не было, кожа покрылась подростковыми прыщиками. Доступ продуктов в лагерь был перекрыт: голосящих родственников, толпившихся у колючей проволоки,

отогнали. Сампурская неволя начала голодать. За любовь уже не платили яичком, а только коркой или окурочком. Сима покорно ложилась в пыль, медленно, как клейкий рак, раздвигала ноги и закрывала глаза. Мужики ползали по ней работающими жуками, и Сима, борясь с наслаждением, думала про свою судьбу. Она все меньше казалась ей удивительной. Всем в России было плохо и как-то неуютно. Даже мужики елозили в те годы по бабам неохотно, словно наперед зная, что ничего хорошего из половой затеи не выйдет.

Вот, скажем, седой мужик сидит, между ног травинку рассматривает. Уже почти день так сидит, не шелохнется. Был у мужика сын-антоновец и жена-трусиха. Мать, поверив в недельное искупление, донесла, что сын ее у бандитов был, а не в соседней губернии на заработках. Вот и пристрелили сынка за околицей: прощаная неделя-то уже кончилась. Взял мужик железную подкову и забил насмерть женщину, которая хотела семейному делу помочь. Так что скоро и отец присоединится к родне.

Недалече горько выл пьяница. Когда в деревеньке Каменные Озерки толпа разграбила кооперативный ларек, то он осторожничал, никуда не полез, здраво оценивая советскую силищу. Да вот беда — напился в тот вечер, а утром очнулся в окружении красной милиции. Никто и слушать не захотел, что пьяные ноги в кооперативный магазин занесли за спичками. Сделали человека виноватым, отвезли в колючий Сампур.

Вот кулак, сам с кулачок, утопил в реке несколько мешков с мукой, а когда полез доставать, был сцапан продотрядом. Не расстреляют, конечно, но наложат контрибуцию. Обычная судьба, проходная. Все равно грустно кулаку, не нравятся ему ни большевики, ни собратья по несчастью. А женщин с детишками сколько! Каждая расскажет одно и то же: муж или отец ушли в лес, а в деревню пришли большевики. Активисты на безмужиковствующую избу указали — вот ее по закону и спалили, имущество конфисковали, а всю семью — в лагерь. Семейные женщины составляли большинство заключенных.

— Доча, принеси яичко. Кончаюсь я, — шептала соседка.

Сима дополнительно потрудилась за пук соломы. Попридержав юбки, жидовочка помогла больной опростаться, оранжевую жижу заложила добытой соломой. Лучше женщине не становилось. Серафима по-прежнему зарабатывала лишнюю пайку, хотя добывать ее стало труднее. Солдаты, заметив очередной копошащийся ком, смеялись, лузгали семечки и пытались доплюнуть кожуркой до соседней любви. Из кома выползала Сима, сжимая ртом вареную картофелину. Снедь вкладывалась в рот умирающей. Девушка представляла себя любящей птичкой, кормящей родное гнездо. Баба же хрипела, выдувая обметанными губами картофельные пузыри.

Лишь после трапезы, утерев рукавом рот, женщина туманно бредила:

— Потерпи, дочка. Большую тайну расскажу. Век счастливая будешь.

Наверное, крестьянка попала в Сампур из-за мужа-антоновца. Так казалось Симе. Сама она ничего дурного в жизни не сделала, разве что

соседской короле вымя выщипала или горшки чьи побила. Женщина как женщина. И тайна ее наверняка была такая же. О горнице, о тыквенных семечках. Что вообще может знать крестьянка, которая дальше Рассказова нигде не была? Прямо как она, Сима. Зато девушка помнила прочитанные книжки и, вороша в Сампуре испачканную солому, мыслью находилась в стране Джека Лондона. «Что же здесь может быть за тайна? Откуда?» — задавалась она вопросом.

С каждым днем в Симе сильнее разгоралась алчность. Она не сразу реагировала на подползающих мужиков с картофелинами. Те недовольно поводили штанинными задами. Очень уж хотелось русскому пахарю дармовой любви. Сима соглашалась, потом лежала и думала. Может быть, все и произошло для того, чтобы она попала в лагерь и узнала предсмертную загадку? Не может же быть, чтобы и хутор, и концентрационный лагерь, и то, что было у них внутри, произошло напрасно?

— Доча...

Сима склонилась над умирающей. Как это бывает перед смертью, та очистилась взглядом и заговорила четко:

— Из деревушки я по соседству с Паревкой. — Крестьянка произнесла название. — Слыхала?

Сиделка кивнула.

— Ты приди в деревушку. Найди избу пригожую. Добротно сделанная, на возвышении стоит. Одна там такая, не ошибешься. То дом мой был, кто сейчас там, не знаю. За домом огород. За огородом низина начинается. Густо-густо там травы...

Сима подумала, что сейчас она узнает, отчего ночью мерцают звезды.

— Ты, главное, постукай по склону — там дверка дерном прикрыта. Постукаешь?

От торопливого кивка разметались давно не мытые волосы.

— Под дерном погребок. Слышишь?

Ухо девушки обожгло: крестьянка дышала желудком.

— Внутри снедь. Сальцо в бумажке обернуто, мешки с мукой. Платье кой-какое. Они мне от городских достались, хорошие платья. Бери себе, дочка, пригодятся. И покушай, покушай, не пропадать же добру. Ой, боюсь, пропадет накопленное. Пусть тебе достанется, ты сходи, сходи... Запомни: за избой на возвышении, а там спуск в лощинку. Сделай милость, скушай добро. И платье носи. Хорошее. Городское. Мне люди задаром отдавали. Мужу моему уже ни к чему. Кончили его. И я кончусь.

Женщина повторила маршрут и содержимое погребка несколько раз. Затем снова впала в беспамятство. До самой кончины просила колбаски, платьице сатиновое примерить, потом захрипела и к ночи померла. Сима не испытала по поводу близкой смерти никаких чувств. Важнее было другое. То, что умершая называла тайной. Погребок с продуктами? Городские платья? И всё? Рядом с Паревкой есть тайный погреб. У них тоже был тайный погреб недалеко от хутора. Отец хранил там скопленное добро. И ради этого Сима попала в лагерь? Ради чьего-то сала?

Мужички, сидящие на карачках, по привычке подзывали Симу к себе. Уши резал детский крик. Как раз было время обеда: люди чавкали жидким супом, где плавал тощий капустный лист, и вылизывали миски. Невыносимо пахло дрянностями. Лагерь жрал, грязными руками запикивал в грязные пасти грязную жизнь. Люди давились сами собой, что позволило бы им протянуть до следующей кормежки, а что будет дальше — неважно, будущее не может сравниться с мутной несоленой водицей с одиноким капустным хрящиком. Вся жизнь, которая должна была начаться сразу после хутора, ничем не отличалась от того, что было раньше. То же самое питье и жратье. Кто первый набил желудок, тот может подумать о размножении рода. А кто размножился, тот и свистульку хитрую готов смастерить. Дай этим людям мечту, любовь да хотя бы кусок сатины — так они его тут же сожрут либо в погреб спрячут до лучших времен. А лучшее время для русского человека — это время после обеда.

Сима медленно встала. На нее тут же зашикали, потянули вниз, к теплу, земле и испражнениям, но Серафима снова поднялась и руки больше не цеплялись за юбки. Осторожным шагом, чтобы не наступить на людей, она пошла к колючей проволоке. За оградой без спешки сняли с плеч винтовки и крикнули командира. Тот вышел из ближайшей избы — потный, засиженный мухами. Видать, долго определял судьбу очередного пленного. А Сима все шла и шла.

Краском, привыкший к подобным эксцессам, приказал:

— Гражданка, сядьте! Вставать без команды запрещено. Мы вас не вызывали.

А Сима шла. Просто шла. Немного у нее осталось радостей. Некоторые солдаты про себя струхнули: когда косматая темная девица доберется до проволоки, вдруг не порежется об нее, а пройдет насквозь? С нее станется — ублажала лагерь, как святая. Такая и металл в воду обратит.

— Сидеть, к кому обращаюсь!

Дурацкий, в общем-то, приказ — не вставать. Ну кому помешает, если бы люди передвигались от кучи к куче не ползком, а на своих двоих? Так нет ведь, официально постановили — вставать только по окрику. На несколько секунд командир задумался: «Давать ли еще одно предупреждение или вернуться к работе?» С утра телеграф выстучал, что Сампур вскорости должен принять еще пару сотен заложников. Нужно было торопиться. А эта грязная дуреха явно сумасшедшая. Глаза блестят, губы влажные — за короткий срок стала главной лагерной девкой. Ее бы талант да на службу фронту. Девушку хотели выпустить, так ведь не далась, реветь начала, цепляться за пададь в тряпках. Вот полоумную и оставили в лагере. Пусть одумается. Командир испытывал к девушке смесь презрения и жалости. Куда пойдет сирота? Чем она успела заразиться? Какое будущее ее ждет? Как вообще можно прикасаться к этой вонючей парше? И как нужно оголодать, чтобы покупать такое вот? Нет, это не класс крестьянства, а всего лишь скот.

— Стреляй, ребят, — раздался приказ.

Солдаты без запинки выстрелили, пробив Симе легкие, шею, почему-то бедро, но даже тут ни одна пуля не попала в сердце. Лагерь выдохнул, рухнул на землю и с минуту лежал ничком. Вдруг начнут из пулеметов строчить? Когда краском вернулся в допросную избу, к мертвой Симе, пока не пришла похоронная команда, заторопились мужички. Они спешили к трупку на четвереньках или ползком, здесь уж кто на что отважился, и принялись ловко, как таракашки, обыскивать мертвое тело. Кто лоскут ткани хотел ребеночку на ползунки, кто желал в последний раз помазать теплую титю. Только вот лежала Серафима Цыркина неправильно. Без какой-либо позиции. Ничего своим телом не придавила, никого душой не закрыла. Даже руки не раскинула. Без недостатка умерла девушка. Просто так. Обиженно сопели над телом мужики, точно недодала жидовочка народу чего-то самого важного.

Не найдя ничего, даже хлебной корочки, жучки недовольно расползлись по своим углам.

XXVII.

Красный отряд поредел. Розовым стал, бледным, каким бывает закат на болоте. Отряд понуро волочился вслед за Рошке и Мезенцевым. Те скрипели кожаными спинами, разглядывая карту Кирсановского уезда. По всем ориентирам лес выходил небольшой, его можно было накрыть ногтем от большого пальца, и то, что столь странное сравнение требовало отделения ногтя от пальца, сбивало чекиста с толку. В голову лезли нечетные мысли, от которых Рошке кривился плоским лицом. Немец верил в силу математики и ориентирования на местности, тогда как в то, что лес не кончался уже которые сутки, он поверить не мог.

А вот Мезенцев радовался. Впервые на тамбовской земле комиссару приснился приятный сон. Без злющего гула, который гнался за ним от самого Белого моря. Приснилась комиссару Ганна. Он стремился к ней, как вода к обрыву. Ганна ждала его. Не надменная, из меди и золота, а теплая и зовущая Ганна, на которую надавишь — белое пятнышко останется. Была женщина подушечкой для иголок — иголки убрали, а пух остался. Женские пальцы льнули к ушной раковине и немножко требовательно проникали внутрь. Шептала Ганна украинскую колыбельную, которая вроде и не о карачуне, и не о болотном лихе, но от тихого напева Мезенцев сильнее сжимал руки, пытаясь отнять у женщины дыхание. Грустное пение продолжилось. Олег поднял лицо и с укоризной посмотрел на Ганну. Та ласково утешила его двойным взглядом. Зеленым и коричневым. Наклонилась и поцеловала Мезенцева в лоб. Так, чуть над бровью, где у комиссара белел шрам. Размякший Мезенцев почувствовал, что Ганна сегодня так добра, так ласкова, что можно повалить ее вниз, с неба на землю, и прокатить, тяжело улыбаясь, по траве. До дрожи, растрепанной поцелуем, захотелось Мезенцеву обладать Ганной. Комиссар протянул детские руки, однако женщина вдруг предстала отдаленной, как конфеты в верхнем отделении буфета — никак не достать шестилетнему



мальчугану. Мезенцев расстроился и посмотрел на крошечные ручки: в них не было ни конфет, ни женщины. Грустно вздохнул комиссар. Так дети ждут сладкой добавки, а добавки-то и нет.

Мезенцев проснулся радостный, хотя и неудовлетворенный. Ганна была у него в руках, да в последний момент выскользнула. Комиссар оглянулся с больной улыбкой: вроде бы народу в отряде поубавилось. И верно, на поверке недосчитались двух человек.

Если Мезенцева это мало расстроило, чему он сам порядком удивился, то Рошке побелел и сдвигал исключительно по два слова за раз:

— Кто? Отвечать!

— Не можем знать, товарищ...

— Часовые! Докладывайте!

Вперед вышли трое солдат. У Вальтера Рошке побелели глазные очки. Трясущейся рукой чекист снял оправу, сложил ее в карман кожаной куртки и пересчитал весь отряд, не забыв про себя с Мезенцевым. Получилось пятнадцать человек. Цифра Рошке успокоила: пусть и нечетное число, но это фактически 75 процентов от первоначального состава. Потери составили 25 процентов. С такими показателями можно легко просчитать судьбу отряда.

Вальтер на тон ниже подытожил:

— По возвращении в Паревку обо всех дисциплинарных проступках, нарушениях устава будет доложено вашему непосредственному начальнику товарищу Верикайте.

Солдаты несмело улыбнулись.

— Чему улыбаетесь, товарищи? — спросил Мезенцев.

— Значит, товарищ комиссар, домой вернемся? Плохой это лес. Проводники сказывали, что его за день можно насквозь пройти. Мы же четвертые сутки бродим — и он только гуще становится. Нечисто здесь дело...

Рошке надоели крестьянские байки о злой силе. Он встречал ее с самого начала революционного пути. Сколько раз ему приходилось доказывать не силу марксизма, а волшебные способности товарищей Ленина и Троцкого! Вспомнилось, как после успешного восстания в Рассказове протрезвевшие мужики спрашивали, а нужно ли в отвоеванной церкви молиться за большевиков.

— Товарищи, — Рошке едва удержался от любимого «крестьяшки», — так потому и бродим, что проводники попались бандитские. Заметьте, я уже предлагал товарищу Мезенцеву применить к ним меру высшей социальной защиты. А они завели нас в чащу и сбежали. Нет тут никакой магии!

— Сбегли — не убегут, — глубокомысленно отозвался Мезенцев. — От счастья коммунизма не убежишь: он везде несправедливость найдет. Даже в самом глухом лесу. Да, товарищи? Веселей! Подумаешь, лес! Что в нем такого? Вы лучше принюхайтесь, как смолой пахнет! Ух, продирает легкие! Точно через глотку канат пропустили! И хмарная тень от деревьев! Чувствуете, как темно и хорошо? Послушайте, товарищи,

как воздух скрипит — будто сама жизнь гнется. А под ногой как хрустит! Хрусть-хрусть! Сучья что твои кости. Хорошо! Здесь шаг сделал — и наступил в тишину! Будто тебя и не было никогда! А, товарищи? Ну разве не красиво? Так и выглядит коммунизм!

Мезенцев сиял. Он чуть ли не сделал балетное па, набрав в оттопыренное галифе желтых иголок. Подчиненные недоверчиво поглядывали на командира. Среди красноармейцев, особенно в карауле, когда за спиной оставался спящий лагерь, крепились разговоры, что комиссар сходит с ума. Не так должен вести себя уважаемый военный. Лучше бы в грубости раздал несколько грязных приказов и саданул по нерадивой заднице сапогом — быстрее бы понял солдат великую суть революции. Бойцы были не прочь избавиться от опеки Мезенцева, но власть Вальтера Рошке пугала их еще больше. Скучали солдаты по понятному им Евгению Верикайте.

— Вы здесь, товарищ комиссар, как будто кого-то ищете?

— Нет, — задумчиво протянул Мезенцев, — здесь я никого не ищу. Наверное.

Сомнение командира отразилось на солдатах. Они оглядели четыре стороны света, надеясь увидеть среди них пятую, однако та осталась в небе. Высь была так далеко, что ее никто не учитывал. Стыдливо вспомнилось, как они лезли на сосны, чтобы указать на себя аэроплану. На пятые сутки поисков такая идея вызывала нервный смех. Ну, право, какой в ней толк? Как будто в мире еще летают аэропланы. Кончилась пища, взятая в расчете на быстрый рейд. Смотровой, посланный на верхушку огромного дерева, увидел оттуда лишь тысячу таких же деревьев. И хотя солдатам приходилось не мыться и дольше, и грязь ноябрьскую заваривать в чайнике, и гимнастерки цвета навоза носить, но складывалось ощущение, что мотается отряд по лесу уже добрый месяц, а то и год. Все одичали, застегнуты были не по уставу, винтовки несли кто на плече, кто в руках. Рошке только успевал делать замечания.

Внутри чекист помрачнел. Уголками серых глаз следил за Мезенцевым, подозревая, что именно он завел отряд в глушь, а не проводники. И расстрельные бланки выкинул из руки он, а не ветер, и его, Рошке, взял комиссар в лес, чтобы отдать ценного пленника повстанцам, и... Много было этих «и», слишком много, а когда их много, то вниз, в пропасть, падают «а» и «б». «А» — был сам комиссар, «б», вестимо, Рошке. Чекист хотел арестовать Мезенцева за подозрительную связь с эсеровским подпольем, да тот ведь не дастся в руки. А что, если он не виноват? Но как не виноват — это ведь Мезенцев придумал бессмысленный и абсурдный поход в лес, когда всего и надо было, что положиться на конные разъезды, броневики и аэропланы. Что проку в гадкой чащобе, которая по ночам истошно воеет филином? Что толку от черной кожаной куртки, когда ночи здесь темнее, чем подвалы ЧК? Гуманитарные вопросы атаковали чекиста, а он гуманитарных вопросов не любил.

— Чего приуныли, — дирижировал Мезенцев, — смерти боитесь?.. В моих краях кочует легенда о двух братьях. Остались они на безлюдном острове в Студеном море. Лодку унесло, еды нет. Однако вместо того,

чтобы отчаяться, сели братья вырезать на память доску удивительной красоты. Да выцарапали на той доске не только историю своей жизни, но и завитушки со зверьми диковинными. Людям на радость, смерти на украшение. Вот и вы живите так, чтобы быть смерти на украшение.

— Что за чушь, — процедил Рошке, — кто так говорит вообще? Вы себя слышите?

— Конечно слышу! Меня беляки за Волгой расстреливали, а пулю лоб остановил. Выкопался из земли да сюда приплыл. Чудо? Нет. Человек!

Рошке усмехнулся: ничего, скоро он проверит, был ли вообще этот расстрел.

— Товарищи, — продолжал Мезенцев, — вы что, не видали, как человек, по всем правилам должный погибнуть, в последний миг спасался? А ну, делись воспоминаниями!

Красноармейцы хмыкнули, и то один, то другой заговорили:

— Деревня барина в доме горящем заперла, а тот дождался, когда дверь займется, и как вышиб ее! И сбежал... А мы кулаку живот вспорили. В наказание отмотали метр кишок и отрезали. И ничего. Председателем совхоза потом стал... Товарищ Верикайте так бронепоезд разогнал, что влобовую целый белячий состав смял. Вместе со штабным вагоном. Думали, никто не выжил — так у них даже графин с водкой не разбился.

— А вы, Рошке, что вспомните?

— Нечего вспоминать.

— Так не бывает, — сказал комиссар.

Вальтер захотел съязвить, что Мезенцев, в отличие от него, может вспомнить немало контрреволюционных имен, как вдруг разговор был прерван запыхавшимся дозором:

— Там люди! Антоновцы!

— Ур-ра-а-а!

Противника приветствовали от чистого сердца: никто уже не надеялся встретить в лесу людей.

— Докладывайте точнее! По порядку!

— Двое человек, на поляне. Там дерево огромное! Ходят под ним, ждут. Оружия вроде как нет. Но до чего странные! Один вроде как в белой рубашке, а другой по бандитской форме одет. Даже погоны разглядели. Офицер.

— Разбиться в цепь. Братъ живьем! — тут же приказал Мезенцев.

Залегли в траве около полянки. На ней возвышался одинокий ясень, вокруг которого прохаживались бандиты. Один, бритый и с усами, порой хохотал и пытался в шутку трясти дерево. Тот, что в распашонке, утрюмо топорщил жирную бороду и поминутно осенял себя крестным знаменем. В левой руке он сжимал штык.

Мезенцев, поднявшись в полный рост, заорал:

— Стоять!

На удивление, бандиты повиновались. Они без страха и без любопытства ждали красноармейцев. Мезенцев с интересом осмотрел зашивленного бородача, который покорно выбросил штык. Затем перевел

взгляд на крепыша с колючими усиками и бритой головой. Тот зло щерил железные зубы. Руку такому лучше не давать — откусит. Несмотря на полную форму с ремнями и кобурой, никакого оружия у офицера тоже не оказалось.

— Кто такие? — спросил Рошке. — Запираться не сове...

— Антоновцы, — ответил Жеводанов. — Бандиты, остатки старого режима, противники социализма и вас лично. Мы голой жопой на ежа сядем, лишь бы вам пусто было! Ясно, кто мы такие?

— Ничего, — осклабился Рошке, — по первому делу все храбрецы.

— А по последнему — подлецы!

Жеводанов с одобрением рассматривал комиссара. Отметил рост, фигуру и светлый, вытянутый лик, словно солнце на нем вставало не на востоке, а на западе. Виктор Жеводанов немного побаивался, что смерть будет пахнуть чесноком или окажется каким-нибудь псевдонемецким «штейном», только судьба как будто вняла мольбам Елисеюшки и послала им достойного противника. Остальные большевички были весьма заурядными, но комиссар... комиссар хорош. Лучшего и ожидать было нельзя. Елисей Силыч тоже просветлел и забубнил молитвы.

— Арестовать, — скомандовал Мезенцев.

— Арестовать? — спросил Елисей Силыч.

— А что с вами делать — отпустить барышень щупать?

— Можно нас расстрелять? — попросил старовой. — Христом прошу! Расстреляйте.

— Так точно, — кивнул Жеводанов, — подтверждаю просьбу. Убейте. Могу для удобства повернуться хоть профилем, хоть анфас!

Видали солдаты всякое, в том числе и такое, однако ведь не молодые кадеты перед ними хорохорились. Пленные смотрели мимо большевиков, в одну только им видимую даль. Точно поняли, что расстрел в лесу еще не самое злое: здесь, под ясенем, можно было нарваться на силу похуже. Стеклились глаза от радости, пожалуйте, помогите, сделайте милость, чего вам стоит взвести курок?

Но Рошке не дал поблажки:

— Вас ликвидируют после дознания. Если степень вины будет соответствовать высшей мере социальной защиты. У нас не лес. Человек с винтовкой не себе служит, а революционному закону.

Елисей Силыч неожиданно рухнул на колени и завопил:

— Что вам, черти, христианина трудно убить? Не хотите застрелить, так керосином облейте и спичку поднесите! Повесьте, как Иуду, готов грех подобия на душу взять! К дереву приколотите! Боком, наискоски — чтобы ни с Христом, ни с Павлом не сравниваться! Не хочу быть прощенным. Не хочу оправданным быть. Я виноват! Все мы виноваты! Мне за то прощение за гробом будет. Все спасутся — я сгорю. Слышите? Все спасутся — я сгорю!

Жеводанов засмеялся. Усы окончательно сваялись в жесткие колышки. Вместе с железным ртом они напоминали блестящего жука, пытающегося выбраться из офицерской глотки.

— Не поверят они тебе, братец. Смотри, как надо. Щас сделаю, чтобы нас кокнули! Ты потом за меня слово приятное скажи... Эй, красноперые, слушайте сюда! Когда мы ваших ловим, то не сразу кончаем. Палец сначалаотрежем, потом второй. Ремешков себе на подпруги нарежем. А как вы орете, когда на титьках звездочки выцарапываешь! Всегда знал, что вы, сволота, против красоты боретесь. Видели, небось, вашего? С вырезанными коленями? Тоже мы постарались! А особо сладеньких я железными зубами рвал. Одного за другим, как рыбку. Ну что, постреляете меня? Если можно, хочу раньше любезного брата конечную правду узнать.

Как ни старался Жеводанов, так и не произвел должного впечатления. Его слушали из скуки по человеческому общению. Рошке демонстративно пожал плечами, а комиссар, отвернувшись, рассматривал ясень. Заприметив нечто человеческое, Олег Романович крикнул:

— Эй вы, слезайте к советской власти!

В ответ даже ветка не хрустнула.

— Слезайте, кому говорю!

Никто не отозвался. Антоновцы попытались вырваться, отвлечь внимание, проорать что-то обличительное, чтобы не тронули большевики их любимого мальчишоночку, но было поздно. Вальтер Рошке тоже внимательно гляделся в крону, а если уж немец заподозрил неладное, то пиши пропало — тут и с лестницы Иакова слезть придется.

— Спускайтесь — или мы открываем огонь! — крикнул Рошке.

Ясеню дали полминуты. Елисей Силыч с Жеводановым божились, что под деревом они просто остановились передохнуть. Нет там никого! И не было! Если не верите, дайте мы слазим! Разве что луна с ночи о ветки зацепилась. Да вы лучше сами спросите! Спросили. Ясень молчал, качая узловатыми ветвями. Мезенцев махнул солдатам, те вскинули винтовочки, и за мгновение до залпа Костя Хлыгин все вспомнил...

Очнулся он у паревской церкви. Целое утро за селом гремели орудия. Полз по Змеиному болоту газ. Антоновцы были разгромлены, и молодой фельдшер покорно прибрел на звон колокола. Комиссар стоял на паперти. Высокий, мраморный лоб. Желтые-желтые, совсем не русские волосы. Худой, но не тощий, скорее поджарый, человек-конь, вставший на задние ноги, — круп в галифе покатый, под стать кобуре на поясе. Пришел топтать местных баб, которые, раскрыв рты, смотрели на Мезенцева. Как же хотелось быть на месте комиссара! Костя замечтался, что он обязательно поймает белого коня Антонова, пригнет его долу и нашепчет на ухо верную путь-дорогу. Вот тогда он войдет в Паревку так же, как вошли большевики, и расскажет с паперти не о борьбе с холерой, а про мировую революцию духа. И слушать его будут не бандиты разных цветов и крестьяне, которых они делят, а Бердяев и Луначарский.

Солдаты схватили орущего Гришку. Бандит никогда не нравился Косте. При любой возможности он норовил указать интеллигенту на его беспомощность. Ты, мечтающий Константин, начитался толстых журналов, а реальный народ — это я, шепелявящий Гришка, который дует са-

могонку, задирает мужичков и тычет удом в каждую зазевавшуюся девку. Я, Гришка, сам себе хозяин: захочу — большевиком себя поставлю, а нет — уйду к их противникам. Однажды на глазах курносо́й девки Гришка толкнул Костю в навоз. Пусть был он лежалый, давно не плодоносила в селе прямая кишка, зато смех у девки был настоящий. Костя подскочил, сжал в ладони большой сухой кусок, но запустить в Гришку не решился. Тот беззубо ослабил, ожидая причины, по которой можно было бы избить парня. Арина захлопала в ладоши, а Костя сгорбился, выронил кусок навоза и ушел прочь.

— Не дрес-сь, глиста. — Гришка догнал и резко дернул за плечо. — Аринка моя заневестилась, не хочес за нее? Чую, мне на днях амба. Вот к тебе напоследок цепляюсь. Напоминаес одного мозгляка. В тюрьме вместе валандались. О жизни все проповедовал, а сам не знал, как на людях подтереть.

Костя тогда сильно удивился. Вот и сейчас Гришка озадачил эсера признанием:

— И Илюску Клубничкина я убил, потому сто он к моей женсине приставал. А Гриска Селянский никому не позволяет со своими бабами заигрывать!

С содроганием смотрел Костя, как перед смертью выкобенивается Гришка. Подзуживает, смеется. Выходи, Костя, потешь себя, покажи. Я вот смог, а ты? Я перецупал всех дур на деревне, половине мужиков насолил и еще насолить успею, вор и хитрый паря, одним поступком всю твою жизнь похерил. Вспомнил фельдшер, как часто подтрунивал над ним Гришка, как кичился боевыми походами и называл молокососом, да и тут обошел на полголовы — принес себя, рассказовскую суку, в жертву за самарского интеллигента. Ты меня ненавидел, а теперь кайся за это во всей оставшейся жизни. Я за тебя жизнь отдал, тебя не спрашивая. Удовлетворится Мезенцев моей смертью, а вас, мешки драные, не тронет. А? Каково? Съели?

Не помня себя Константин выступил вперед, бросив в лицо комиссару все, что думает. Пусть храбрился Селянский, да только нельзя было оставить о повстанье плохую память. Костин поступок даже комиссар оценил. Однако Гришка почему-то просипел: «Какой же ты, мать твою, дурак». То есть не хотел Гришка быть лучше Кости? Это он от чистоты собой пожертвовал? Не хотел унижить его перед всем селом? А что вообще делал Костя в Паревке?

Действительно, что он, Костя Хлыгин, делает в тысяча девятьсот двадцать первом году в селе Паревка? Что? Он делал здесь революцию? Кто может поверить в такую чушь, что революция начинается в селе под названием Паревка? Революция — это Париж, это Петроград, это Берлин! Но Паревка? Что за вздор! Ведь Косте восемнадцать лет — он родился уже в XX веке. Мальчику полагалось писать первый роман и подарить Брюсову тетрадку своих стихов. А он здесь, напротив винтовок. Не поэт, не философ, даже не питерец — всего-то фельдшер. Будет ли потомкам дело до какого-то там фельдшера? Ведь они напишут про

Антонова, про полководцев, которые его победили, только вспомнят ли мальчика восемнадцати лет, который не смог смолчать этим июльским вечером? Вспомнят генералов, вспомнят комиссаров и всех георгиевских кавалеров, но кто вспомнит кузнеца и мельника, пастуха и извозчика? Ведь Костя не гусарский мальчик с простреленным виском, а всего лишь фельдшер. Кто захочет написать о фельдшере? Костя попытался вспомнить хоть одно стихотворение, где умирал бы не герой с белой улыбкой, а конюх или скорняк. Таких не было. По щеке скатилась слеза: не за себя плакал Костя, а за всех безымянных людей, отпечатавшихся в истории лишь благодаря отчеству убившей их пули.

По щеке скатилась еще одна слеза. Какой Блок?! Какой Белый?! Здесь зимой в валенки наливают воды и выгоняют на мороз. Здесь мужики в отместку распинаят живых людей на деревьях. Ух, сюда бы салонного акмеиста, зло подумал Костя. Вот хорошее искусство — выписать на недельку в Тамбовскую губернию Андре Жида. Не давать жрать, сунуть в руки кол, сказать — вой! Тогда сразу бы стало понятно, кто во всем навсегда прав, а кто только притворяется. И Ганна, где Ганна Аркадьевна Губченко, женщина с разными глазами? Где она? Почему она не любит Костю? Это потому, что он не написал ни одной книжки и будет вот-вот расстрелян: комиссар уже прочертил напротив линию красноармейцев. Или потому, что он не очень красив? Ведь некрасив же...

В таком настроении Костя Хлытин дождался залпа и умер.

XXVIII.

В чаще горели костры. Костры-то были, а вот середки не было. Люди расселись, как их научила мать-природа: чтобы спина обязательно прикрыта и чтобы все на виду. Человеки расселись на корнях, забрались в дупла, лежали прямо в траве, пузом вверх и пузом вниз. Трудно сказать — отдыхали, давно уже не работал лесной народ, скорее — питал землю теплом своих тел. Тучно дышала луна. Звенящий гнус присасывался к тощим шеям. Никто с матерком не бил себя по загривку: люди с пониманием относились к потребностям комариного племени. Жалко, что ли? Пусть пьют вольную кровь. Мы ее на дармовых харчах нагуляли, так что и вы, кровососы, пользуйтесь.

Тырышка лежал сбоку, если у чащи можно найти бок. Связанного Верикайте прислонили к дереву как еще один его корень. Белая начетница, вытянув руки, грела их меж двух костров. Женщине было холодно. Сосало дитя сердечный жар, будто кладбище тянулось к соску. Роженица сильно иссохла, но дитя в весе так и не прибавило.

Купин, чье имя никто не смог запомнить, сидел в стороне, на границе с тьмой. Лицо у парня осунулось. Ватага упрашивала Купина спеть что-нибудь, как тогда с братом, — он отнекивался. Тырышка даже подарил увальню счеты, однако и они не развеселили Купина. Он перекидывал из стороны в сторону костяшки, деревянно думая о жизни своей. Выходило всегда одно: тускло на свете без братской любви.

Раздался визжащий звон. Он колебался, словно не знал, понравится публике или нет, а когда орда одобрительно загудела, набрал силу и грянул в полную мощь. В мелодию вплелись два голоса потоньше, лебяжно звеневшие железом. Это мужички заиграли на пилах. У Тимофея Павловича Кикина в руках плясала огромная двуручка — так он праздновал освобождение жеребенка. Двое лесовиков перебивались инструментом поменьше. При порубке металл зажат древесиной, стонет тяжело, с хрипом. Здесь же пилы дергались часто и остро, вот-вот вырвутся из мужицких лапищ, пойдут колесом по людям, срезая их как траву.

Бандиты не выдержали, отбросили надкушенные мухоморы и пустились в пляс, похватав с земли походных женок. Те засмеялись, довольные, что их помнут неугомонные мужики. Злыдота топала ногами, босыми и обутыми, щерила морды и отбояривалась от судьбы неистовым танцем. В пляску запустили куриц с петухами. Птицам бросили горсть зерна, и они, смешно загребая лапками, присоединились к гуляньям.

— Шустрее загребай, квохча! Шустрее!

Куры загребали быстрее. Мужики не отставали. Кикин возбужденно елозил по пиле, гнул ее, почти лизал темным, собачьим языком. Вдруг он скользнул алым жвалом по отточенным зубьям, и по инструменту потекла струйка крови. Мужики завыли и потащили баб в темноту. Там грустил Купин. Он не замечал запыхтевшего и зачмокавшего траура, молча отпирывал костяшки счетов от бортика к бортику. Деревянные бусинки стучались в темноте. На свободной ветке в такт счетам раскачивался удушенный Петр Вершинин. Великан обиделся на самого себя и вдел шею в петлю. Жеребенок, приходившийся Вершинину родственником, радовал только кума. Незачем было жить душегубу — вот и сделал он шаг вперед. Висел Петр хорошо, как качели. Чуть скрипел надувшейся шеей. Веселые люди долго раскачивали громилу, пока он, обломав ветку, не рухнул на землю. Не получил, значит, прощения.

Вершинин встал, отряхнулся и подобрался к Купину. Купин надавил толстым пальцем на деревянную горошину. Та отмерила горечь поражения: очень скучал Купин без братца. Требовалась увальню вторая половинка, к которой можно было прилепиться теплым боком и переждать жизнь. Пусто смотрел Купин на Вершинина. Тот щупал толстую шею, победившую веревку.

— Тошно тебе, братка?

— Тошно, — проронил Вершинин.

— Давай дружить, братка? — предложил Купин. — О нас по отдельности никто не знает. Что есть мы, что нет. Даже имени моего не записали для порядка. И ты молчун известный, неясно, зачем поутру ходишь в кусты? Нам бы друг к другу присовокупиться, чтобы заметили и запомнили.

— Убивал? — задумался о будущем друге Вершинин.

— Убивал. Много балагурил на русской земле. Ты женщин кончал?

— Было дело.

— И я тоже. — Купин щелкнул деревяшками. — А мужиков сколько на тот свет отправил... не сосчитать. И ты тоже? Стало быть, одной дорогой с тобой шли, вот и повстречались. Айда дружить?

— Похристосоваться бы.

— Похристосуемся. Скажи, братец, что-нибудь напоследок, пока вдвоем не замолчали.

По губительскому лицу покатались счастливые слезы.

— Жить надо по любви, а если любви нет, то и жить не требуется... А имя твоейное возьму. Мне свое больше без надобности. Брошу его собакам, пусть глодают. Также хочу Купиным быть. Я видел, как тебе с братцем хорошо было.

— Добро, братка. Как же я тебя сразу не признал!

Вершинин с Купиным обнялись, поцеловались, захлопали по грязным спинам большими руками. Всем сделалось хорошо и удобно: нашли друг друга братья в гуще народной. Нелюдимый Вершинин ожил, улыбаясь в верхней тьме новой фамилии. Большое дело случилось: соединились вместе неприкаемые тела. Теперь будут взаимный праздник поддерживать. Мужичья орава, отлипшая от влажных женщин, поздравляла новоиспеченных братьев. Напоследок Вершинин с Купиным обменялись крестами, каждый принял чуток тепленького на грудь.

Когда веселье улеглось, Тырышка присел рядом с Верикайте:

— Ну как тебе, братец, наши пляски?

Евгений Витальевич очнулся уже в лесу. Он не помнил, как его взяли в плен. Как только увидел врага, все вокруг закружилось и загудело. Неведомая сила подхватила его и бросила в распростертые руки бандитов. Страх не было. Верикайте вообще скупился на чувства. Лишь лицо сильно одолевали комары: руки-то связаны. Приходилось вертеть головой, отчего он немножко опьянел.

— Ваши пляски мне отвратительны, — сплюнул комполка. — И песни отвратительны. Я Моцарта люблю.

Тырышка был удивлен: луна размером с алтын, небо гуашевое, сонны кругом томятся, и ты связанный лежишь меж чужих мужиков — что тут может быть отвратительного?

— Эй, Тимофей Павлович, Моцарта знаешь?

Кикин отпустил пилу, которая закачалась между колен как половая мачта. Оставшиеся музыканты повалились среди корней, зашерудили в траве, ища бутылки с самогонкой и мухоморы. На темной кикинской голове покоилась черная фетровая шляпа. Ее он добыл в Паревке. Кикин долго хмыкал и закатывал глаза, давая понять, что слышал нечто подобное, хотя вот так с ходу не вспомнит, ему нужно время на подумать. Наконец солидно ответил:

— Не знаком.

И задумался, трогая пальцем любимую. Пила молчала. Тырышка тоже молчал. Нечего ему было сказать Верикайте, а сказать хотелось. Умное, важное, как про Моцарта. Нужно же побеседовать, а то некуль-

турно получается: взяли человека в плен — и даже разговором накормить не могут. В раздумьях Тырышка поколупал единственный глаз. Добытую бяку он с достоинством вытер о Евгения Витальевича.

— Вопрос есть последний, — сказал вдруг Верикайте. — Вы ведь меня убьете?

— Ну конечно, а как без этого? Самой лютой смертью кончим. Нашел чего спрашивать! Ты вот лучше нам скажи... так... Что же мы хотели разузнать?

— Слушаю. — Краском не потерял самообладания.

— Ну скажи-ка, Верикайте, — нашелся Тырышка, — отчего у тебя бабская фамилия? Понимаю, часто спрашивают, но ты мне ответь на правах боевого знакомства. Почему бабой обозван, а не Верикайтисом? Мм... Евгений Витальевич Верикайтис... Откуда знаю? Так я анархизма в каталажке от латышей набрался.

— Напутали паспортисты — вот и все.

— Ой ли?

На полянку приползли старые люди. Накувыркавшись во тьме, вновь сворачивались они на пригретых местах. Верикайте несколько лет боялся, что его припрет к стенке какой-нибудь очкастый Рошке, а вышло наоборот, прочухал про дворянское прошлое темный народ. Оно понятно, столько лет люди барином дышали. На семьдесят лет запомнили помещичий запах. Тырышка раздувал огромные ноздри, откуда безобразно торчали толстые волоски, и нюхал естество Верикайте.

— Ну не запирайся, братец. Нам же интересно. Иначе клещами вытаским.

— Хорошо, я вам скажу правду, — ответил комполка, — только спойте мне песню. Про солнышко, которое не светит. Ее однажды ваши пленные пели, прежде чем мы их ликвидировали. Что-то солнышко не светит, над головушкой туман... То ли пуля в сердце метит... Как-то так.

— Ну, ты людям гулянье захотел испортить? К чему грустить? Может, тебе лучше погадать? Ты нам сам все и расскажешь.

Рядом с латышом присела бледная женщина. Тонкие холодные пальцы вцепились в паровозную ладонь Верикайте. Торчала она в разные стороны тугими, негнушимися пальцами.

— Мертвая у вас рука, командир. Ни одной линии вперед не бежит, все пересекаются. Ха-ха-а! Что вы за человек такой? — Женщина закружилась, приговаривая: — Врали и красным, и нам врите! Вы ведь никакой не большевик! Почти дворянского происхождения барин. Вруша вы, Верикайте... И храбрец. Обычно трусы врут, а вы герой. Зачем же храброму человеку врать? Вы ведь полки вражеские громили, а тут застеснялись.

— Не понимаете вы, — вздохнул Верикайте. — Вы не знаете, какую силу принесло на землю. Такая силища, что повсюду она. Постоянно смотрит за тобой. Слушает. Заходит ночью в комнату, где спишь, мысли читает и не говорит до поры до времени. Накапливает тайну день за днем,

и ты гадаешь: успела она прошлое прознать или нет? Идешь — с плакатов смотрит, заперся — через стенку сочится. И со временем понимаешь, что она уже в тебе. Когда сделаешь что-нибудь не так — заворочается, заворчит. Нельзя уже свободно думать. Боишься, что подслушают. Даже скрываться больше положенного нельзя — это выдает с головой. А хуже всего, когда с ними встретишься — с речью, бумажкой или человеком. Они корректны, вежливы и ни в чем не обвиняют, однако чувствуется, что могут обвинить, что им это не составит труда, что ты не от себя зависишь, а от них, а то, как устроено это у них, никто не знает. Даже они. Словно управляется все невидимой, никем не подсчитанной силой. Точно в головах миллионов вдруг загудело, а что — непонятно. Вот почему я боюсь.

Начетница задрожала, казалось, сейчас она разорется.

— Прав. Не хочу верить, но вижу. Даже в лес эта силища заберется. Не будет от нее никакого спасения. Нагрянет хуже урагана. Всякую зверушку из-под пня выковыряет и пересчитает.

— Это он про большевиков? — спросил Тырышка.

— Если бы! Весь род людской силища покроет. И большевиков, и меньшевиков. И тех, кто умер, и тех, кто еще не успел. Страшное время приближается.

— Ну а мы ее повырежем! — усмехнулся Тырышка. — Чик-чирик — и нету силищи!

— Что же, попытайся, — засмеялась белуха.

С хохотом она отошла к костру, с хохотом села возле и с хохотом же засунула в него руки. Мужики, не разобрав, в чем дело, тоже засмеялись. Хохотнул и Тырышка, ткнув глазом в Верикайте, — тот даже не улыбнулся. Общий смех сразу скис, распался.

— Ну, принесла недавно, — ноздри Тырышки раздувались прямо над ухом Верикайте, — мальчик родился. Счастливая, что ему наша судьба достанется. Вот и бредит. Не слушай ее. Нет такой силищи, чтобы вольного человека сосчитать. Так ты, получается, не большевик?

— Не большевик.

— А кто же?

— Не все ли равно? Странное дело. Я боялся, что меня свои же разоблачат, скажут, что я в них не верю! Но от вас... от вас совсем не страшно, хотя вы грозите мне адскими муками. Вы не силища... Вас глупо бояться. Все, что вы можете, и я могу.

— Ну, товарищ Верикайте, чегой это ты взял, что мы не силища?

— А кто вы? — хмыкнул Евгений Витальевич. — Обыкновенный сброд. Тебе, атаман, и повязка нужна, чтобы не таким, как все бандиты, казаться. Глаз под ней наверняка здоров. Знаю, навидался.

— Ну, про глаз ты прав, — вздохнул Тырышка, поправляя повязку. — Только чего-чего, а мы не скучная шайка. Хочешь, разницу поясню?

— Допустим.

Темная ладонь обвела полянку. Обвела мужиков, вылизывающих кудрявые ляжки, костры, где догорали взятые в Паревке пожитки,

баб нагулявших, сон обвела, комаров и обвела то ощущение, когда вдруг понимаешь, что дышишь носом, отчего становится немножко неуютно.

— Мы не обыкновенные. Мы народ.

— Народ? — удивился Верикайте. — Народ или в сапогах, или в лаптях. А вы босые. Вы сброд.

— Ну вот на вас сапоги! Думаете, вы народ? Или эти, белогвардейцы — кость белая, кровушка голубая — народ? Не смешите меня! Зелененькие и то не угадали, напридумывали басен про волю и хлеб. Приняли вы за соловья кукушку. Вот он — народ. Я народ. Самый настоящий. Не плохой и не хороший, а сампосебешный. Хотим — едим, хотим — милуем. Как смута подступает, мы тут как тут. Скачем, пляшем вокруг сосен. Как только Русь пучить начинает, мы тут же отовсюду вылезаем. Хорошо нам! Есть у нас темномордые и светловзорные. Темномордые через грязь ползают, в ошметках копаются, злость делают. Светловзоры зарницы взыскуют. И все равно мы бредем, побросав все, что имели. Народ тогда народом становится, когда ничем не тяготится. Чтобы можно было в реку плюхнуться и поплыть как говно. Кто на это сподобился кроме нас? Хохол — хату копит. Черкес — коней. Жид — шинок. Только мы свободны, потому что ничего за душой не имеем. А они мертвоеды! Сдохнут в своем богатстве! Мы им поможем. Топоры, огонь, смерть, бороды — вот русская конституция!

— Вы понимаете, мне это совершенно неинтересно, — возразил Верикайте.

— Ну как это неинтересно? Для кого я тогда распинаюсь?

Философский разговор неожиданно прервал Кикин:

— Про солнышко, говорите? Про солнышко спеть? Есть у меня про солнышко!

Он достал сучковатую палку, на поверку оказавшуюся смычком. Ручку пилы Тимофей Павлович зажал между ног, а другой конец согнула темная кикинская рука. Мелодия, которую он извлек, резанула по небу. Там должно было проклянуться солнце, но не то, что встает по утрам, а то, что отражается в тазу у женщины, когда она стирает белье. Не о том солнце играл Кикин, которое тучами может затянуть, а о солнце с голубыми глазами и русой косой. Порой мелодия становилась трагичной, как перед прыжком с обрыва, потом медленно опускалась с носочков, чтобы вновь взвиться волной. Звук был таким, будто смычком гнули родниковую струю. И не узнать было Тимофея Павловича — куда только ушли паучьи повадки? Он закрыл фасеточные глаза, и если обыкновенная деревенская пила теперь была похожа на арфу, то Кикин снова стал похож на человека. Он словно знал партитуру, играл не наобум, а догадывался умом, что изойдет из следующего выгиба пилы. Еще немного — и светлая грусть напоила бы страждущих. Она бы поднялась над лесом, качнула луну и потекла к Паревке, затем к Рассказову, оттуда к Тамбову, а там и до московских вокзалов струной подать.

Кикин, позабыв о кулацком прошлом, играл для всех людей на свете. Не было больше угнетенных и обездоленных, а все пустоты, которые раньше затыкали злобой, наполнились музыкой. Из тьмы выползали насосавшиеся баб мужики. Утирали сытые рты и тишайше слушали музыку. Нравилось им откровение пилы. Точно плакала она, когда резала солнышко: падали тонкие кругляшки, прозрачно катились мужикам в руки, и те вгрызались в блины большими заедистыми ртами. Быстро отяжелели бандиты от пищи духовной. Даже Купины вышли на свет. Братья улыбались, как улыбаются не себе, а соседскому счастью. Заулыбались все вокруг. Каждый из мрака смотрел и слушал, как Кикин играл на пиле.

Когда тот наконец закончил, Тырышка довольно спросил:

— Ну как?

— Восхитительно, — признался пораженный Верикайте.

— Ну а я что говорил? Зря ты гонял нас бронепоездом. Эй, Вершинин! Иди к нам. И ты, Купин, подь сюды. Или вы теперь заодно? Ба! Молодцы! Ну идите. Дело есть.

С блаженной улыбкой встал рядом с краскомом бывший Вершинин. Великан с радостью ощущал найденное братское тепло. Подошел с двухручной пилой и Тимофей Павлович.

— Ну, Кикин, готов кобылу отыграть? — спросил Тырышка.

— Моя будет?

— Твоя. Ты только скажи нам, что скрывает товарищ Верикайте.

Кикин снял фетровую шляпу. Имея богатое хозяйство, любил он ходить в шляпах, что казалось ему весьма солидным. Специально катался в Тамбов, чтобы вернуться в Паревку подростим на полтора вершка. Революция шляпы у Кикина сожгла вместе с домом, поэтому он легко ответил:

— А чаво тут гадать, это же не мужик, а баба! И фамилия у нее соответствующая. Вон как плакала от мелодии. Слыхал я, что у большевиков бабы в мужской одежке встречаются. Амазонки зовутся. Зачем чужое имя взяла, баба? Зачем от нас притворялась?

Кикин попробовал стянуть с военного галифе. Латыш жутко выругался и забрыкался. На помощь пришли Купины, стреножившие Верикайте. Как только Кикин содрал белые кальсоны, все уставились вниз и обомлели. Перед партизанами в неглиже лежал самый обыкновенный мужик со всеми полагающимися причиндалами.

— Ну, друг мой Кикин, дурак ты, — беззлобно сказал Тырышка. — Ты чують учишь, а я пока на твоей кобылке кататься буду. Не еду я в уме держал! Товарищ Верикайте поведал, что боится неизъяснимой жути, которая в мир пришла. Она-де про каждого все с пеленок знает. Вечно стоит за спиной, подглядывает, а обернешься — вроде как и нет никого. Но она есть. Вот от чего товарищ большевик под бабской фамилией прятался. А ты... тю-ю! Мужичье. Так, Верикайте?

Кто-то из мужиков услужливо сцедил на бритую макушку нить слюны и растер ее пятерней. Приводил в чувство дорогого гостя. Однако Верикайте не откликнулся.

— Ну не сердчай... Хочешь к нам в караван? Вместе мы твою силищу одолеем! Посадишь нас на бронепоезд и повезешь на Москву. Там мы ей юбки поверх головы завяжем... Что, молчишь? Эх! Точно не хочешь вкрут сосен плясать? У вас, поди, и не попляшешь так... Ну вот, довели человека. Видите, как морщится? Распилите-ка, братцы, пленника. Ему от нас стыдно.

Купины покорно сели по обе стороны от Евгения Верикайте. Двуручная пила прикусила зубьями живот. Тот не успел или не захотел испугаться: в ушах еще стояла серебряная мелодия и позор от обнаженного пола. Верикайте знал, что будет больно и будет страшно, хотя этот страх все равно был ничем перед страхом неопределенности, который уже пару лет подтачивал командира бронепоезда «Красный варяг». Оставалось перетерпеть только пару жалких минут, а дальше Евгений Витальевич навсегда шагнул бы в темное тихое депо. Там его никто не найдет. Там он спасется.

Тырышка для противовеса сел на ноги. В глаза Верикайте уставилась черная повязка.

— Ну глупый ты, Верикаюшка. Как же можно бояться того, чего не видишь? Бояться надо того, что перед глазами. Сейчас мы твою хворь народным средством вылечим. Мы тебя так люто кончим, что перед смертушкой ты все поймешь. И про силищу свою забудешь, и про подгляд. Будешь жить хотеть. Пусть уполовиненный, но жить. А жажда жизни, братец, все побеждает. Я тому наглядный пример. Как меня только ни убивали, а смотри ж ты, живой! Сейчас я тебя бессмертию научу.

Первый надпил вышел с трудом: зубья застряли в человеческом жире. Пилу выгнуло, она некрасиво всхрюкнула, за ней потянулся Верикайте, которого скосило вбок, однако новый Купин уверенным деревенским движением послал пилу куда надо. Первый Купин двинул обратно. За несколько движений пила добралась до истошного человечьего крика. Ни один зверь не кричит так жутко, как умеет человек.

Верикайте выдохнул гнилью. Язык выгнулся, почти коснувшись подбородка, а из командира все выходил и выходил мерзкий запах. Пила, разрывая мышцы, терзала пленника, а он по-прежнему выдыхал скопившиеся миазмы. Крик переходил на стон, и Верикайте, освободившись от мучивших его сомнений, совсем по-человечески взбрыкнул. Беззащитно задергался испачканный кровью член. Игривым щелбаном Тырышка уложил его набок. Пила, разодрав желудок, врезалась в позвоночник. Когда красные зубья окончательно завязли в костях и от усилий сучилась уже не пила, а сам Верикайте, норовивший забрызгать животной жижей то Купина, то еще одного Купина, Тырышка встал с ног мертвеца и скомандовал:

— Ну, братва, седлай коней — поедem других больных лечить. Среди догорающих костров заржала кобыла.

XXIX.

— Вы капитан Жеводанов? — спросил Рошке.

— Так точно.

— Вы служили у бандитов в «синем полку»?

— Так точно.

— И вы участвовали в бою на Змеином болоте?

— Так точно.

— Вы знаете что-нибудь кроме «так точно»?

— Знаю.

— И что же?

— Я знаю, что мертвые должны быть преданы земле, их души взяты на небо, а память — в головы.

— Бросьте, Жеводанов, кто вам подсказал эти слова? Ваш борода-тый дружок? Вы же Жеводанов! Куда вам в философию? Вам бы ать-два да из ружьишка по восставшим крестьяшкам стрелять. А, пуляли ведь? Или нагайкой рабочих сечь. А то и шашкой, когда никто не смотрит. Но советская власть все видит. И я от ее лица говорю: не вам, Жеводанов, о небе думать.

Виктор Игоревич не щелкнул зубьями, как хотел бы, а проглотил оскорбление. Боялся Жеводанов показаться недостойным довлеющей силы, как тогда, будучи городовым, на заснеженной улочке — прыг от бомбы в сугроб, а нужно было грудью встретить эсерика с женским лицом. Недостойн! Вы подумайте! Разве по фамилии определяют, кто достоин, а кто нет? В раю что, гроссбух на входе лежит? Офицер ослабил железные зубы. В лицо Рошке пахнуло кислым запахом. Вот бы оказаться в клетке с этим очкастым. Первым делом Жеводанов отгрыз бы ему нос. Лицо чекиста стало бы совсем плоским — можно поставить тарелочку к стеночке и стрелять, пока не разлетится вдребезги.

— А вы знаете, Жеводанов, что особый полк антоновцев, я бы даже сказал — ваша гвардия, во главе с Яковом Санфириковым сдался в плен на Змеином болоте? Почуяли подельники, что не выдюжит Антонов. Нет в нем правды. Будьте уверены, Жеводанов, что за Санфириковым, как кафтан по ниточке, потянутся другие командиры. Виктор Игоревич, мы могли бы и вам сохранить жизнь, если бы получили помощь в поимке Антонова. Вы знаете, что треть царских офицеров уже перешла к нам на службу? И их никто не трогает. А, Жеводанов? Что думаете?

— Думаю, что над могилой человека должна быть липа. Над липой — звезды. А дальше думать не требуется. Ты же против частных владений? Вот и могилы тебе никакой не положено.

Очень хотелось Рошке вмазать рукояткой пистолета по наглой бритой черепушке. Жеводанова не гипнотизировали холодные очки, он не молил о пощаде, а, наоборот, нарывался на смерть. А то, что пленный офицер с железными зубами реально верил в некую довлеющую силу, раздражало сильнее всего.



— На вашей могиле... — задрожал Рошке, — на вашей могиле, Жеводанов... будет куча фекалий.

— Дворец Советов на ней, что ль, постройте?

Жеводанов ехидно закладал вставной челюстью. Усы при этом чуть не закрутились как пропеллер. Весь вид Жеводанова говорил, что он жил и воевал лишь ради этой шутки. Взбешенный Рошке поднялся и подошел к Мезенцеву. Тот закончил допрашивать Гервасия и тоже не знал, что делать.

— Это что — поп? Как зовут?

Мезенцев сорвал травинку и обгрыз ее кончик. Травинка была сладкая, как дореволюционная жизнь. Ему это не понравилось.

— Говорит, гражданин небесного Иерусалима. Паспорт выдан Иисусом Христом. Рошке, вы знаете, кто такие старообрядцы?

— Крупная буржуазия, думала на плечах рабочих въехать во власть и править вместо царя.

— Нет, этот не из таких... Этот всамделишный. Утверждает, что к капиталу отношения не имеет. Считает, что в последние времена живет. А знаете, кто у него первая жертва?

Рошке требовалось высказаться:

— Вся Россия — жертва, чего тут гадать? Пряники, часы с кукушкой, огурцы соленые — тоже жертвы. Что они еще любят? Чтобы снег хрустел в личном саду. Чтобы извозчик шапку заламывал. Чтобы в аптеке у Акермана был холодный мраморный прилавок. Кофий чтобы непременно в белой чашечке, а красный цвет только в ягодах. А за что нас не любят попы и провизоры? Потому что мы их за шкирку из постельки вытащили и ткнули лицом в историю. Вместо разговоров о парламенте и сметане дали им титаническую миссию — мир перестроить. А они? Ай, грибочки матросня съела! Ай, погорельцев подселили! Ай-ай! Мы солнце готовимся перевоспитать, а они листочки с дореформенного календаря хранят — вдруг старое время вернется?

— Да вы поэт, Рошке, — уважительно заметил комиссар.

— Я не поэт. Я просто не люблю аптекарей.

Чекист снял очки и раздраженно протер их. Мезенцеву подумалось, что, если бы Рошке чаще так думал и говорил, они бы могли близко сойтись.

— Удивительно все же считать, — продолжил комиссар, — что у Владимира Ильича фамилия Антихрист. А Троцкий, как он сказал, смердящий пес. Но он, понимаете ли, радуется. Обычно православные плачут, что мы за ними пришли, хотя на самом деле не за ними, а за награбленным, а тут... от радости плачет. Умоляет его расстрелять. Для него это как радость перед Богом будет. Все грехи искупит сразу. Вот бы все коммунисты были такими.

— Чтобы себя пристрелить просили?

Мезенцев посмотрел мимо чекиста.

А тот снова холоден, точен: минутный приступ прошел. На бледном лице бледные же очки. Очковая змейка шипела теперь возле молящегося Гервасия:

— Я еще ни разу не видел, чтобы Бог уберег от моей пули. Думаете нас, безбожников, впечатлеть? Я однажды уже пришел такого, как вы. Вскрыл капиталиста, который все село паутиной опутал. Довел рабочих до нищеты, а сам прибыль на моленные дома пустил, чтобы себя перед Богом отмыть. Даже кабаки не побрезговал содержать. Хорошенькая вера: вы, товарищи, думайте о посмертном воздаянии, а при жизни денежки в мой кабак несите.

Елисей Силыч внимательно посмотрел на Рошке. Ощупал его пытливым взглядом, но не признал коммуниста, учинившего бунт в Рассказове, как и Вальтер не узнал сына текстильного фабриканта. На том и разошлись. Мезенцев перешел к Жеводанову. Тот оживился: комиссар явно интересовал его больше, чем сухощавый Вальтер. Мезенцев тоже с интересом оглядел бритую под ноль голову, усы и железные зубы. Комиссар пожалел пленного: такое лицо должно быть среди большевиков.

— Заблукали, — Жеводанов первым щелкнул пастью, — как и вы. Вот что тут делаем. Не спрашивай.

— А с чего вы взяли, что мы заблудились?

Жеводанов не ответил. Тогда Мезенцев спросил:

— Куда ушел Антонов?

— Почем мне знать? После боя на болоте он собрал свиту и скрылся.

— То есть бросил вас на погибель?

— Это вас на погибель оставили.

— Кто кого пленил? Или это мы на коленях о смерти просили?

— Это я не вас, а довлеющую силу просил. Верю, что под конец явится чудо.

— Вы что, Жеводанов, тоже старовер?

Офицер страшно обиделся. Второй чужак подряд решил, что Виктор Игоревич Жеводанов не может жить своей мечтой. Он, на минуточку, боевой офицер, сражался с террористами и германцами, воевал с красными и носил наградные зубы — и он, вы подумайте, не имел права на самостоятельное убеждение! Да что они вообще видели до семнадцатого года? Чеснок сушили за чертой оседлости или капиталы у Саваофа отмаливали! А Жеводанов к силушке пошел еще до революции, будучи обыкновенным городовым. Большевики тогда работали прислугой в купеческих лавках, мечтая выбиться в управляющие.

Возмущение было настолько велико, что Жеводанову захотелось говорить, доказывать, спорить:

— При чем тут бородачи?! Я до всего дошел своим умом. Что, русский человек собой не может побыть?

— Русский?

— Так точно.

Мезенцев задумался, а потом заговорил:

— Я не люблю русский народ, потому что он задом наперед ходит. Медлит, думает... Почему крестьяне взяли оружие только в двадцатом году? Да, были раньше кой-какие выступления, были... да сплыли, по-

тому что им только землю подавай. Мелочные люди. Чтобы вот так, как я, приплыл издалека крестьянин в чужую сторону и начал там погибать и убивать — так он не может. Разве вы, Жеводанов, сами этого не заметили? Что они воюют за хату, за овраг, за избу с соломенной крышей? Какая среди них может быть довлеющая сила? Перегной, самогонка, лапти. Вы понимаете, что воевали за горшки на плетнях? Даже за тень от горшка.

— Я воевал не для того, чтобы победить. Я воевал для того, чтобы не быть дерьмом.

— Вы им станете, — вмешался Рошке.

— Смотрю, очкарик, ты все строительный материал для Дворца Советов ищешь?

— Отставить! — Мезенцева еще больше заинтересовал Жеводанов. — Жаль, что вы на иной стороне. Ведь вам наплевать, кому достанется лишняя десятина земли. Мне тоже наплевать. Я никогда не любил этого интеллигентского причитания над священной земелькой. Знаете же: одни обещали построить русский социализм, а другие — вывести на хуторах крепкого хозяина. Тьфу! Ясно же, что земля годится только для того, чтобы построить на ней дом или сарай. Какая разница, какой флаг над ним будет реять? Все равно сарай. Эсеры хотели возвести сарай федеративный, кадеты — сарай неприкосновенный, а монархисты — сарай с орлами на воротах. Только большевизм решительно выступил против цивилизации сарая.

— Да! Вы за барак! — оскалился Жеводанов.

— Нет... Большевизм — это кочевничество. Это снятие с земли. Это отказ от сарая. Мы хотим движения, которое бы разлилось во все стороны. Нам мало русских, мало России. Мы не националисты. Мы жаждем охватить весь мир, пройти его насквозь, придумать ему новое занятие. Кружит голову, не правда ли? И как при всем этом вы выбрали сторону скучнейших, банальнейших, посредственнейших господ офицеров? В благодарность они вам два пучка сена на погоны пришьют. А мы — звезды!

— Так погон у вас и нет! Надуть меня хотел?

— Товарищ, зачем вы распинаетесь перед контрой? — жестко спросил Рошке. — Что вы им хотите доказать? Или... хотите понять?

— Именно так. Хочу понять. А что, нельзя? — с вызовом спросил Мезенцев.

Побелевший Рошке с криком расставил разбредшихся красноармейцев на позиции. Мало ли что. А то совсем расслабились. Жеводанов с Мезенцевым остались один на один.

Офицер заговорил:

— Я помню первую нашу атаку на станцию. Пулеметики там у вас стояли, орудие даже. У нас если один из десяти был с винтовкой, то хорошо. А до станции полверсты по открытой местности. И ладно если у тебя ружьишко. У меня было, а вот у остальных... колья из плетня, топоры, косы, пики. Вот вы бы смогли с рогатиной на пулемет? А они могут.

Пусть за горшок, за печку с изразцами, но какая разница, если могут? Да хоть за лопух! Чем он хуже флага расейского? А если могут, значит, есть в них силища. Страшная силища.

— Что за силища? — живо поинтересовался Мезенцев.

— А вот такая. Идешь после боя, трупы осматриваешь. У кого шея обглодана, кого выпотрошили, на части порвали. Какие уж тут лапти, комиссар? Это звери. Самые настоящие звери. И лес этот звериный. Никто из нас отсюда не выйдет. Никто. Разве ты еще не понял?

Жеводанов почесал спину о шершавый ясень. Затем связанными руками умудрился поскрести черное запястье. С усмешкой протянул комиссару вырванные волосы:

— Русский народ линяет.

В глазах офицера прыгали зеленые искорки. Комиссар подумал, что он еще никогда не видел настолько счастливого человека. Вот бы и ему быть таким же. Великая молотьба революции влекла, однако не исцеляла. Голова начинала болеть, когда Мезенцев вглядывался в мозаику, которую выкладывал вот уже много лет. В ней были пожары, были трактора и будущее без необходимости гнуть спину на кровопийц, только не было самого главного. Не было любимой женщины. Не было Ганны Губченко. Найти бы ее, вдавить в мозаику, чтобы эсерка с твердым хрустом встала на положенное ей место.

— Р-ра!

Жеводанов попытался выгрызть из-под мышки мучившую его вошь, и комиссар вернулся в реальность. Все же хорошо быть Жеводановым: его не могла волновать женщина. Чешись, маршируй, маши саблей да жди прихода довлеющей силы. И ни одного сладкого чрева по пути.

Офицер милостиво предложил:

— Хочешь, про силищу расскажу, а, комиссар? Напоследок.

— Напоследок?

— Так да или нет?

— Валяйте.

— Наклонись, — властно потребовал Жеводанов, — расскажу про силищу. По-вашему — про революцию.

Мезенцев со скрипом присел, отчего тут же стрельнуло в голову, и наклонился ухом к железным зубам. Знал — не укусит. Зачем кусать исповедника? Нужно обязательно выслушать человека, который напридумал в голову важный монолог. Вдруг что вечное?

Виктор Жеводанов жарко зашептал:

— Что же это — ваша революция? Слово с большой буквы? Шесть десятин каждому, а тому, кто не хочет, восьмичасовой рабочий день? Нет, братец, революция — это когда волосы на затылке шевелятся. Когда земля гудит от тысяч сапог, а следом еще босые тысячи идут. Ждут, когда им сапоги достанутся. Это гул падающего снаряда, самолетный гул, лесной гул, еще вой народный, который так низко стелется, что кажется, воздух горит. Так жара гудит, руки и ноги после работы, шаги, даль гори-

зонтная. Как будто порог реки гудит, а порога-то и нет. Будто бы вода о камни голову разбивает, но нет ни камней, ни воды. Революция — это густота, хоть на хлеб намазывай. Гуляет по Руси великий густой гул, от каждого угла отражается, в каждой лощине топорщится. И не красного цвета революция. Она ведь не туз червей. Сизого революция цвета. Как подтухлое мясо, как нос пьяницы, как туман. А в том тумане что? А в тумане гул, шорох, скрежет зубовой, самолетик летит и невидимые люди шепчутся. И вместе с тем гул — вещь неизъяснимая, не от человека и не от зверя взятая. И не смех, и не плач, и не ужас, и не грусть. Вслушаешься — посидеешь. Как будто густая волна голосов поднимается. Ползет великий гул неумоимо, ни огнем его не разбить, ни молитвой. Скоро всю святую Русь затопит по самую колокольню. Разве это революция? Это наша любимая силища.

Глаза офицера сверкали огнем.

— Слушайте гул, негодяи! Это довлеющая сила идет! Какое вам, господа большевики!

Жеводанов фальшивым голосом затянул «Интернационал».

Смеркалось.

Вдалеке, за поляной и деревьями, проснулся знакомый гул. Он медленно полз в сторону людей, подвивая и поскребывая кору железными когтями.

XXX.

Первым на поляну выскочил Тырышка. За ним вывалились вооруженные наобум лесовики. Кто с серпом, у кого обрез, мосинка, карабин Смита-Вессона, берданка или совсем уж непонятный французский «шош». Только все это многообразие не спешило стрелять. Бандиты ринулись вперед, чтобы сойтись с отрядом Мезенцева в рукопашной.

Красные лежали цепью, благо успели по приказу Рошке отрыть небольшие окопчики. Елисей Силыч с Жеводановым были привязаны позади ясеня. Первый залп опрокинул нападавших: стреляли всего с двадцати метров. Среди бандитов разорвалась пара гранат, полетело к небу человеческое мясо, однако из земляного дыма вновь восстали мужики. С утроенной энергией они бросились на защитников ясеня, не обращая внимания на пули, рвущие животы.

Вальтер Рошке поначалу не испугался. Так, обыкновенный предбоевой мандраж, когда дрожь от нескончаемого ожидания. Он лаконично всаживал пулю за пулей в бандитов, но те, падая, снова поднимались с земли. Нападавшие лезли на большевиков сторукой и сторотой массой, откуда торчало каурое ухо и черная глазная повязка. Красные пытались разодрать массу штыком, разбрызгать гранатой, а она сплпалась еще гуще, затягивая кричащих бойцов в прожорливые внутренности. Не выдержали крестьянские солдатики, бросились наутек. Чудно им было видеть людей, которых пули с гранатами не берут. В спину тут же запыхали обрезы.

— Стоять, трусы!

Масса поворотилась к Рошке. Заклубила, забулькала, обнажила новые зубы: благодаря большевикам люди годами ничего не кушали. Отросло стесанное. Чекист разглядел отдельные мертвые лица, сапоги, коней, сросшихся с людьми. Так не люди выглядят, а ров с людьми. Вальтеру вдруг представилось, что и те подвальные люди, которых он убивал около измочаленной стены, не умерли, а затаили злобу и роют, роют подкоп, роют прямо сейчас, вот-вот высунут руки из неглубокого окопчика и утащат Рошке к себе. От брезгливости Вальтер поднялся во весь рост и стал аккуратно класть пули в наступавших.

Когда коричневую грудь несколько раз сильно клюнуло, Тимофей Павлович Кикин ослабился. Он пошел на Рошке военным шагом, высоко поднимая бедро. Одной голени у него не было — измочаленная штанина костылем втыкалась в землю. Кикина перекашивало на левое плечо, будто от темной макушки к земле провели косую линию.

На лице Тимофея Павловича, откуда тихонько сходил вечный загар, темнел последний вопрос:

— Зачем мою кобылу мучили?

Кикин ковылял к Рошке, оставляя позади кровавый след. Чекист потерял самообладание. Он истошно закричал, нажимая на уже бесполезный спусковой крючок. Кикина это не остановило. Немец оглянулся, хотел спрятаться за высокого Мезенцева, но тот, видимо, уже погиб. Оставшись в одиночестве, чекист затрясся. На носу задрожали очки.

Кикин навалился на коммуниста и дыхнул смертью:

— Где моя кобыла?!

Рошке попытался отцепить холодные руки и прохрипел, возможно, первое в своей жизни оскорбление:

— Пшел вон, рванина!

Он оттолкнул Кикина, и тот рухнул в траву, где вдруг почувствовал боль, схватился за оторванную стопу и, вереща, заползал по земле. Рошке тихо отступал прочь, оставляя оборотня наедине со своим последним превращением. Черный мужичок вот-вот перекинется в мокрицу, которая уползет жить в сырой пень. Под грохот выстрелов Кикин исхитрился и завязал себя в узел. Перекрутив конечности, отталкиваясь от земли ладонями и как рога выставив вперед ноги, он жутко прыгал вперед. Его потряхивало. Из рваной штанины торчала кость. С каждым толчком Тимофей Павлович все выше отрывался от земли и сладострастно верещал. Очень нравилось Кикину воевать.

Понял чекист, что никаким кинетическим действием уже не спастись. Что выплеснул лес не нечто рациональное, которое можно было бы обмозговать, а хтонь, отрыжку болотную. Бесполезно стрелять в нее или колоть штыком — попробуй землю поколоть или воду поджечь. Бежать тоже бесполезно. Все бесполезно. И особенно бесполезны четные числа.

— А-а-у-у-э-э-у-у-а-а-а! — заорал Рошке.

Не выдержал логос, проснулась в душе первобытная жуть, какая воеет, когда из глубины пещеры видишь желтую молнию. Забоялось серд-

це немца, не смогло понять, как такое возможно. Он прилежно изучал Гегеля, препарировал жаб, находил математическое изящество в снах Веры Павловны. А тут темный коротконогий мужик, словно в насмешку не умирающий от пуль. Точно законом своего тела он нарушил привычную Рошке подвальную физику. Не смог чекист до конца продержаться в декартовской вере. Оставалось-то всего полминуты, и можно было спокойно уйти в атеистическую пустоту. А тут сдали нервы, метнулась рука душу потрогать — вот и опозорился Вальтер Рошке на весь лес.

Кикин с рычанием сиганул на чекиста и повалил его на землю. Прямо через очки надавил на глаза. Хрустнуло стекло, и Тимофей Павлович, высунув от удовольствия язык, добрался пальчиками до умного немецкого мозга.

За несколько минут оборона вокруг ясеня была разгромлена. Довольный Тырышка, трогая ноздрями воздух, всматривался в трупы:

— Ну, где главный? Высокий такой, красивый. Вкусненький.

С обратной стороны ясеня болтались Жеводанов с Елисеем Силычем. Ни одна шальная пуля их не зацепила. Зато к пленникам вышел скупающий детина. Купин посмотрел на Елисея Силыча, а потом на Жеводанова. Понял офицер, что сейчас его лишат жизни. К кадыку подкатил обидный ком. Верил Виктор Игоревич, что его кончит Мезенцев, человек во всем на него похожий, а тут людина без судьбы, без имени — даже на самое маленькое чудо надеяться не приходилось.

— Так вот кто моего братца прикончил, — протянул Купин. — Эй, братка, иди сюда, посмотри! Мы с ним шутить любили, балагурить, а ты его штыком в сердце? Он тебе мешал, когда на дереве висел? А? Мешал, спрашиваю?

К Купину подошел товарищ. Он был во всем похож на родственника — только выше и шире в плечах. Незнакомец туго протянул:

— Зачем нашего брата убил?

Елисей Силыч зашептал молитву. Бандиты не заметили ее и смотрели на офицера. Тот понял — пора. Настал момент, о котором он мечтал долгие годы. Нельзя было его упустить. С мгновения на мгновение должно было открыться Жеводанову, как выглядит неминуемое.

— Сила! Силища! Явись! Внемлю! — исступленно приказал Жеводанов.

Но ничего не произошло. Хотел было Жеводанов закричать страшно, насколько хватит воздуха в пока еще не продырявленном легком, хотел предупредить напоследок, чтобы никто не ждал благодати, однако новый Купин оказался быстрее. Выстрел из обреза разбрызгал офицера по рыжелой траве.

Пока бандиты обирали трупы, чтобы небесной казне золотишка не досталось, Жеводанов лежал разуверившимся мясом, умершим не столько от выстрела, как от горькой правды. На губах остывала глупая офицерская мечта, которую он придумал еще в бытность городovým. Показывать ее он не любил, даже отрастил некрасивые, рачьи усы, чтобы не видели

сослуживцы молящийся кроткий рот. Вдруг заглянут внутрь, позовут душевного доктора и он со скрежетом вытащит щипцами нелепую жеводановскую мечту? Да еще и скажет: «Эх, Жеводанов! Ну куда вам с такой фамилией мечтать о довлеющей силе? Выписываю вам портовую девку и чарку вина».

Казалось Жеводанову, если еще что-то могло казаться телу, не отгоняющему муравьев с выпученных глаз, что зря он так часто натягивал противогаз и прыгал в окоп. Зачем было спасать неподвижное тело, если чудо так и не явилось? Получается, нужно было всегда бояться злого артиллерийского снаряда и пулеметного клеткота. Ведь нужно бояться, если чуда нет! Нужно! А он не боялся. Значит — все зря. И нет кругом никакой довлеющей силы. Не успел узнать Жеводанов, что, как только размякнет белая душонка, насекомые начнут отрывать от нее первые, несмелые кусочки мяса. Поспешат накормить деток офицерской плотью. Сильными они вырастут, большими. Наберутся сил да поползут совхозы бороться. Через неделю благодарный лес обязательно закачается, присосавшись к дармовому телу корнями. Сорока заберет железные зубы Жеводанова себе на ожерелье. Проскользнет в подмышку быстрая сколопендра. Лисица обнюхает труп и начнет довольно рвать его зубами. Весь лес стечется к обиженному Жеводанову, чтобы всласть попировать расчудесным человечком. А на следующий год трава на том месте обещает вырасти густая и сильная. Все ежики будут знать, что Виктор Игоревич Жеводанов был самым лучшим человеком на свете.

Новый Купин развязал Елисея Силыча и поставил его перед глазом Тырышки.

— Ну, кто таков, выживший?

— Человек древлего благочестия. Можете тело мое грызть: то душе только в радость.

Елисей Силыч не переставал молиться с тех пор, как его захватили красные. Отвлекался только на просящую о расстреле реплику. За миг до того, как Жеводанова размазало по ясеновой коре, старовер приготовился, закрыл глаза, чтобы рай увидеть, но вместо небесной просфоры в рот плеснуло чужим мясцом. Причастился другом Елисей Силыч — вот и все. Вместо привратника Петра тыкалась в лицо широкая ноздря Тырышки. Атаман обнюхивал окровавленную сорочку и задавал плохие вопросы.

— Ну, Тимофей Павлович, один спор ты давеча проиграл, хочешь снова? Поймешь правильно душонку — отдам тебе кобылу... Ну-ка, обнюхай его! Кем по жизни будет?

Кикин без лишних слов обнюхал Елисея Силыча. Он неаккуратно ковылял вокруг старовера, припадая на оторванную голень. Ступню обнаружил другой бандит. Воровато оглянувшись, он спрятал фрагмент Кикина в вещмешок — кто знает, может, коммунисты соврали и продрозверстку не отменили? Так хотя бы холодца можно навернуть. Тимофей Павлович нюхал внимательно, с каждым шагом бледнел лицом: оно уходило в ногу, а оттуда сочилось на траву.

— Ну, Тимофей Павлович, не томи. Что учуял? Ты же с ним в одном отряде был.

Кикин, коснувшись языком чужой немойтой шеи, загнул:

— Большой человек. Много из него добра можно сделать. Дайте его мне на перевоспитание. Он вместе со мной ползать будет.

Тырышка задрал голову и всосал чужие запахи. От леса тянуло влагой. Громко пах камень, перевитый паутиной. Небо скисало пасмурным облаком. Война пахла жжеными волосами. Хвоя пахла комарами. Трупы перепревали приятно и чуть сладенько. Тырышка зажмурился. Запахи пьянили его. Но одного аромата все-таки не хватало. Только его по-настоящему искал Тырышка. Такой аромат бывает, когда выжимаешь в ведро человека.

Атаман обратился к староверу:

— Ну, человек, расскажи-ка о себе без придури, дай народу почувствовать.

— Я человек истинной веры, — забубнил тот. — Пострадал из-за революции, по миру иду от мира. Имел в старой жизни большие богатства, однако Вседержатель вернул их себе. Дорогого тятю большевистский змий удушил. Дом родной со всем добром спалили. Меня Господь уберег, даже волосок с головы не упал. С тех пор иду голым, Господа нашего славлю. По силам, уповая на Еноха, с Антихристом брань веду.

— Чую, лукавишь! Ой лукавишь... Что с собой несешь?

— В одной рубашке иду! Только крест тяжелый на мне! Во имя Бога тяготу принял.

— Чего-чего несешь?

— Крест Божий несу. И тяготу.

— А не много ли ты, Елисей Силушка, на себя взвалил?

— Господь каждому по силам отмерил...

— Ну да, ну да. Эй, гадалушка, поди сюда.

Подошла высокая белая женщина. До этого она все искала в трупах знакомое лицо. Не без борьбы гадалка заполучила руку. В окостеневшие пальцы легла теплая баранка.

— Из богатой гильдии духовный отец. В Рассказове принадлежали ему чулочные фабрики, обувал и одевал Тамбовскую губернию. Не врет, потерял заводики, да вот из души их не вынул. Слезы льет, сокрушается, что перепали станки с бобинами большевикам. Хоть сорочку и напялил, помнит, что сорочка на его личной фабрике пошита. Гордыней обуреваем. Думает, что ему за страдания больше всех воздастся. А потом умножится на два пальца. Со всех сторон этот человек себе духовной выгоды наобещал, вот и не боится нас. Не страшно ему умереть, потому что попадет сразу в небесную бухгалтерию, где, загибая пальцы, ангелам все свои добрые дела перечислит. По гроссбуху он самый честный праведник выходит, если же ковырнуть — позолота и отвалится.

Заинтригованный Тырышка колупнул старовера ногтем. Крепкий черный ноготь, похожий на маленький ятаганчик, оставил на руке кро-

воточащий след. Он пососал кривой ноготь, смакуя соскобленный пот и сало.

— Так-так... Я хоть и кулак по крови, но не такой жадина. Позвольте продемонстрировать!

Это Кикин остался в одних портках. Его одежда упала на траву. Он раздвинул руки в стороны и стал похож на покосивший крест: одна нога ведь была короче другой. Мужичка тут же облепила стая гнуса. Через минуту Кикин покрылся пищащим подвижным ворсом.

— Бодрит комарик! Кушайте, деточки, меня! Я вам папочкой буду! Пейте меня без остатка! Вот наша народная вера — комаров даром кормить! Ах, бодрит комарик!

Самопожертвование Кикина никого особо не удивило. Он так и остался стоять кривеньким комариным папой.

— Что — кончите? — спросил Гервасий. — Грешен, признаю. В каждом слове грешен. Дайте принять мученический венец. Посмотрю в лицо смерти. Один только Он меня и рассудит.

— Ну да, ну да...

Тырышка приблизил хищное лицо к Елисею Силычу. Тот не поморщился и не отвел взгляда. Черно пахла повязка, закрывающая выбитый глаз. Тырышка взял суконную заплатку двумя пальцами и отодвинул в сторону. Оттуда вперился в Елисея Силыча слепой зрачок. Бельмо зашевелилось, распалось на несколько мелких зрачков, ползающих по глазнице. На старовера смотрели белесые черви, копошащиеся в глазном мясе. Черви, учуяв тепло, потянулись к Елисею Силычу слепыми мордочками. Опарыши осторожно трогали воздух чуть желтоватыми кончиками — точно червивый зрачок Тырышки желал приласкать человека. Тот отпрянул, но атаман намертво схватил старообрядца.

— Темный мы народ, а в вере понимаем. Может, потому и сведущи, что темный? Как, думаешь, мне жить удастся, если черви глаз выели? Что об этом твоя книга говорит?

— Сатана! Сгинь, сгинь!

— Ну какой я сатана? А жив я потому, что вера наша лесная крепче твоей будет. Тебе Кикин показал. Вот ты Бога часто вспоминаешь?

— Господи Иисусе Христе, помилуй мя! — шептал Елисей Силыч.

— Ну то-то и оно. Шага ступить не можешь без нравоучений. На все у тебя притча припасена, везде Псалтырь прикладываешь. Не по-человечески говоришь, оттого Он тебя и не слышит. Ты про Бога кричишь как мальчишка на углу про пирожки. Хочешь, я тебя правильной молитве научу? Вот слушай. Кхм... Солнышко зашло, слава тебе Господи! А вот и дождик пошел. Ой как хорошо, Господи! Зимушка холодная навалилась — премного благодарны, Отче! Листики опали, ах, ангелочкам слава!.. Ты когда снежинке последний раз радовался? Поди, только с шубы бобровой ее рукавицей стряхивал? А вместе со снежинкой Бог на пол слетел. Но это, брат, лишь разминка. Молчать Богом нужно. Можешь так?

— Не могу, — честно признался Елисей Силыч.

— Ну, не можешь?! Ах ты, поганец! Негодяй! Я тебя за пятку еще тогда хотел укусить, когда ты моих братиков-комариков по спине размазывал. Кровушки драгоценной пожалел! Представь, что ты к Богу на плечико сел, чтобы силушкой его напитаться, а он тебя хрясь ладошкой! Каково это?! Тебя же на колбасу можно колоть! Иди-ка сюда!

Тырышка, схватив старовера за бороду, подтащил его к ясеню. Дерево было высоким, кряжистым. Оно росло в одиночку, как будто поляна была его личным владением. Прижмись два мужика к стволу — не обхватят.

— Ну-ка, братцы, навались!

Ватага взялась за вспученный корень и, поднатужившись, приподняла его. Ясень заскрипел, наклонился. Под корнем открылся проход в крохотную келью, откуда тепло пахло смолой и святостью.

— Ну, — Тырышка надвинул на глаз повязку, — смотри.

Обомлевший Елисей Силыч заглянул в пещерку. Там молился тоненький седенький старичок, как будто выпавший под ясень из гимназического гербария. Запали лампадка бороду — не человеком окажется, а сухой лучиной. Старец, не отвлекаясь на суету, бил земные поклоны. Икон не было. Лик Спасителя отшельник вырезал прямо на корне. Деревянный Христос взирал сурово, ростки его бороды не уходили глубоко в землю, зато шли вширь, как и положено корням ясеня.

— Енто кто? — благоговейно спросил Елисей Силыч.

— Это братец Протасий. Человек вашей веры. Только настоящий. Без фабрик и пароходов. Молится под корнем вот уже полста лет. Каждый день по тысяче поклонов бьет. И никому об этом не говорит. Не нужна ему мирская слава и святые ризы. Присосется к надрезанному корню, со слезами попьет древесных соков и снова молится. И так изо дня в день. Из года в год. Никакой катавасии не настанет, пока есть в мире хотя бы один такой богомолец.

— Так как же... О чем же он Бога просит?

— Ну, за нас молится. За плохих и хороших, правых и неправых, за мои убийства и за слезинку ребенка, который мамину вазу разбил. А еще Протасий у ясеня прощения молит. Очень печалит его, что он соками дерева постится. Успокаивает ясень, что когда ляжет среди корней, то все вернет до последней капли. Долго будет им дерево питаться.

Гервасий не мог поверить своим глазам:

— Господи, сила твоя безгранична...

— Ну а ты думал, деревце здесь просто так растет одно-одинешенько? Нет, тут человек мир спасает. А ты хотел гордыню потешить. Попробуй пожить так, как этот человек. Без разговоров, без страдания и без подвига... Через подвиг каждый дурак на небо попасть может.

— А я? Что со мной будет? — потерянно спросил Елисей Силыч.

Разбойники опустили корень, и тот закрыл вход в потаенный скит. Старец даже не поворотил головы на непрошенных гостей.

— Ну а ты иди куда шел, паря. Неси свой крест, гордись. Можешь в ломбард его заложить, только скажи в какой, мы туда потом наведем-

ся... ха-ха! Или нет уже ломбардов? Ух, окаянные большевики! Вон там, полминутки ходьбы — и опушка будет.

— Опушка?

— Опушка, опушка. Как у бабы на передке. Ну ты иди, иди, Елисей Сильч. Нам еще товарища Мезенцева ловить.

И Гервасий пошел. Через десяток-другой шагов лес истончился, обрусел и вывел к берегам буйной реки Вороны. Впереди, за Змеиными лугами, виднелась Паревка.

XXXI.

Небо, похожее на Ветхий Завет, хмурилось.

Тучи обходили стороной изъеденную луну. Оспой ее заразили мужики — проходя мимо, колупнули светило ноготком. Лес шептался, кланяясь перед далекой грозой. Скашивая поля на востоке, она долетала до леса душным ветерком.

Олег Романович Мезенцев несколько часов бродил по лесу. В горячке боя он отступил за деревья — не струсил, а решил собрать остатки разрозненных бойцов и контратаковать, но никого так и не повстречал. Преследователей тоже не было. Мезенцев сжимал в побелевшей руке револьвер и беспокойно оглядывался. Над бровью горел шрам. Тело болезненно пульсировало. По крови ползла белая паутинка, тянущаяся от мозга к сердцу, а оттуда к желудку и печени. Бледные гифы забрались даже под колено — каждый шаг давался с усилием. Терлись бывалые комиссарские кости о душевные раны. Вот-вот перепилит невроз-напильник большевистскую дисциплину. Мезенцев пошарил по карманам гимнастерки, однако пузырек с пилюлями исчез: еще вчера вечером Мезенцев употребил последнюю дозу.

Внутри большого черепа завывали голоса. Эхо требовало от Мезенцева то найти разбитый отряд, то воткнуть в шею женщину-иглу. Настойчивее всего голоса шептали о прелести росистой травы, о которую так хорошо тереться усталым загривком. Нужно забыть глаза и поплыть по бурной красной реке, пока не вынесет поток на тихую песчаную отмель. А как только Олег разомкнет веки, отмель окажется коленями любимой женщины.

Как же ее звали?

Ты поскорее ляг, отдохни — сразу вспомнишь. Ведь любимых женщин всегда вспоминают перед сном или поутру.

Мезенцев разжал пальцы. Наган воткнулся дулом в землю. Голоса победно взвизгнули. Мезенцев испугался: совсем не это обещали миражи. Лес стал гуще и злее. На потянувшихся к комиссару ветвях повис разодранный рассудок. Сзади налетел едва различимый гул, липко взъерошивший золотые волосы. Мезенцев обернулся, и в лицо дунуло теплым смрадом. По земле что-то покатилося и несильно ударило по сапогу. Комиссар медленно, представляя возможный ужас, посмотрел вниз. Увидел обыкновенную сосновую шишку.

Она стала последней каплей.

Сломался железный человек. Сломался там, куда день за днем была мутная капля. Заржавела душа, а теперь, когда шагнул вперед лес, нутро не сжалось по привычке, а согнулось под прямым углом и переломилось. Он завыл, высунул язык и ринулся на четвереньках сквозь наступающую тьму. Взревела темнота, обрадовалась, что с ней решили в салочки поиграть.

Мезенцев несся долго. За ним журчала, набирая ход, красная волна, которая не подхватит его как щепку — это еще можно было бы пережить, — а пригвоздит корягой ко дну и засосет костным илом, стерев Олега Романовича Мезенцева с лица земли. Комиссар несколько раз упал, зацепившись о кусты. Порвал кожанку, свисавшую с поджарого тела. Гул за спиной нарастал, гнал по пятам зловонную багровую жижу, которая нет-нет да коснется. Он выл еще истощеннее и еще сильнее рвался через лес, пока не рухнул в глубокую яругу, где его с чмоканьем попытались втянуть в себя чьи-то губы. Обезумевший Мезенцев, оставив в овраге сапоги, помчался дальше, пока не заметил впереди оранжевый огонек.

Из последних сил он устремился к свету. Ему не пришло в голову, что огонек в глухом лесу — вещь не менее жуткая, чем гнавшаяся по пятам еловая желчь. Может, оранжевый блеск — это огромный зрачок, а Мезенцев давно бежит по длинному склизкому языку прямо в распахнутую пасть? А когда запутается в остром кустарнике, то запоздало поймет, что его распоролы не шипы, а кривые зубы? Но разве это важно? Мало ли как может умереть тело? Он знал, что волна смоеет его в сосущую черноту. Он будет плыть, чувствуя, как под ним раскрываются черные дыры и скользят доисторические чудища. Каждый миг вечности будет предназначен для содрогания — вдруг из невидимой глубины протянется щупальце? Нет! Что угодно, кроме этого! Бежать не оглядываясь!

Войдя в теплый круг, Мезенцев и не подумал встать на две ноги, как подобает человеку. Он вынесся на свет с хрустом и звериным матом. Люди у костра посмотрели на Олега Романовича с интересом, хотя и без особого удивления.

— Проходите, тащ комиссар, присаживайтесь. Чай поспел.

Это сказал дурачок Гена.

Горб расправился в крылья, отчего калека вдруг и заговорил. Похошел юродивый, точно притворялся не только головой, но и телом, а как спала блажь — так хоть сразу на выданье. Рядом сидел безглазый чекист Вальтер Рашке. Неподдалеку томился Купин с деревянными счетами. Вот навсегда умолк начальник бронепоезда Евгений Витальевич Верикайте, отчего-то носящий женскую фамилию. Хотел Мезенцев подойти к командиру ЧОНа, отрекомендоваться, так ведь толком и не пообщались. Только вот зачем? Не было больше ни полка, ни командира. Сжимал Верикайте свое паровозное тело, и просвечивала сквозь руки голубая кровь. Зато тепло улыбался комиссару Гена — в память о том, кто его не убил. И кругом шумела та же поляна с ясенем, где был бой с бандитами.

А вот... Ганна. Его милая Ганна по фамилии Губченко! Такая же, как и всегда: один глаз зеленый, другой коричневый. И то, что так долго копилось в Мезенцеве, сразу стало вопросом:

— Ты чего... здесь?

— А где же мне еще быть, дурашка?

Мезенцев сделал пару шагов к свету. Страшно было оставаться один на один с гулом. Он налетал из глубины леса теплым, чуть гниловатым душком, запахом тлена и поражения. Гул разбился о границу света, которую поддерживал костер. За спиной сыро хлопала жижа. Не найдя щелки, она принялась растекаться вокруг костра.

— Олег, — улыбнулась Ганна, — ты голову себе пощупай.

Мезенцев машинально потрогал голову. Она была такой же, как и вчера: вытянутой и твердой. Он никак не мог понять, что изменилось. Причем не мог понять с такой ясностью, которую не омрачала ни одна лишняя мысль, что быстро обо всем догадался.

— Голова у меня больше не болит.

— Правильно. А почему?

— Стало быть... умер?

— Дурак ты, а не умер, — ответил комиссару Гена. — Чего бы тебе мертвым быть?

Со всех сторон вразнобой заворчали:

— Стоишь вот, пахнешь. Носом остатки нашего духа втягиваешь. Душу реквизируешь.

А Ганна добавила:

— Это мы, Олег, мертвые. Ты сам присмотришься.

Мезенцев взгляделся в греющихся у костра. Вот дурачок, которому Рошке самолично вправил мозги. Теперь говорит человеческим голосом. И Рошке тоже, что ли, погиб? Сидит, потерявшись взглядом в земле, нет на умном немецком лице круглых очков. Признал комиссар и остальных — целую россыпь крестьянских лиц, которые пулемет уткнул в пыль у сельской церквушки. А вот те, кто газом задохнулся или заколот был. Все на месте, никого не обидели. Разве что ходит по дуге беспокойный малый — пухлый, круглый, хоть сейчас в кегли играй.

Человек заметил Мезенцева и с надеждой крикнул ему:

— Олег Романович! Товарищ! Не узнаете меня?

— Не имел возможности...

— Это же я, Клубничкин! Командир батареи! Я знаю, кто меня убил!

Мезенцев по привычке потер голову. Она не болела, и это озадачивало его больше, нежели некий Клубничкин, заявивший о старой армейской дружбе. Комиссар, как и все присутствующие, решительно не знал никакого Клубничкина.

Смешной человек продолжал орать:

— Товарищи, вы что? Хватит шутить! Это же я, Илья Иванович Клубничкин! Вы что, обо мне уже забыли? Стоило умереть — и забыли? Почему же вы меня не узнаете? Хоть кто-нибудь! Купин, встать по

уставу перед комбатом! Живо! Купин... ну узнай товарища Клубничкина, пожалуйста! Вальтер... дорогой Вальтер, между нами возникало недопонимание, но вы всегда были самым внимательным... Вы меня знаете? Нет? Товарищи! Я знаю, кто меня убил! Дайте рассказать!

Однако, кто и за что убил Клубничкина, никого не интересовало. Никто у костра всерьез не верил, что человек с фамилией Клубничкин может взять и погибнуть. То ли дело Балашов или Селиванов. А тут — клубника на ножках, да еще в жуткий двадцать первый год. Никем не признанный, повалился Илья Клубничкин на траву. Не довелось артиллеристу рассказать, зачем его все-таки убили.

Да и неважно это.

Жижа не отступила в лес, а нежно обтекала поляну, ища возможности просочиться к людям. Ясень скрипел и раскачивался. У костра перегаривались. Все было коротко и по-простому. Ганна подошла к Мезенцеву, нежно взяла его за руку и посадила рядом с собой.

— Ты не бойся, Олег. Я ведь не люблю тебя.

— Не любишь?

— Не люблю.

— Ты тоже... мертвая?

Ганна кивнула. Тогда комиссар от безысходности позвал боевого товарища:

— Рошке... Вальтер! Вы слышите? Это я, Мезенцев.

Вальтер уставился в одну точку. Без блестящих стекол чекист казался мальчиком, напялившим отцовскую куртку. Подвальщика хотелось пожалеть, укутать в шубу и придвинуть поближе к огню.

— Рошке, вы меня не узнаете?

— Узнаю.

— Вы меня слышите, Рошке?

— Слышу.

— Видите?

— Не вижу.

Обезображенное без очков лицо Рошке оказалось лопухим, совсем не немецким и не страшным. Выйди в таком виде кто расстреливать, приговоренные бы заулюлюкали, отобрали бы пистолет и поставили мальчишку в двубортной кожанке самого к стенке.

— Я их днем и ночью стрелял... Хлопотал, чтобы меня в большой подвал перевели, где работы много. Одного за другим. Тик-так, но не как часики — они всегда круг делают, это скучно, — а точно вверх по лестнице — тик-так. А они, ишь ты, не умерли. Я стрелял... стрелял, себя не жалел, а они не умерли. Так не бывает. Это против Пифагора.

— Вы не обращайтесь на него внимания, — любезно подсказал дурочок. — Он как с нами встретился, так умом повредился. Не смог душой вместить, что воскресение мертвых и жизнь будущего века бывают... Товарищ убийца, а я вот вас все спросить хотел, да не мог. Можно? Вам не страшно после всей грязи? После смертей, жути, расстрелов, голода...

Не страшно, когда кошки кишки человеческие жрут, а человеки — кошек? Я вот на это поглядел и голос потерял, а вы? Да еще так хорохоритесь: мир перестроим, долой провизоров! Самим не жутко?

Чекист щупал землю в поисках очков.

— Рошке, вас спрашивают! — Мезенцеву было интересно послушать ответ.

— Смерть? Жуть? — пробормотал немец. — А что вас так напугало? Ведь человек так устроен: когда не со мной — тогда и не страшно.

Мужики согласно закивали. Ганна убрала с его лба прядку. От ногтя остался нежный розовый след. У Мезенцева заныло под ложечкой. Он достал ее из грязной обмотки: сапоги ведь потерял, а вот ложка прилипла. Комиссар повертел ее в руках и брезгливо выбросил во тьму. Муть с удовольствием проглотила столовый прибор.

Мезенцев поежился и недовольно пробурчал:

— Почему дурачок человеческим голосом разговаривает?

— А потому что он не дурачок, — ответил дурачок.

— Наоборот, — вздохнула Ганна, — слишком много узнал, вот и спятил.

— Как же ты умерла? — Комиссар перевел взгляд на женщину. — Не...

— Нет, не ты. Они. — Ганна указала на сидевших у костра мужиков.

— Они?

— Когда я бежала из Самары в Тамбовскую губернию, то на одной из дорог меня окружили зеленые. Бандиты, как вы их называете. Я сначала обрадовалась, что не большевики, но... и они обрадовались. Насильничали гуртом — во главе с атаманом, что вас разбил. Оттого и померла.

— Отчего?

— От потери крови. Все жидкости дитю отдала.

По рукам, от одного отца к другому, Мезенцеву передали сверток. Там лежало мертвое, синее, бескровное дитя.

— А ребенок что, мой? — спросил он с надеждой.

Дурачок прыснул в кулачок. Гена смеялся долго и совсем не зло. Наконец он отер слезы и прошептал сквозь смех:

— Ну ты и дурень, комиссар! Да кто ж разберет, чей ребенок? Тебе ж сказали: любили гуртом! — Затем Гена взял дитя на руки и проворковал: — Младенцы так мило гулят. Откуда же потом негодня берутся?

— До сих пор любишь меня? — спросила Ганна.

Она изменилась. Она походила на две иголки, сложенные ушками — вверх тоненько и вниз тоненько. На белом лице мерцали разноцветные глаза. Мезенцев вдруг понял, что эта женщина давно не интересуется его. Что он полностью к ней перегорел. Он любил ее, потому что ему не хватало любви на войне и в революции, не хватало во всем, чем он занимался. Он думал, что если снова заполучит Ганну, то заполучит и радость. Однако дело было не в Ганне. И уж точно не в нем самом. Просто Мезенцева жизнь не радовала. Ему хотелось великих сверше-

ний, хотелось сбросить каждого Колчака в Байкал да затопить Китай. А каждого Врангеля — в Черное море, чтобы погнать рабочую волну на Балканы и Константинополь. Комиссару часто снился сон, как он стоит на обрыве, нависающем над зловонным, закопченным городом. С круч вниз устремляется волна, но разбивается о высокие черные стены. Тогда Мезенцев поворачивается к людям, тоже застывшим у края, и стреляет. Люди падают, из них льется кровь, красной воды становится больше. Волна набирает ход, вновь пытается преодолеть стены, ей не хватает всего чуть-чуть. А люди уже закончились. Тогда Мезенцев не раздумывая подносит пистолет к виску. Через минуту жижа перехлестывает через каменные зубцы, обрушиваясь на дворцы и тюрьмы. Без этой веры Олег Романович никогда бы не осмелился на паревский расстрел.

— Так любишь?

А? Что? Разве об этом спрашивают? Он думал, что с Ганной жизнь заиграет красками. И вот была Ганна. Зато не было любви. Так после года ожидания на елке зажигают гирлянду. А гирлянда почему-то не радуется.

— Нет, не люблю. И ты меня не любила, — вздохнул Мезенцев. — Ты была мной очарована. Вы, эсеры, вообще быстро очаровываетесь.

— Я любила, — с жаром возразила Ганна. — Настолько любила, что снова пошла на террор. Меня не хотели принимать обратно, но я вымолила свою бомбу. После того как ты оставил меня, я думала, что я трусиха. Совсем как мой отец. Мне даже представился случай проверить. Я шла зимой по Тамбову. Нужно было доставить бомбу на конспиративную квартиру. Не повезло: на окраине попался городской. Клацнул, пошел на меня, а я портфель над головой подняла и застыла. Он сразу в сугроб, а я стою как дура. О чем тогда думала? Я думала о тебе. Хотела размогнуть портфель с бомбой, чтобы разом покончить и со мной, и с этим городским: он смешно болтал ножками из сугроба. Однако я так не сделала. Подумала, пусть моя любовь хоть кого-то спасет.

— Просто вы, эсеры, — Мезенцев снова выделил оскорбление, — трусливы. У нас террор массовый, за око рабочего мы вырываем тысячу чужих очей. Там, где мы идем до конца, вы — наполовинку. Эсеры — это большевики наполовину. Вас любят те, кто хочет побаловаться социализмом, но боится быть большевиком...

Дурачок метнулся и приложил палец к губам Мезенцева. Тот опешил, что в его собственность вторглись так грубо и неожиданно. Потом вздрогнул еще раз: не знал комиссар, что владеет имуществом.

— Оставь ты эти глупости, — не убирал палец Гена, — кого они волнуют? Эсеры, большевики, кадеты... Ими только в шашки играть. Понаделал из грязи и двигай. Я так соревновался, пока никто не видел. А потом ручишки в реке сполосну, да как будто и не было ваших великих партий. Вы бы лучше о любви поговорили, о любви! На что вам вечность дана? Почему вы не говорите о любви?

— Потому что я не люблю его, — пожала плечами женщина.

Комиссар облизнул пересохшие губы. Палец дурака пах солью. Мезенцев осторожно отстранил перст языком.

— Да что ж вы за люди? — снова разошелся Гена. — Вам дадено было самое главное, а вы всё бубнили, спорили, кричали! И не заметили, как к вам гул подобрался! В ваших сердцах гул гудит! Вон, смотрите!

Жижа накапливалась по краям поляны. От огня кровавый бульон обжигался и твердел, складываясь в коричневый бруствер, на который во время войны так любят падать солдаты. Волна, остановленная костром, пока что не осмеливалась затопить поляну.

— Веток нет, — прогудел кто-то, — всё сожгли.

— Плохо, ой плохонько!

— Да, недолго осталось.

— Что будет, когда костер погаснет? — обеспокоенно спросил Мезенцев.

— Оно, — Гена указал на темно-красную жижу, — зальет здесь все до самой луны.

— И как же? И что же?

— А уже ничего. И никак.

— Мы все умрем?

— Почему же — только ты умрешь.

— А вы?

— А мы в могилу.

Ему показали на яму с широким ртом. Из большого провала тянуло почвенной гнилью. Мезенцев осторожно подошел к яме. Вниз вели осыпающиеся ступеньки. На дне притаились смутные движения людские, шорохи, последние вздохи. Несколько раз в темноте взмахнули руками, будто пытаясь дотянуться до него.

— Не ходите вниз, тащ комиссар. Там вам душу разорвут.

— Что это?

Гена снова захохотал. Хохотал по-детски, фыркая слюной и трогая соседей за причинные места. Даже Рошке по-дружески облапал. Юродивому улыбались, понимая, что его ответ будет хорошим, емким, таким, что хоть на будущих памятниках отливай.

— Это Могилевская губерния.

Из ямы донесся скрежет зубовой: несчастные, продев пальцы в ребра, глодали друг друга. В рудяной глубине вертелись шестерни, перемалывающие и тела и души. Разрозненная плоть ныла, требовала добавить в мертвое тесто щепотку человеческих дрожжей. Увидела живого человека, потянулась руки погреть.

Дурачок решил подшутить над комиссаром и громко икнул:

— Аг!

Мезенцев отшатнулся. В темени зашевелился гул.

— Аг! Сложите-ка новое слово, комиссар! Сумеете? Из-за него я с ума и сошел! Аг! Аг! Аг! Вы уже складывали, я знаю! Кто один раз сложил, того больше не изменить!

Гул заревел и обглодал верхушку ясеня. Зеленую купу скрыл траур. Костер угасал. Мезенцев поискал глазами, что можно сжечь, но за дровами нужно было идти во тьму, где изнывал гул.

Увидев его метания, Гена попробовал успокоить:

— Если бы, тащ комиссар, Рошке меня не застрелил, я бы всех спас.

Взял бы и увез.

— От чего увез?

— Да вот же, смотрите. — Дурачок указал под ноги.

Размотавшиеся обмотки намочила прибывающая жижа. Мезенцев сорвал с себя окровавленные ленты и бросил в костер. Босые ноги захлопали по мокроте. На удивление, жижа оказалась теплой, как будто только что вытекла из раны. Кровь, по мере того как слабел костер, затапливала поляну. Никто не выказал особого беспокойства, отчего Мезенцев громко спросил:

— Вы что, не видите?!

На него хором посмотрели, и Ганна передразнила:

— Ты что, не слышал? Геночка же тебе сказал: только на аэроплане и можно было улететь. Теперь уже все, поздно.

— Мне ведь, тащ комиссар, от вашего лагеря только баночку смазки нужно было и кусок ветоши. Протер бы агрегат — да полетели бы в поднебесные выси. Не успел я достроить летучий корабль. Последнего гвоздика не хватило.

— Правильно говорить — аэроплан, — машинально поправил комиссар.

— А вот и неправильно. Неправильно! Аэроплан не взлетит, а вот летучий корабль...

— Это же мотор нужен, бензин...

— Вы и в Бога не верите, потому вы и комиссар. — Гена махнул рукой. — Пошли, братцы, пока все не затопило.

— Стойте, куда вы?

— Вниз. Навсегда.

— Но ведь вы должны мне сказать...

— Что сказать?

— Наказ. Мораль всей истории. Требую подвести черту!

Ганна, укачивая ребенка, неодобрительно смотрела на Мезенцева. Как был мальчишкой, так им и умрет. Все ему хочется знать: откуда дети берутся, любит она его или нет. Вот новые политические вопросы задает. Тогда как давно пора успокоиться и помолчать.

— Кто-нибудь объяснит? Что это за люди, которые не умирают от пуль? Что они делают в лесу? Почему вы, которые мертвые, разговариваете со мной? Что это за водичка хлопает? Это что, Ворона разлилась? Так не бывает! Просто не бывает!

Гена запрыгнул на спину Рошке, который искал в жиже очки. Покачнулся, когда охнул чекист, привстал на цыпочки и только тогда еле-еле дотянулся ртом до лба Мезенцева. Чмокнул сосательными губами в надбровный шрам и сказал:

— А нет никакой причины, товарищ комиссар. Какая может быть мораль у истории с хлебом? Нет ее, да и дело с концом.

— Что... совсем ничего?

— Ничего. Во-о-обще.

Лагерь загомонил и стал собираться в путь. Ганна подобрала юбки. Поднялся, так ничего и не найдя, Рошке. Хлябь из леса подвинулась еще ближе. Костер едва мерцал.

Мезенцев испуганно закричал:

— Товарищи люди! Товарищи люди, подождите! Но ведь должен же быть хоть какой-то смысл?!

Товарищи ждать не хотели. Люди тоже. Народ поднимался с травы. К кому-то травинка прилипла, к кому-то след бывлой жизни. По крови захлопали ноги. Люди спокойно сходили в яму. У ее края стоял молчаливый красноармеец Купин, перегоня костяшки на деревянных счетах. Ни один мертвец не должен был попасть в Могилевскую губернию без учета. Никто не смотрел на Мезенцева, не говорил ничего, не корил за напрасную смерть. Ни Верикайте, сочащийся голубой кровью, ни слепой Рошке, ни Клубничкин, ни кто-либо еще — враг или союзник. Только Ганна поглядывала на комиссара боком, вытряхивая его в отдельную плоскость, где выпукло рассматривала душу обоими глазами. Одним коричневым, другим зеленым. Что же она нашла в нем? Человек как человек. Немножко выше других, да и только. Женщина осторожно передала ребенка в яму. Из подземелья за дитем протянулись длинные тощие руки.

— Товарищи, а можно мне с вами? — вдруг попросил комиссар. — Пожалуйста. Пусть душу рвут: мне не жалко. Я среди людей боюсь оставаться.

Ганна сошла вниз вместе с Геней. Никто не оглянулся, не сказал комиссару напутственного слова, которое бы выстудило большевистское сердце или все ему объяснило. Яма за людьми сомкнулась, а вместе с ней смолк костер. Зашевелился гул, пополз к Мезенцеву. Он накачивал злую красную волну, которая окончательно смоеет человека в великую тьму.

Олег полез на ясень. За ним поднималось багровое море. Он захотел забраться на самый верх, поближе к макушке, где можно было протянуть руки и коснуться месяца. Зацепиться за острый край, можно даже мясом нанизаться, подтянуться из последних сил и скрючиться на луне, как на болотной кочке. Там уж кровь не зальет, не достанет: нет в мире столько человеческой крови, чтобы до луны долиться. Не смогли! Не убили еще! Мезенцев, взгромоздившись на луну, даже язык высунул и показал его поднимающейся жиже...

Сначала она покрыла деревья. Ясень еще торчал из болота, потом исчез. А когда топь достигла серпика, то не залила его, а, подхватив, помчала по красному океану. Мезенцева уносил лунный ковчег, мирный плеск волн убаюкивал. Воды успокоились, шептались ласково, и он ощутил напоследок, как лежит головой на материнских коленях. Тонкая рука нежно гладила золотые кудри. Он закрыл глаза и почувствовал себя наконец счастливым.

Надя ДЕЛАЛАНД

СМЫСЛ ОБЛАКОВ

* * *

Смотри, какие погоды стоят нонче —
нежная поволока взвеси прохладной,
тайное солнце тянется сквозь проточный
смысл облаков обратный.

Но улыбнись — нас снимает оттуда сверху
скрытая камера, круглым горячим глазом
долго следит сквозь ласковую прореху
облака, пыли, газа.

Мой горизонт завален, склоняю набок
голову, чтобы выровнять перспективу
жизненную. Понять бы, чего мне надо.
Ой ли — побыть счастливой...

* * *

Намагниченный воздух, снежинки лениво парят,
распушив его спину, целуясь со всеми подряд
и сияя, пока — в темноте постепенно горят
драгоценные окна. Последние дни ноября
будут длиться несметными толпами до опупе...
но ни я, ни другой никогда не заметим в толпе
бесконечный повтор. Я почти научилась терпеть
эпигонов того ноября, этот нудный припев,
из которого следует только растерянный рост
энтропии воздушной, когда ты выходишь на мост,
наклоняешься вниз и летишь в окружении ос,
состоишь из стрекоз.

* * *

Мам, я умру от старости и смерти.
Мой полный нолик побеждает крестик
кладбищенской сирени, дух медовый
гудит над полем низко и продольно
(побудь подольше!). Рот реки смеется,
захлебываясь, пропуская солнце
сквозь линзы поднебесного гипноза.
Боль затекла, но не меняет позы,
дрожат ресницы — ласточкины всплески
крыла и крика. Навести на резкость
оптическую руку и потрогать
лицо у неба, ногу у дороги,
живаго Бога.

* * *

Из окна зеленое дерево в сонме желтых —
призрак лета, скучающий мальчик аэропорта,
у взлетающей галки голос совсем прожженный,
вид потерянный.

По футбольной площадке носится пудель в куртке —
за ушами ветер, в зубах верещащий мячик
(вырывается, хочет бегать, ему не скучно,
он не мальчик).

За домами (они не кончаются), за лесами,
за морями и океанами, за горами
вот такой же мальчик-дерево воскресает,
когда наш умирает.

* * *

Какая-то я осенняя,
дожди у меня из глаз,
особенно этот северный
дождлив почему-то глаз.

Течет из скотины бесперечь.
Скотина, побереги
природу. Подумай, бестолочь,
о Родине, о других.



Всемирное потепление
и таянье ледников.
А может быть, я весенняя?
И лето недалеко?

* * *

Мой папа был стекольщик, и теперь
я всем видна насквозь, совсем прозрачна.
Тем, кто за мной, легко меня терпеть,
когда не пачкать.
Непрочную, на раз меня разбить —
вот я была, а вот меня не стало.
(Она была? Да нет, не может быть,
осколков мало.)
Но я еще, пусть незаметно, есть.
Ненужная, под солнечным прицелом
еще свечусь. Особенно вот здесь —
по центру.



Геннадий БАШКУЕВ

СЛОЖНАЯ ПАРА

Р а с с к а з

Он сидел — веселый такой, шляпа набекрень — на перекрестке улиц Ленина и Каландаришвили в зной и в холод, а щетки так и мелькали перед глазами потрясенной публики. Иногда одну щетку подбрасывали, другой отбивая ритм о гулкую деревянную подставку, и не глядя ловили в воздухе рукой заправского жонглера. При этом чистильщик умудрялся делать свое дело в лад песенке:

Раз — ботинок, два — каблук,
Стук — копейка, рубль — стук.
Раз — ботинок, два — каблук,
Выходи плясать на круг!

И тогда, пацаном, и по прошествии многих лет мне никак не удавалось повторить этот трюк со щетками — они с грохотом падали на пол посередине прихожей и песенки. А ведь надо еще чтоб клиент ушел довольным и чтоб пришел снова. Тут одним фокусничаньем не обойтись. Нет, дядя Коля был ас-истребитель! Казалось, вся сила и сноровка отсутствующих ног ушли в его руки.

Я смастерил из обрезков древесно-стружечной плиты, оставшихся после ремонта, подставку для ног — наподобие той, что видел на пересечении Ленина и Каландаришвили, но то ли плита ДСП плохо резонировала, то ли у меня руки-крюки (как изрекала в таких случаях жена) — только щетка не давала требуемого отскока на уровень груди. Я даже опускался на колени, дабы достичь высот дяди Коли. Пустой номер! У кудесника щетки она подлетала будто на пружинках и прилипала к ладони как к магниту. Пока щетка была в воздухе, дядя Коля успевал небрежным движением поправить шляпу, бросить в рот беломорину или вынуть откуда-то бархотку, готовясь к финальной части представления. Неудивительно, что к пятаку у госбанка и аптеки, где орудовал веселый чистильщик, стекалась куча зевак, а уж про нас, пацанов, и говорить нечего.



Естественно, дядя Коля выйти плясать на круг не мог. Тележка на каучуковых колесиках от детского велосипеда заменяла ему ноги. Она же служила скамейкой, багажником, обеденным столом и много чем еще, в зависимости от жизненной ситуации. К примеру, сбоку от набора щеток-кремов в отдельной шкатулке, оклеенной изнутри пестрым ситцем, таился граненый стаканчик, порезанный шматок сала и кусок черного хлеба в газетке, початая чекушка водки, а то и яблоко, помидор.

Зарабатывал дядя Коля неплохо, уверенно обходя по части гешефта конкурентов с хлебного места — колхозного базара (слабо им против фокуса со щетками!). Когда в жаркий день мы бегали по его поручению за крем-содой в гастроном или за куревом, то чистильщик никогда не требовал сдачи. Не скрою, наставник угощал меня, единственного из дворовой стаи, мороженым в вафельном стаканчике, которое продавали там же, на перекрестке.

За спиной дяди Коли, в «багажнике» личного транспортного средства, покоилась пара деревянных учебных гранат, подбитых резиной, — для лучшего сцепления с асфальтом, дощатым тротуаром и вообще с грешной землей. При помощи толчковых гранат инвалид войны передвигался, азартно обгоняя прохожих и крича им из-под ног: «Дорогу, шнурки!» «Шнурками» он презрительно называл клиентов и просто прохожих. Двуногих.

Руки у дяди Коли были сильные, как у лыжника или гиревика. Да нет, куда сильнее! Раз он одной левой, свободной от щетки рукой сбил с ног пижона, который вздумал насмехаться над чистильщиком, — остроносые черно-белые туфли «нариман» только мелькнули в воздухе. Очувтившись с клиентом на одном уровне, дядя Коля крутнулся на тележке и дотянулся до испуганной физиономии франта сапожной щеткой. А когда тот, поднявшись с чумазой рожой, замахнулся недочищенной туфлей, дядя Коля показал ему снизу шило. Вслед ретировавшемуся клиенту по асфальту со звоном покатились мелочь. Серега Горнист в сумерках собрал ее.

Перед школой я успевал забежать в соседний Дом специалистов, где в подвале располагалась артель инвалидов-сапожников. Здесь, за занавеской, жил-поживал дядя Коля. Низкая кровать с подпиленными ножками, никелированные шары над панцирной сеткой, шкафчик, плитка и даже коврик на стене — чин чинарем. На видном месте красовалась фотка, где хозяин был в форме, пилотке и с ногами-сапогами, а также китайский термос с драконом. Последнее свидетельствовало о достатке. Я хватал табурет и ножную подставку для клиентов; дядя Коля, позавтракав яйцом вкрутую и собрав в газетку скорлупу, соскальзывал с табурета и седлал тележку. Клал ящик с инструментом на колени, обшитые кожаными заплатами, нахлобучивал шляпу набекрень, брал учебные гранаты в руки, я помогал хозяину одолеть ступеньки — и в сопровождении почетного эскорта дворовых собак мы направлялись на перекресток.

Когда возвращался после школы, работа у аптеки была в разгаре. Ящик с набором обувных кремов и масел, с жестяными баночками и бутылочками распахнут во всю ширь, перезвон монет во всю даль — кра-

сота! Летали щетки, толпились зеваки, а дно высокой банки из-под абрикосов не в один ряд устилала медь и серебро. Бумажные рубли и трешки дядя Коля прятал за пазуху.

Прейскурант, как сейчас помню, был таков: «Пара обычная — 10 коп. Сапоги — 25 коп. Пара сложная — 30 коп. Пара женская — бесплатно!» Выражение «сложная пара» относилось к черно-белым ботинкам типа «нариман». Мысок и задник у них были из черной кожи, а верх — белым. Но это у настоящих «нариманов». Местные стилиги заказывали у китайцев, что сидели около базара в фанерных будочках, более мудреный фасон: носок и взъем черно-белые в шахматном порядке, лишь задник сплошь черный. Понятно, эти клоунские ботинки прибавляли возни чистильщику. Так что сложная пара законно стоила тройной цены.

Расценки были криво выведены химическим карандашом на картонке, приклепленной с уличной стороны табурета, получается, под задницей клиента. Особенно криво, аж буквы пляшут, написали последние слова, видать, мастера щетки и бархотки, добравшегося до женской пары, обуюло волнение.

Из прејскуранта явственно видно, что дядя Коля был сердцеедом. Одна шляпа чего стоила! Из искусственной кожи, «инпортная», цокал языком чистильщик, с узкими полями и дырочками по бокам. Думаете, для вентиляции мозгов? «Для вытяжки греховных мыслей!» — хохотал дядя Коля.

Пока дамочка, соблазнившись выгодным предложением, подставляла туфлю, рассеянно созерцая шляпу, под которой роились греховные мысли, мастер-сердцеед ел глазами все, что находилось выше обуви, и расточал в адрес ножек грубоватые комплименты. «Главное — занять господствующие высоты», — глядя на проходящих женщин, задумчиво бормотал чистильщик. Странно, по жизни дядя Коля занимал скорее господствующие низины. «Вырастешь, дурачок, поймешь!» — опять хохотал мой наставник.

Как-то увидел, как дядя Коля, помогая водрузить туфлю без каблука на подставку, вдруг воровато погладил аппетитную ногу в капроне. Раздался электрический треск. Я зажмурился. Но ничего, толстая тетка с авоськой хихикнула, будто ее пощекотали. Этот второй по значению номер мастер нет-нет да и откалывал с клиентурой слабого пола. Ноги были разные, некоторые и гладить не стоило, даже я, щенок, это понимал. Женщины возмущались, смеялись или словно не замечали прикосновения, однако почему-то все следом поправляли прически и гляделись в зеркальца.

Однажды, хотя нога клиентки была что надо, да и туфли-лодочки на среднем каблуке — писк моды, сумочка, капрон со швом, перманент, то-се, фрикасё, — дядя Коля не стал гладить ногу. И потребовал плату в тридцать копеек. Пьяный, что ли? Да нет, чекушка была на месте, с нераспечатанным сургучом, к ней дядя Коля прикладывался в обед, не раньше.

— Это почему тридцать копеек? Вон же написано «бесплатно»! — опрокинула табурет женщина.

Ого какая высокая! И пахнет одуряюще — духами «Жизель».

— Написано для многодетных матерей и пенсионерок, гражданка, — бормотал, опустив глаза и собирая скарб, дядя Коля.

Он стал еще ниже. И тише.

— У вас сложная пара, гражданка... Гендос, хватай табурет. Перерыв на влажную уборку.

— Для пенсионерок, да? Сложная пара, да?

Женщина расставила ноги. В гневе она стала еще красивей — как физкультурница. Не хватало лишь весла.

— Сволочь! Легчик-налетчик!

И прекрасная незнакомка в туфлях-лодочках и в капроне со швом, перешагнув через табурет на асфальте, стремительно поцокала по Каландаришвили, унося столь же длинный, как название улицы, шлейф духов «Жизель». А может, «Кармен».

Насчет легчика-налетчика — это она точно в воронку. По праздникам и воскресным дням дядя Коля цеплял на фартук медаль «За отвагу». В коробке из-под цейлонского чая с грохотом, как живые, ворочались и другие награды, даже орден, и все же дядя Коля надевал только эту медаль. Тут не было выпендрежа, а была суровая производственная необходимость. Артельные, провожая дядю Колю на работу с медалью на груди, хмыкали: их-то орденами-медалями не удивить! В такие дни чистильщику подавали особенно хорошо, а иной подпивший мужичок, глядя на медаль, бросал в банку из-под абрикосов желтый, что абрикосовая кожура, рубль, а то и зелененькую трешку.

В праздники так вообще не было отбоя от желающих раздавить с безногим фронтовиком чекушку или портвешок. Однако он пресекал поползновения веским доводом: «Отвалите, я на работе!» Произносилось это скрипучим, как скрежет инвалидной тележки, командирским голосом. Выпить дядя Коля был не дурак, но за пьянство на рабочем месте чистильщика могли запросто турнуть с центральной улицы, его не раз о том предупреждала милиция.

И в один прекрасный день дядю Колю с перекрестка таки убрали. Временно, извинялся знакомый милиционер, ждем генерала из Москвы. Ждали полдня. За это время дядя Коля, расстроенный упущенной вырубкой, успел выдуть свою чекушку, откатившись в проулок, туда, где заросли акации. И там же, в кустах, добавил с кем-то еще.

И надо же такому случиться — хмельной дядя Коля чуть не попал под колеса генеральской «Волги»! Спекшаяся на жару милиция потеряла бдительность. Исправляя промах, ментовский офицерик толкнул сапогом каталку, торопясь убрать ее с глаз долой — обратно в проулок. Шляпа инвалида упала и покатилась.

Машина резко затормозила. Из нее вышел генерал: лампасы в две мои руки, пуговицы в два ряда, погоны, звезды, то-се, фрикасё. Генерал размял ноги с бордовыми лампасами и задал чистильщику вопрос: где служил? Тот выдохнул запашок в сторону, одернул фартук, стал замет-

но выше и выпалил номер стрелкового полка и дивизии. Ну точно как таблицу умножения. Получается, дядя Коля пылил в пехоте. А мы-то с пацанами думали, что наш герой летчиком-истребителем отморозил ноги, как Маресьев.

Но печалиться было некогда. Потому что, когда «Волга» укатила, из следовавшего за нею «газика» выбежал бравый офицер, перепоясанный ремнями, талия как у балерины, и передал испуганному чистильщику сверток и сиреневую четвертную купюру. Новыми деньгами! В свертке оказался пятизвездочный коньяк. Коньяк ошеломленный дядя Коля распить не дал, как его ни уламывали, зато на генеральские деньги артель инвалидов гуляла два дня, отмечая триумф собрата.

А гулять в артели умели. Умели, мама дорогая, скрипеть костылями и протезами в конце недели. Однажды посреди гулянки Паша Танкист спьяну решил, что мальчишки украли у него протез ступни и, мелко перебирая костылями, гонялся за нами по двору. Потом упал и, что-то мыча, полз в пыли, чем напрочь изгваздал выходной пиджак с орденской планкой...

Массовый же выполз (не писать же: выход) увечных сапожников из подземелья происходил по воскресеньям. Так, наверное, змеи и земноводные прут погреться на солнышке. Налицо была недодача нижних конечностей, зато руки, по крайней мере правая из них, наличествовали в рабочем состоянии. И инвалиды работали. Правда, вне стен подвала в пьяном виде превращались в чудищ. Некоторые росли, как большие грибы, прямо из земли. Другие обрубки напоминали пни — такие же корчевали в новом квартале города. Опухшие, темноликие, корявые, сапожники, как полагается, изрыгали маты в адрес пацанов, гонявших футбол (ради такого зрелища команда брала тайм-аут). Нас они не любили (меня терпели из-за дяди Коли). И было за что. Дразнились мы, конечно. Пару раз разбивали окно подвала мячом. А мы виноваты, если окно на уровне ног?

Когда в подвале обмывали удачный заказ, на шум стекались особы когда-то женского пола, окрестные пьянчужки, и с визгом обнимались с инвалидами меж верстаков, полок с поношенной обувью, обрезками кожи и мятыми алюминиевыми банками с клеем. Воняло классно — скипидаром и еще чем-то запретным.

Мама называла таких женщин нехорошими. И песни из подвала доносились нехорошие:

Пряжкой от ремня,
 Апперкотом валящим
 Будут бить меня
 По лицу товарищи.

Мы их потом во дворе разучивали — гнусавили, подражая, с блатным подвывом. Лучше всех получалось у Толика Ссальника.



Скажут: срок ваш весь.
Волю мне подарят.
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.

Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность,
Что у нас за чем.

Что за чем, я и сам с течением лет забыл, но в конце неизменно звучало со слезой в пропитых голосах:

Посредине дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.

Кончались гулянки одинаково. Выяснялось, что кого-то из хозяев обворовали, и тогда воровку, которую еще полчаса назад миловали по очереди, били деревянной колодкой ступни. Тоже по очереди. И опять много визгу. Однако работа над ошибками в артели была поставлена на двойку. Бывало, обкраденный сапожник целовал одутловатое, с нежным золотистым отливом, личико дамы, с которого не сошли следы предыдущей бурной встречи.

Справедливости ради надо сказать, что гулянки, да еще с женщинами, случались редко: дядя Коля не позволял. Он был за бригадира — иногда за занавеской стучал костяшками счетов и посылал меня за чернилами. Артельные всерьез называли его командиром. А в шутку — капитаном. Только дядя Коля имел право ночевать в мастерской. Жить в подвале он стал с недавних пор. А до того, говорили мужики, у него была семья. Ясно море, кому безногий инвалид нужен?

В те дни у меня резко осложнилась личная жизнь. Мама с папой выясняли отношения из-за какой-то свекрови, и я чаще стал бывать у дяди Коли. Иногда мы варили супчик, я бегал к колонке за водой (там вода чище, считал хозяин) и чистил картошку.

А вообще, дядя Коля любил погулять. Только без фокусов. Недаром артельные считали его артистом. Под кроватью у него пылился футляр с баяном. Он извлекался по праздникам. Подарок генерала был приравнен к празднику. Песни у дяди Коли были в целом культурнее.

— Командир, давай про любовь! — просили товарищи.

И дядя Коля «давал»:

Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитан,
Девушку с глазами дикой серны
И с лицом как утренний туман.

Полюбил за пепельные косы,
 Алых губ нетронутый коралл,
 В честь которых пьяные матросы
 Поднимали не один бокал.

Голос у дяди Коли несильный, но чистый и ломкий в этой своей чистоте. И сам он был похож в такую минуту на сурового капитана: жилка на виске набухла, морщины на лбу разглаживались, яростно сверкали железные коронки во рту певца, взор его туманился... Стены подвала раздвигались — в таверне инвалиды вставали на ноги, чокаясь не гранеными стаканами, а бокалами на длинных ножках. Бородатый шкипер напускал таинственного тумана из трубки. Улица Каландаришвили разливалась и утекала к Селенге: на ней нетерпеливо, что птица крыльями, хлопала парусами каравелла. Там били склянки, прощально махали веерами и зонтиками Жизели и Кармены и уже дважды горнист подавал сигналы, похожие на автомобильные, созывая команду в дальний поход к берегам Миссисипи...

С учетом низкой посадки артиста баян при полном развороте доставал до пола. Тогда музыкант одним движением могучих рук взлетал на табурет, баян ему подавали. Баян — громко сказано. Потертая гармошка-трехрядка, не раз облитая вином и, как гулящая девка, сидевшая на коленях у разных хозяев. Она досталась дяде Коле от хмельного клиента. Ногти с черной каемкой от въевшегося сапожного крема ловко щелкали по кнопкам — одна западала, но никто не обращал внимания. Наверное, когда дядя Коля был с ногами (или при ногах?), то носил сложную пару — туфли «нариман». Ну и шляпу, само собой. Он пел и притоптывал в такт черно-белыми «нариманами», покачивая пером на «инпортной» шляпе, и его шибко любили женщины, пахнущие духами «Жизель». Или «Кармен».

Мужчины плакали. Лишь артист прояснившимся взором смотрел сквозь табачный туман вдаль, как и полагается капитану. И становился выше ростом. Скорее всего, то был обман зрения, потому что я тоже плакал.

Эту вещь можно было назвать гимном артели. Никто из разнокалиберного братства при этом не глядел друг на друга. Все трезвели.

Нас извлекут из-под обломков,
 Поднимут на руки каркас,
 И залпы башенных орудий
 В последний путь проводят нас!

Дядя Коля запевал, а товарищи, боясь испортить мотив пропитыми, прокуренными голосами, лишь беззвучно шептали под нос. Куплет про обломки повторялся, и наступало молчание.

Выпив по последней, инвалиды-сапожники, эти обломки людей, еще не отойдя от торжественного момента, начинали прибираться в ма-



стерской. Все-таки они еще помнили, что такое приказ. Кто брал в руки тряпку, кто веник, кто совок. Уборка шла на всех уровнях — сообразно физическим возможностям. Паша Танкист шваброй тянулся к окну и распахивал раму, проветривая подвал от табачного тумана и водочных паров. Над ведром переворачивались жестяные банки для окурков. В раковину в углу с грохотом сгружали грязную посуду, а также бутылки (их потом сдавали и покупали хлеб). Под взглядом сурового капитана корабельная команда понимала, что праздник кончился, пора на вахту...

Однако песня — та, про любовь, — имела продолжение. И мы поверили, что дядя Коля был в прошлой жизни если не Маресьевым, то капитаном дальнего плавания и отморозил ноги, спасая экипаж, когда его шхуну зажало, как «Челюскин», льдами. Поверишь тут, если мрак артельного подвала на твоих глазах разгоняет девушка с глазами дикой серны и лицом как утренний туман, а дурман сапожного клея съезживается от духов «Жизель». Пепельных кос, правда, не было, зато коралла алых губ явно коснулась помада производства ВТО*.

Был конец дня, артельные растеклись по окрестным баракам, дядя Коля вернулся с перекрестка и хлебал вчерашний супчик прямо из кастрюльки, громко шмыгая носом. Я сидел и ждал рваную покрывку от мяча, которую он пообещал зашить.

Когда вошла девушка из песни, спросив ангельским голосом: «Можно? Есть кто?» — дядя Коля сильно смутился и покраснел, даже в подвальной серягине это было заметно.

— Закрыто! — слабо выкрикнул хозяин, пытаясь ящерицей скользнуть за занавеску.

— Коля, ну что ты как маленький, — приглядевшись, сказала вместо приветствия прекрасная незнакомка.

Впрочем, какая незнакомка? Туфли-лодочки, сумочка, капрон со швом, перманент, то-се, фрикасё. В ней я с удивлением узнал клиентку, что уронила табурет на перекрестке улиц Ленина и Каландаришвили и обозвала чистильщика летчиком-налетчиком. Она появилась в нашем городе недавно, явно заплутав, словно птица отстала от стаи по пути в теплые края — туда, туда, туда! — где павлины, пальмы, кокосы, баобабы, где люди и обезьяны кушают бананы прямо с веток, где ананасы растут футбольными покрывками прямо из земли, где мужчины в черно-белых «нариманах» ходят будто танцуют, под стук кастаньет, на ходу поддевая острыми носами засохшие шкурки мандаринов и с лету забивая голы под восторженно-гортанные крики мулаток.

— Ну? Долго будешь бегать от меня? Поездом трое суток... Тут еще концерт...

— Люба, ты... — выдохнул дядя Коля и надел шляпу для вытяжки греховных мыслей.

Меня они не замечали в упор. Но я не мог уйти без покрывки: дюжина товарищей ждала во дворе. Я слинял в темный угол.

* ВТО — Всероссийское театральное общество.

— Устала я, Коля, — присела на табурет Люба.

Поморщившись, сняла туфлю на каблуке, размяла ступню. Нежданно и стремительно, как орангутанг на длинных лапах, шурша кожаными заплатами на обрубках, дядя Коля подлетел к ножкам в капроне, однако не стал их гладить, а принялся целовать как заведенный. Шляпа его свалилась и покатилась.

Люба переломилась в тонкой талии, коснулась губами макушки — так кочевники нюхают голову ребенка, — тоненько завывла и стекла вниз, струясь, что капрон. Оказавшись на одном уровне, они начали ощупывать друг дружку, словно проверяя: на месте ли, не исчез? Странно, они целовались не в губы, как полагается взрослым, а в лоб, глаза, нос, ухо, куда ни попадя... Как дети, ей-богу.

Под эту суматоху я выбежал наружу. И вернулся через час, когда надоело гонять в футбол рваной покрывкой.

— А? Че тебе, Гендос? Покрывка? Ага, щас... — рассеянно бормотал дядя Коля, взяв в руки покрывку. И тут же о ней забыл.

Успокоенные, хозяин с гостьей сидели уже за столом, где пускал зайчики китайский термос с драконом и ополовиненная бутылка коньяка — та, генеральская. Он на табурете, она на крутящемся железном стуле.

— Ну? Едем, Кольшек, — сказала женщина, игриво крутнувшись на стуле, щелкнула сумочкой и вынула зеркальце. — Домой, домой! Какие вопросы, Коля?

— Красивая ты, — с кашлем вытолкнул из груди дядя Коля, глядя, как Люба пудрится, — вот и весь вопрос... Это была разведка боем, фрейлен, и разведка донесла, что мы не пара. И точка. Конец связи.

— Что значит — не пара, Коля? — встала во весь рост, шурша перьями и капроном, залетная птица.

— Сложная пара. Черно-белая...

— За тридцать копеек? Дешево ты меня ценишь!

— Люба, да найдешь ты себе получше, с ногами, шнурками... Давай-ка, Любовь, выпьем на разлуку, — ухватил бутылку хозяин.

— Я буду пить только за встречу. — Гостья накрыла ладонью граненый стаканчик. — Помнишь, Кольшек, там, в парке?..

— Тогда, может, станцуем, мадам? Щас, токо брюки поглажу... — Хлебнув коньяку, дядя Коля слез с табурета. — Токо боюсь, для танго больно разного мы роста. Больно, Люба...

— Ты опять за свое, капитан?

— Ага, я капитан, вот мое судно! — Длинной рукой он вытащил из-под кровати эмалированную емкость с ручкой и с грохотом бросил к ногам Любы. — В рот фокстрот! А ну, покажи ей сортир, Гендос!

Дядя Коля оседлал свою тележку и теперь бешено крутился на ней, колеса от детского велосипеда визжали.

— А ну, пшла!.. Ты для кого вырядилась? Каблучки, чулочки со швом, духи «Кармен»! Хочешь хахаля, так и скажи! Только свистни — шнурки сбегутся! Шлюха!

Чистильщик шмякнул о стену футбольную покрышку, подвернувшуюся под горячую руку. Женщина двинулась к выходу. Цоканья каблучков не было: она шла на цыпочках.

Я подхватил покрышку — черт с ней, с дыркой! — и обогнал даму на лестнице, ведущей из подвала вверх. К свету.

И заплутавшая гостья исчезла из города так же внезапно, как появилась. Испарилась, будто взмыла. Сделала прощальный круг над городком, зажатым выгоревшими сопками, пролетела вдоль реки с безлюдной черной баржей, снизилась над нашим двором, выкликавая часто и звонко: «Коля-коля-коля-коля!» — и устало, с благодарностью расправила крылья, инстинктивно делая поправку на возвращение Земли.

А безногий чистильщик, не видя неба, продолжал трудиться на перекрестке улиц Ленина и Каландаришвили. Однако уже не проделывал фокуса со щетками. Наверное, поэтому клиентов на пяточке у аптеки резко убавилось. И наверное, поэтому дядя Коля стал чаще выпивать на рабочем месте — не только в обед, но и с утра. Шляпу он потерял и вообще стал дурно пахнуть. И милиция вежливо вытурила инвалида с центральной улицы...

Мы гоняли футбол, когда пыль, поднятая нами (проигрывали с позорным счетом), смешалась с пылью от «шкоды» с красным крестом. Кто-то из заказчиков вызвал «скорую» в подвальную сапожную мастерскую...

Гроб для дяди Коли был похож на детский.

Артельные не знали, что делать со скудным имуществом бригадира. Родственников не нашлось. Баян отдал попросайке, который умел на нем играть. Тот страшно обрадовался и грозился поставить свечку за упокой хозяина с первого же подаяния. Награды и фотографию — ту, где дядя Коля с ногами, — отдал в военкомат. А вот пачку писем в обувной коробке в присутствии всей футбольной команды почему-то всучили мне.

Кто-то из мальчишек выхватил письмо и громко зачитал. С первых строк стало ясно, что читать это надо или одному, или уж никому... И я решил письма сжечь. Дворовые разделились на два лагеря: за и против костра, чуть не подрались между собой.

Но когда пепел за сараями развеялся, на земле остался прибитый дождем обуглившийся уголок письма с буквами «овь». Нет, не кровь, не свежесваренная морковь, а, скорее, любовь. И похоже, с большой буквы.

Андрей АНТОНОВ

ВЕСЕЛЬЯ ТИХАЯ СТРАНИЦА

В поле

Без единой мысли в голове
Я лежал на скошенной траве
И считал былинкою стрекоз,
Вдруг по коже пробежал мороз.
И, как будто вытерли стекло,
В мире стало чисто и светло,
И деревья, словно облака,
Унесла воздушная река.

И травы накошенной волна
Поднялась от лугового дна
И упала, как девятый вал,
На пустой небесный сеновал,
Где, вдыхая запахи полей,
Месяц пел, как старый соловей,
И шипел от утренней росы
Млечный Путь, как лезвие косы,
Где Земли скворечник голубой
Стал моей начальной судьбой,
А былинка, что была в руке,
Стала вечной в райском языке.

Без единой мысли в голове
Я лежал на скошенной траве
И не видел золотых стрекоз
От горячих простодушных слез.



Невеста

Памяти Марины Лимоновой

Маина! Маина! Маин!

(крики чаек)

В прозрачной клеенке, в пакете
Невеста лежала в гробу.
По-взрослому плакали дети
И морщили кожу на лбу.

Родители как на премьере
Немого сидели кино,
В открытые Царские двери
Открытое плыло окно
С наивным сюжетом природы:
Ограда в зеленом плюще.
О благословенные годы!
О бедное счастье вотще!

Сквозняк мельтешил по приделу,
Тревожа венец и фату.
Назначено каждому телу
Земле передать красоту.
Прах к праху. Родное к родному.
Одно вещество к веществу.
На поле сжигают солому,
А в парке сгребают листву.
Волчок мирового компоста
Работает как на износ.
Где просто — там ангелов со сто
И нежно цветет купорос.

Автобус трясло на щебенке,
Душевно шептались венки.
Проселки, пустые избенки,
В провалах дверных — мотыльки.
Погост за картофельным полем
Внезапно открылся для глаз:
Просторная смертная доля
Без всяких чудес и прикрас!
Сухое, хорошее место
В живом беспорядке оград.
Поднимется к празднику тесто
И будет ватрушек парад.



Бесстыжие чайки кричали:
«Маина, Маина, Маин!»,
Мужчины культурно скучали
И слали гонца в магазин.
Отец, опершись на лопату
Всей грудью, спокойно курил.
«Как будто, набитое ватой,
Я сердце свое схоронил», —
Так он мне сказал на поминках,
Главу над стаканом склоня.
«Маринка! Маринка! Маринка!» —
Тянула недружно родня.

Жила. Горевала. Мечтала.
По имени Счастье звала.
Невестой Христовою стала,
А впрочем, и раньше была.

Судьба человека

И равнодушная природа...

А. Пушкин

Сумасшедший человек,
Житель будущего рая,
Ты прожил свой скорбный век,
Ничего о нем не зная.

Тихо, мирно, просто так,
Для насмешек и забавы,
Как Иванушка-дурак,
На окраине державы.

Никого не полюбил,
Ни к чему не привязался,
Словно выходец могил,
Отражения пугался.

Даже имя, что тебе
Врач на бирке написала,
Никогда в твоей судьбе
Ничего не означало.

Как цветочек полевой,
Ты затих в больничной сени,
Стриженою головой
Резкие бросаю тени.

И зачем родился ты,
Равнодушный, как природа?
Жизнь твоя — из темноты
Залпы сероводорода.

В чем, скажи мне, милый друг,
Мудрое предназначенье
Безмятежных твоих мук,
Непечального успенья?

Ни могилы, ни креста,
Ни молитвенного вздоха.
Белоснежного листа
Заурядная эпоха.

Родительская суббота

Две иконы да свеча,
Столик панихидный.
Перед ним два усача,
Два седых бородача,
И диакон видный.
Он кадилом золотым
Весело махает,
И над ним кадильный дым
Благодушно тает.

А седые усачи,
В ризах позлащенных,
Полежали б на печи,
Да вот тут — народ учи
В словесах отменных.
А постой-ка день-деньской
У Престола Славы,
А потом еще отпой
«Со святыми упокой»
Гражданам державы.

Но, молитвой ободрясь,
Старики вздохнули
И, друг другу поклонясь,
Дважды два перекрестясь,

Сединой тряхнули —
И раздался стройный глас
Трисвятого пенья,
Так что свой могучий бас
Дьякон спрятал про запас
В день поминовенья.

И казалось, братцы, мне,
То Россия пела
О Божественной стране,
Где сиротствуют *одне*
Душеньки без тела...

Игра

Среди широкого двора
На бельевой прищепке
Висела детская игра
В большой серьезной кепке.
Она была, как сладкий чай,
Вся мокрая от счастья!
Судьба дала ей невзначай
Застежку на запястья!
Она б могла среди двора
На деревянной скрепке
Висеть сто лет, кричать: «Ура!» —
Бросая кубик в кепке.

Она — игра: ей дай буфет,
Полено, мышеловку,
Кило сельмаговских конфет
И чеснока головку,
Маршрут трамвая № 2,
Открытку с видом Крыма,
Любые факты и слова
И мяч, летящий мимо, —
Она по-свойски подмигнет
И смысл переиначит,
Освобождая от тенет
Лукавых и чердачных.
Весельем, радостью чудной
Преобразит предметы.
Примерно так в страде земной
И трудятся поэты.



Среди двора на бельевой
Веревке трепетали
Штаны печалью вековой,
Затягивая в дали.
Вокруг сарай и дрова,
Крыльцо с железной крышей,
И обнаглевшая трава,
И небо, чуть повыше.

Тайная Вечеря

*Из ядущего вышло ядомое,
и из сильного вышло сладкое.*

Суд. 14:14

Крепкое сухое тело
Господа Христа
На ладонях запотело,
Просится в уста.

Я смотрю на эту кроху,
Изумленный весь.
За эпохою эпоху
Проживаю днесь:

От Синая до Сиона
В зелени олив,
От червлёных шкур закона
До горы Хорив.

Рукотворный образ Агнца,
Неживой на взгляд,
Языком протуберанца
Расхищает ад.

Кто из нас ядомым станет:
Бог в руках раба
Или раб, как соль, истает
В жертвенных хлебах?

Тайна жизни, тайна гроба
С Таинством креста
Соотносятся, как сдоба
С коливом поста.

Снедь домашняя для чрева,
Умнаястряпня.
Ева плод познания с древа
Съела за меня.

Семь больших корзин укрузов
Поглотила тьма,
Пища твердая — для духа,
А не для ума.

Тайная Вечеря явит
Страшный суд любви,
Жизнь замесится во славе
На Святой крови.

Упразднятся все глаголы,
Знание и речь,
Новоселам во благое
Память не сберечь,

Отойдут приделы храма,
Замолчит псалтирь,
И дубрава Авраама
Увенчает ширь.

Старое кладбище

*...Вино молодое надобно вливать
в мехи новые.*

Мк. 2: 22

На старом кладбище сидели
И пили новое вино.
Качались вдоль ограды ели
И были с нами заодно.

А рядом в домике кирпичном
Лопаты стыли и ломы,
Свободным духом заграничным
Тревожа падшие умы.

В углу железная печурка
Спала под ворохом газет.
Была могильщиков дежурка
Заброшена на сотни лет.

А на лоскутном одеяле,
Зевая, древняя доха
Себя узнала бы едва ли
В зеркальном образе стиха.

Ты заждалась меня у входа,
Считая черенки лопат.
На старом кладбище природа
Открылась, как причастный плат.

Подшитый край земного ситца!
Багряной осени отрез!
Веселья тихая страница
Без развлечений и чудес.

Вздыхнув, вернулись мы на лавку,
Допили пополам вино,
Надутых туч смешную давку
Воспринимая как кино.

Но небо не пошло на траты,
Деревья стихли, протрезвев.
Прозрачное дыхание мяты
Распространял могильный зев.

Стемнело, так что наши руки
Переплелись в вечерней мгле.
На месте горя и разлуки
Бывают встречи на земле.

Прощай, кладбище вековое,
Усни под ворохом газет!
Нет в жизни будущей покоя
И передышек в счастье нет.



Геннадий ПРАШКЕВИЧ

ХРОМОЙ ПАСТУХ

*Сендушная сказка**

1.

Теперь о древних людях скажу.

2.

Был человек по имени Кутличан.

Совсем молодой, пять зим, не больше.

Отец говорил: воином вырастет, храбрым будет.

У Кутличана два брата. Оба с женщинами, с детьми. меховые шапки-малахаи на волосатых головах, бедные тальниковые нарты. Заплетали волосы в косу, украшали железной бляшкой или нитками бисера. Как мелкие рыбы в сендушной чёпке-озерце повинуются старому окуню, так братья повиновались отцу. В пустой сендухе знали все речки, озера, помнили каждую ондушу-лиственницу. Воевали с тунгусами, гонявшими оленей на богатую ягелем территорию. Людей встречали редко, а, по словам отца, раньше когда-то было совсем не так. Когда-то гуси, пролетая над стойбищами, темнели от дыма костров: так много было юкагиров в сендухе.

Летом кочевали меньше, зимой кочевали больше.

В одной чёпке рыба есть, в другой чёпке рыбы нет, ставили сети.

В реках брали белую рыбу, больше — сига. Ещё щуку, чира, легкие челноки таскали с собой, называли ветками, переносили на плечах через болота и кочки. Маленький Кутличан помогал братьям во всем, хотел побыстрее стать большим, боялся, что не успеет. Слышал, что все на свете мельчает. Даже большой Хозяин земли и вод Погиль, вслух его называют — Пон, раньше был с лиственницу, теперь стоптался. Даже сказочный старичок чулэни-полут теряет силу — раньше с охоты приносил на поясе сразу двух больших лосей, теперь одного несет с передышками. Женщины рожают меньше, когда совсем перестанут — наступит конец света. Никто не знает, как это будет. Просто не станет новых детей.

* Словарь местных слов и выражений см. в конце текста.

Кутличана, младшего, старались оберегать.

Всем детям рыбы давали больше, а Кутличану еще больше.

Воином вырастет, говорил отец. Учил всему как всех, даже больше.

Ставили ровдужные урасы, пасли олешков. Дрова кончались — откочевывали к берегу моря. Там плавник, сухие стволы лежат, длинные, как реки. У кого дети — тем больше дров, в остальном одинаково. Дождь идет — все одинаково под дождем идут. Снег выпал — все одинаково по следу бедной тальниковой нарты бегут. Когда поднимали тучных диких олешков, первыми шли старики — пугать зверя. Когда силы у стариков заканчивались, за олешками сыновья шли. У кого много детей, тем мяса давали больше. Сытно поев, сидели в урасе, отдыхали, копыта диких олень скоблили ножами. «Духи зверей, — просили, — пожалейте нас, сердце сделайте! Раньше вон как питали, этого не оставляйте». Поддерживали в очаге огонь. «Солнце-мать, твоим теплом нас согрей. Приходящее зло в сторону направь».

Сидят, дикуют.

3.

Было: отец человека поймал.

В драной одежде, искусан гнусом, выкрикивал непонятное.

Мэнэрик на него напал. Безумие. Привязанный к столбу в отдельной урасе, выкрикивал непонятное, когда отпустили — ушел, стал шаманом. Говорят, научился быть рыбой, оборачиваться земляным червем, в облаке невкусных запахов мог появиться у любого стойбища. «Кутличан станет воином, — объяснял такое отец. — Шаман запомнил его. Почти три года провел с нами».

Дети растут, становятся большими, становятся руками для отцов.

Кутличан теперь один охотился. Узнал, что мир совсем невелик — от плоского ледяного моря до низких лесов. Всего-то. В сендухе увидел: шахалэ, лисица рыжая, дразнится — медведя, черного деда сендушного босоногого, дразнит. Шишками в него бросает. «Дед сендушный босоногий — глупый, — кричит. — Такой большой, а сына родил от чужой небольшой самки. От человеческой самки сына родил». Кутличан криком и палкой отогнал рыжую. Черный дед довольно пососал воздух носом, кивнул, запоминая.

Рыжая шахалэ не угомонилась, продолжала рыскать в траве, во мхах, хотела у какой птички детей отнять. Травинки редкие, тонкие, такие прозрачные, будто в них вселились чужие души, трепетали без ветерка. Кутличан с птичками дружил, если надо — сам брал у них яйца, птенцов не трогал. Теперь услышал, как птичка просит: «Не убивай, рыжая, моих детенышей». С криком, с палкой погнался за шахалэ — та отбежала, улыбнулась Кутличану всеми ровными зубами, тоже запомнила.

Кутличан не все понимал, только любил порядок.

Дивился: вот все друг друга едят. Это ничего, это так надо.

Лоси ветки гложут, олешки ягель копытом ковыряют, лиса-шахалэ не может без крови — грызет зайца-ушкана.

У людей тоже так всегда.

Однажды было: лося убили.

Чомон-гул — «большое мясо».

Люди радовались: лось большой, всем хватит.

Женщина охотника за мясом пошла. В сендуху пошла. Одна, с ножом. Грудное солнце блестело — украшение. Младшая дочь побежала за ней: «Возьми и меня, эмэй. Буду с тобой брать мясо». Думала, это как морошку брать. Мать ответила: «Не ходи, у тебя еще сердце мягкое». А когда вернулась, в уресе не нашла дочь, она все равно к убитому лося ушла — тайком. Нежная, как лапка ягеля, сердце мягкое — правда стала жалеть. Сказала: «О Чомон-гул! О!» Сухой снег смела веткой с мертвой головы лося. «О Чомон-гул! О!» Мохнатое лицо зверя открыв, в глаз черноту с печалью смотреть стала. «О Чомон-гул, жалко! Когда старший брат с копьем тебя догонял, в сердце твоём худо сделалось».

Домой вернувшись, сказала: «Не будем есть зверя больше».

Отцу и братьям, всем соседям сказала: «Больше бить лося не будем».

Прислушались. Почему так? Может, правда? Может, не сама придумала, может, ей Погиль, вслух называют — Пон, подсказал?

Так будучи, голодали.

Многие, обессилев, слегли.

Влажный мох сосали, плакали.

Шамана позвали: «Зачем такое? Почему надо терпеть?»

«Упомянутая девушка в черноту глаз убитого лося смотрела, — ответил шаман, грозно трогая колотушкой бубен. — Упомянутая девушка вашу еду жалела, это дух огня слышал и духи воды, земли, неба, грозы, ветров. Остроголовый, дух нижнего мира, тоже слышал. У Остроголового фигура как у человека, с двумя руками и ногами, только голова острая, в локоть длиной, а лицо шириной в три пальца, не больше, рот от уха до уха, во рту зуб. А глаза маленькие, круглые, как шилом проткнутые, в темноте видят. Пока упомянутая девушка будет с вами, мясо есть нельзя».

«Как без мяса? Что с этим сделаем?»

«Тогда упомянутую девушку убейте».

«Хэ! — удивились. — Разве нам лучше станет?»

«Если девушка умрет — ей плохо. А если все умрем — нам худо».

Подумав, убили. С жалостью, но убили. Тогда шаман сказал: «Пусть теперь охотник пойдет. Пусть теперь тот, у кого сохранились силы, пойдет».

Еще полдень не наступил, а посланный охотник убил лося.

Стали снова убивать.

Поправились.

4.

Кутличан боялся шаманов.
Хорошо знал: у них все особенное.

У них кафтан с кистями, а бубен сделан из кожи такого же, только давно умершего шамана. После смерти с него сдирают кожу и натягивают на деревянную основу. С белых костей соскабливают мясо, сухие кости держат в кожаном мешочке, во время кочевок возят на особых нартах, в упряжке лучшие олени. Когда собираются предпринять что-то важное, зовут шамана, он приходит с кожаным мешочком. Иногда кости в мешочке легкие как пух, а в другое время — тяжелые как свинец. Шаман поднимает мешочек, пробует на вес. Если кости легкие, говорит: делайте. Если кости тяжелые, качает головой: не делайте.

«Хэруллу! Хэруллу!» Раскачивает мешочек с костями.

«Огонь-бабушка, худое будет — в другую сторону отверни. Хорошее будет — к нам поверни».

Подпрыгивает на одной ноге как птица.

«Нашего покойного шамана кости, в нашу сторону смотрите».

Кости бросит — вдруг не может оторвать от земли, такие тяжелые.

«Это нашего покойного шамана кости, что предвещают — страсть!»

«Хэ!» Люди, сидя на земле, слушают.

«Это теперь скоро новый народ встретите».

«Хэ! — дивятся. — Почему новый? Не боимся, даже если так».

«Совсем новый народ придет. Против нового народа ничего острого не направляйте. Духи предупреждают, что конца не будет новому народу — так много. Вся сендуха, как черными пятнами, покроется чужими. Упомянутый народ с заката придет. Старые пепелища обнюхивая ходить будете».

«Каким нравом, какой наружности?»

«Нравом строгие. На вид — у рта мохнатые».

5.

Кутличан такого боялся.

Если чужие придут, как уберечься?

Без чужих хорошо. Пусть комаров много — устраиваем дымокур из сырых кочек. А новый народ придет — с ним как управиться? Олешков сведут, сестер угонят, убьют братьев, стариков бросят в сендухе: старые кому нужны? Мир совсем небольшой. С одной стороны за лесами обрыв в нижний мир, с другой — гора в мир верхний. Бегая по сендухе, внимательно присматривался. Зеленовато-серые лишайники, трава, ветер холодный. Гонял рыжую лису-шахалэ, защищал Корела, рожденного человечьей самкой от деда черного сендушного, медведя. Корел косолапый, весь в волосах, привык к Кутличану, послушно бегал за ним. Черному деду это нравилось. Мохнатый ребенок и Кутличан подружились. Когда впервые сели на земле рядом, дед черный от удовольствия пососал воздух

носом. Спросил Корела: «Может, съедим человеческого ребенка?» Корел сказал — нет. Намекал, что деду черному уже хватит. Ты мою мамку съел, намекал, друга не трогай.

Дед черный согласился. А Кутличану сказал: «У тебя сердце мягкое. Ожесточи».

Кутличан удивился: «Как ожесточу?»

Ответил: «Дыханием смерти».

«Страшное говоришь».

«Зато вкусно будет, — показал желтые клыки черный дед сендушный. — Научись убивать — вкусно будет. Слабый никому в сендухе не нужен. Вот ты спасаешь птенцов, а почему не ешь?»

«Пусть вырастут».

«Тогда бегай больше, — помотал головой дед сендушный босоногий. — Мясо ешь больше, жир пластай. Твои кости затвердеть должны. Увидев чужого, ставь копьё острием вниз, показывай, что не будешь драться. Тебе рано пока. С мягким сердцем не станешь воином. Жену возьми, заведи детей. Потом пойди и зарежь чужого, ну хоть тунгуса. — Подмигнул благожелательно. — С человеком взрослым — взрослым человеком будь, с ребенком — ребенком, с человеком старым — старым человеком, а с какой старухой — старухой, тогда спокойно будешь жить».

Кутличан спросил: «А придут у рта мохнатые?»

«Осмотришь. Потом убивай».

«А если не осилю?»

«Готовься, тогда осилишь. Много бегай, много прыгай, учись владению копьем, не сиди у теплого очага, учись всему. Чужие обязательно придут, так не бывает, чтобы никто не пришел. Будет чужих как деревьев в лесу. Станет в сендухе так тесно, что у всех мысли перепутаются. Сейчас день за днем бежишь по низким речкам и никого не встретишь, а чужие придут — к чёпке не протолкнешься».

«Откуда такое знаешь?»

«Дружу с чулэни-полутом».

«Хэ! А он откуда такое знает?»

«Дружит с духами», — ответил дед.

И посоветовал пойти на близкий праздник.

6.

На праздник собирались у реки.

Из разных родов ламуты приехали, одулы пришли.

У каждого — красивое. Сары на ногах — красные сапоги из непромокаемой кожи. Шапки-малахаи мохнатые. Ровдужные кафтаны золотисто-коричневого или вовсе серого цвета, опушены по краю мехом нерпы-белька, по подолу вышивка нежным подшейным волосом олешка. С кафтанов свисали лисьи хвосты, иногда подкрашенные настоем ольхи или тальника. Дальний одул именем Ойче привез березовое дерево для

полозьев — на обмен, другой одул именем Энекей — листовничную серу для заливки трещин в разошедшемся днище челнока. Хвастались блестящим бисером, металлическими подвесками и бляшками. Такое если увидишь, то раз в год.

Дед черный сендушный за холмом-едомой поучал Кутличана.

«На празднике покажи себя. Прыгай и бегай, только сильно тяжелое не бери. — Качал мохнатой головой. — Обижать если будут, не возражай, твои кости еще хрящеватые. Накопятся обиды — вспомнишь».

С Большой Чухочьей явились семьи родственных алайев.

Из алазейского рода широкоплечие эрбетке-омоки и дудки-омоки.

Такие кочуют по плоским берегам Алазеи, хвастают своим шаманом, который от гуся произошел, — оттого весь род прозывается гусиным. А дудки — ламутское слово. Для дудки-омока нет никаких препятствий. Дудки-омоки на легких нартах прошли мир от края до края, бывали в дальних лесах и на ледяном море. Крепкие, как обожженные листовничные корни. Кто-то сказал, что сендушные люди, которых все знают как тунгусов, тоже иногда называют себя одулами. Дудки-омоки особенно возмутились. Особенно Тебегей возмутился, отец дочери и двух сыновей, старший из которых, как зверь, чувствовал все запахи. Младший ничего такого не чувствовал, а вот старший, учуяв непонятное, мог упасть. Зато по запаху старых костей мог сказать, кого тут убили — чюхчу или долгана.

Кутличан смирно смотрел, но и сам бы полез в драку, скажи при нем какой-нибудь тунгус, что он не тунгус, а одул. Возмутились словами тунгусов и каменные люди, называющие себя ходейджил-омоками. Они пришли со стороны заката, с быстрой гористой реки, поставили урасы в стороне, обнюхивали все что видели, косились на бетильцев, называли их хангаями. Бетильцы терпели. Иногда только говорили: мы — настоящие одулы, мы охотники, охотничий народ. Привезли с собой хромого богатыря — это всем интересно. Хромой с детства богатырь — так его природа изобрела. От своего отца Кутличан знал, что шаман у бетильцев был орлом. Когда выбирали место для рода, шаман-орел сел на ондушу так, что посыпалась с нее хвоя. «Тут сядете», — указал. На шамана рассердились: почему тут? Местность голая, у реки торчат уродливые кривые листовничцы, и все время дуют ветры.

Но шаман сказал: «Тут сядете».

7.

Людей налетело как комаров.

Пришли люди льда, у них рты длинные.

С моря пришли сумеречные ламуты. Когда-то уплыли в море на острова, теперь тоскуют. Их иногда в сумерки при коротких лучах заходящего солнца видеть можно на берегу. У тунгусов, например, скулы выдаются остро и резко, и женщины у тунгусов неуклюжие, а ламуты просто тоскуют.

Даже Корел пришел — юноша, рожденный от медведя человеческой самкой.

Косолапый, мохнатый, крепкий, сел на землю в сторонке. Сопел, наклоня тяжелую, как травяная кочка, голову. Кутличан примостился рядом. Ну и что, Корел не причесывается никогда, зато ест коренья.

Ждали семью старого ламута Мачекана, но он не пришел.

Спросили, где старый ламут? Никто не знал, только Корел молча сопел.

Тогда Корела тоже спросили, почему не пришел Мачекан, что он думает? Корел мохнатой рукой почесал мохнатую голову. Он так думал, что старого Мачекана, наверное, тунгусы съели.

«Тунгусы не едят ламутов».

«Значит, убили тунгусы, а съели другие».

Это могло означать, что тунгусы только убили старого ламута, а какие-то совсем другие (может, люди?) съели всю семью, ходят теперь сытые по сендухе. Явятся на праздник — как узнать? Спросишь, почему сытый, — такой ответит: отец кормил. Спросишь, а где отец, — посмотрит подозрительно: дескать, отец на реке Алазее, в уресе спит, самый сон. В общем, отстали от Корела, нельзя на празднике ссориться, да и отца — деда сендушного босоногого уважали. К тому же мог старый Мачекан не явиться совсем по другой причине. Говорят, опять видели в сендухе красного полосатого червя. Вот тунгусы вечно ссорятся с алайями из-за пастбищ с сочным ягелем, а красному червю все равно. Он так велик, что не ест ни траву, ни ягель, ни ягоду морошку, а нападает только на самых крупных зверей, человеком не брезгует. Даже самого крупного убьет, сжав в красных блестящих полосатых кольцах, весь светится красным и синим, как северное сияние. Увидишь такого — спать не будешь. А красный червь спит. С аппетитом ест, потом с аппетитом спит. Дети мертвецов выглядывают из нижнего мира, бросают в красного червя камнями — все равно разбудить не могут.

8.

«Сильно тяжелое не бери».

Это Кутличан, конечно, запомнил.

На берегу мелкой речушки положили семь камней, от маленького до совсем большого — такого, что взглядом не поднимешь. Кто сел на землю, кто стоял, все равно каждый все видел.

Солнце светило ровно. От мошки, комара дымокуры жгли.

Первым подошел к назначенному месту широкоплечий эрбетке-омок, отряхнулся, как озерный гусь, взял в руки первый камень, небольшой, подержал над головой. Вот смотрите, вот как красиво он держит над головой камень. Это всем понравилось, но на третьем камне эрбетке-омок замедлил движения. Сперва как бы уверенно понес к плечу камень, а не донес. Мог еще раз попробовать, но камень упал на землю, а такое не разрешалось.

Тогда вышел каменный человек.

Он первый, мелкий камень поднял.

И второй, небольшой камень поднял.

И третий, теперь уже крупный, камень поднял.

И четвертый поднял — вот какой сильный, только руки немного дрожали.

Потом сам бросил четвертый камень под ноги, пятый поднимать не стал, показал пустыми ладошками: нет, он пятый поднимать не будет.

Насмотревшись на это, дудки-омок, следующий в очереди, по имени Тебегей, крепкий отец дочери и двух сыновей, подошел прямо к пятому камню. Но ему сказали: «Хэ!» — и стали смеяться. Тогда Тебегей рассердился и поднял подряд пять камней, но все увидели, что это всё, на большее не годится.

И все хором позвали хромого богатыря бетильцев.

Богатырь подошел, долго стоял, накренившись, как корявая, кривая, закрученная всеми ветрами лиственница, долго смотрел на собравшихся, слушал, как сопит мохнатый Корел, потом один за другим ровно, без усилий поднял пять камней и наклонился к шестому. Хитрый. Камни поднимал с хромой стороны, там до плеча ближе — омоки и алаи зароптали. Но если поднимать только к высокому плечу, роптать начнут бетильцы. Мохнатый Корел, глядя на это, стал кашлять по-медвежьи.

Бетилец вздрогнул и выронил камень.

«Хэ!» Не дали ему наклониться. Так нельзя.

Выронил камень — отойди в сторону. Нельзя наклоняться, брать камень во второй раз. Вот бетилец и отошел. Стал смотреть на остальных сквозь мошкарку и дым.

Небо затянуло, но со стороны моря обозначилась бледная половинчатая луна, смотрела как полуобернувшийся человек. Наверное, хотела, чтобы победил мохнатый Корел. Он вышел на указанную площадку, лоб совсем мохнатый, как у деда сендушного, даже мелкие завивались колечки. Кутличан вспомнил, что дед черный что-то говорил сыну строгое, может, уговаривал победить. Два дня назад за холмом-едомой говорил, Кутличан сам слышал. И Корел подошел, напружил ноги короткие, кривые, стал поднимать камни, все как один поднял, только седьмой оказался не по рукам-лапам, выскользнул и упал на землю.

Все равно все видели, что сын медведя и человеческой самки всех победил.

Многим такое не понравилось. Стали спрашивать, кто еще хочет пробовать. Многие не отвечали, отворачивались. Их стыдили. Вон лежат камни, подходите. Так стыдили. Но никто не подходил, все жалели, что не приехал старый Мачекан. Он, может, и не стал бы подходить к камням — все равно жалели.

Тогда вышел Кутличан.

Это людей сильно развеселило.

Вот какой смелый юноша. Совсем еще молодой, а хочет много.

Ездит с отцом на тальниковой нарте, а хочет уже, наверное, березовые полозья.

Многие засмеялись. Хромой богатырь засмеялся особенно громко, наклонял голову в хромую сторону. Только мохнатый Корел нисколько не

засмеялся и проигравший дудки-омок, именем Тебегей, пожалел Кутличана. Сказал, понимая: «Возьми, юноша, самый малый камень, мы за считаем». Боялся, крепкая ли у него кость.

Для начала Кутличан взял самый малый камень, чтобы дудки-омоку было приятно, и поднял его. И дудки-омоку было приятно.

«Хэ! Второй возьми».

Кутличан так и сделал.

И дудки-омоку снова было приятно.

А потом Кутличан сделал как сказал каменный человек, называющий себя ходейджил-омоком, — поднял третий камень. Даже хромой богатырь одобрительно рассмеялся. Потер нос широкой ладонью: «Ты еще возьми».

Но отец Кутличана поднял руку: «Этого, может, хватит?»

И эрбетке-омок покачал головой, как озерный гусь: «Этого хватит».

Но Кутличан молча поднял четвертый камень. Вот всем телом чувствовал, что поднимет. И сам удивился, как легко поднял. Зато это теперь не понравилось ходейджил-омоку, каменному человеку: «Хэ! Не надо больше. Оставь. Отойди. У тебя кости некрепкие».

«Хэ! Пусть сломается», — вмешался хромой богатырь.

Не слушая больше никого, Кутличан поднял почти все камни, остался только один — последний. Он на него долго смотрел: камень шершавый, массивный, к нему не все руки прикладывали. Если подниму такой до колен, подумал, сочтут победителем.

И поднял камень до колен. Глаза сразу стали круглые, как у серой лягушки.

Если подниму теперь камень до живота, подумал, все меня сочтут победителем.

Но сперва поднял взгляд и увидел нежный дым, увидел смущенно толкующую в воздухе мошкару: вот-де все заняты делом, а мы солнце застим. Увидел комаров — тоже смущенно звенели. И луна то ли обернулась наполовину, то ли отвернулась, будто не хотела смотреть, как юноша сломается.

Если подниму камень до груди, значит, окрепли кости.

Если сейчас подниму камень, то поеду по стойбищам невесту искать.

Думая так, увидел поднявшийся край покрывки: из урасы дудки-омока Тебегей выглянула другая луна. Земная. Это так Кутличан подумал. Одна луна, наполовину отвернувшись, смотрела сквозь дым и комаров прямо с неба, другая, земная, наполовину повернувшись, — из урасы. Знал, земную зовут Ичена, Тебегей дочь. Ичена. Имя как весенний куст. Зеленых листочков мало, но будет много.

Опустил взгляд.

Камень большой.

Сломаюсь, наверное.

Хэ! Рывком поднял камень на плечо.

И сразу, не останавливаясь, поднял камень на голову.

Круглое, как луна, лицо плыло перед ним. Знал, девушку Ичена звали. Это хорошо знал. Как луна. Наполовину серебряное лицо, наполови-

ну пепельное. Дочь дудки-омока Тебегея. С большим камнем на голове Кутличан попрыгал на одной ноге. Наверное, запах пота достиг ноздрей девушки, она затрепетала совсем как настоящая луна в облачках, а собравшиеся громко ахнули. Даже дед сендушный черный ахнул за холмом-едомой от удовольствия.

«Кутличан победил».

9.

Потом были прыжки.

Кутличан прыгнул через речку.

Так высоко прыгнул, что за озерами увидел красного червя.

Красный червь был полосатый, светился ровно, покушал, наверное.

Но рядом ничего Кутличан не увидел. Может, красный червь съел старого Мачекана вместе с нартами? Это жалко, полозья березовые. Опускаясь, Кутличан смотрел на ровдужную урасу Тебегея: ее покрывка была опущена. И луна смущенно ушла с неба, только комары и мошка остались. Это ничего, про себя Кутличан улыбнулся. Отец всегда говорил: «Улыбайся так, будто все имеешь». И дед сендушный говорил: «Улыбайся так, будто все твое будет».

Но покрывка урасы была опущена.

Девушка Ичена спряталась, и луна в небе спряталась.

10.

Три дня самые сильные, самые упорные богатыри бегали и прыгали по берегу, олешки на них смотрели удивленно, хкекали, потом привыкли. Хромой бетилец, бегая, упал в яму с черной ледяной водой. Отряхиваясь, ругался, считал, что в яму должен был упасть Кутличан. Но упал он. А победитель Кутличан ушел с Корелом на холм-едому и там открыл сердце другу.

«Наверное, пойду в нижнее урочище. Наверное, туда ушла девушка».

Имя Ичены не называл, но Корел сам догадался.

«Я тоже с тобой пойду».

«Хэ! Вдруг девушку напугаешь?»

«Я в стороне побуду. Я видел, дудки-омок Тебегей рано утром своих увел. Я с тобой пойду. Ты покажи себя будущему родичу, будь в цене, сделай ханджай — обещай богатую рыбу, оленя, песка. Пусть сейчас не имеешь — это не беда. Ты пока Тебегею много дров наготовь, набросай выше жилища. Если на четвертый день дудки-омок начнет пользоваться твоими дровами, значит, готов принять. Входи в урасу, короткое копье поставь у входа. Хозяин удивится, оставит ночевать. Спроси: где спать буду? Он укажет полог, войдешь, скажешь девушке: подвинься, эмэй. Так мой отец, дед черный сендушный, называл человечью самку, когда в берлогу привел. Ей такое обращение понравилось. Сама передник сняла».

«А почему потом съел?»

«Хэ! Перестала нравиться».

Корел помолчал. Но недолго.

«Если тесть скажет утром, глядя в дымовое отверстие, что вот на дальней речке ловушки все еще не настрожены, — это он не себе, это он тебе скажет. И ты ответь, что сам хочешь настроить».

«А если захочу и дальше один жить?»

«Один не живи, а то заболеешь или умрешь».

11.

Сказали Кутличану: пуостэбэй.

Сказали: пока-пока, счастливого пути.

Он бежал рядом с нартами. Сендуха влажная, мох влажный, легкая тальниковая нарта скользила медленно. На стойбище долго смеялись: вон Кутличан, человек, ушедший за невестой, все еще вдали виден. Старые женщины качали головами: жених, ушедший за невестой, все еще виден.

Рядом бежал Корел, как зверь перебирал короткими кривыми ногами, олешки боялись, делали вид, что торопятся. Вот бегу с сыном медведя, думал Кутличан. Все у меня хорошо. Все у меня есть. Тальниковая нарта у меня есть. Свет солнечный. Копье, лук и стрелы. Вот победителем на празднике стал. Теперь буду бить оленя в сендухе, брать жирную рыбу в чёпках. Принесу девушке Ичене мясо, рыбу. Зимой загорятся над сендухой юкагирские огни.

«Зачем дед черный сендушный человечью женщину себе взял?»

Корел ровно бежал рядом, ответил не запыхавшись: «Понравилась».

Объяснил: «Женщина только сперва ругалась. “Не бери меня”, — ругалась. Дед черный скажет: “Дай мне палку и щетки”, а она кричит: “Вот еще, вот еще, вот еще!” Потом поняла: пища вкусная есть, в берлоге тепло, петли к одежде медведю пришивать не надо — никогда не снимает одежду, однако ругалась. “Перестань”, — сказал дед. “Вот еще, вот еще, вот еще! — кричала человечья женщина. — Все равно убегу”».

«Однако, не убежала».

«Называл ее эмэй».

«Это держит?»

«Хэ!»

12.

Мир маленький, удобный.

Всё в мире есть, на всех хватит.

Летом дожди, черная няша в ямах.

От земляного берега реки Ковымы до каменных холмов Алазеи алайи, родичи Кутличана, ходили по кромкам озер, знали все речки. Гуси, пролетая над ягельной землей, дивились, что вся она покрыта озерами,



как сеть с неправильными ячейками, кочковатых мест много, кочек хватит для дымокура. Земля даже летом оттаивает всего на две мужские ладони, все в ней перемешано — лед, земля, торф, залито водой, олешки бредут по брюхо в воде, наконец, выбираясь на сухое, встряхиваются. Хозяин всего мира, звать Погиль, вслух лучше звать — Пон, когда создавал сендуху, утомился, не стал отделять воду от суши — вот сами ищите дорогу. Для бодрости напустил в воздух мошку, комаров, оводов.

Пон эмидэч... Пон тибой... Пон омоч... Пон дождит... Пон светает... Пон дымит...

Хороший мир. Понятный. Кутличан с удовольствием щурился.

«Хэ! Это почему хорошо так?»

«Это ты растешь, — ответил Корел. — Потом еще лучше будет».

Кутличан с удовольствием вспоминал. Хромой богатырь хотел, чтобы я сломался. Зачем? Смеясь, наклонял голову в хромую сторону. А вот Тебегей, дудки-омок, отец Ичены, пожалел Кутличана, просил взять самый малый камень: «Мы засчитаем». Боялся, крепкая ли у меня кость. Это хромой богатырь несколько не жалел, говорил: «Пусть сломается».

Смотрел на пустую сендуху, слушал, как сопит Корел.

Бродячее население сендухи разбросано от лесов до моря.

От края далеких лесов до кромки морских льдов бродят мелкие роды.

Мир маленький, ясный, понятный, буду в нем воином. Заканчивается с одной стороны лесом, с другой — ледяным морем. Никак не заблудишься. С одной стороны обрыв в нижний мир, с другой — гора в мир верхний. Из горы пар выбрасывается, трава не растет. Пойдешь куда, непременно встретишь алайев, они все свои. И шоромбойцев встретишь, и когимэ — эти черные как вороны. К восходу живут ходынцы. Еще дальше — чюхчи. Этих Кутличан вживую не видел, они живут во льдах. Олешки у них попьют морской воды — шерсть станет густой, зимой не мерзнут. Чюхчи здороваются дерзко: «Етти!» — лучше бы не здоровались. Некоторые слабые умом, другие злые. На каждом плече у чюхчи сидят мелкие духи — нехорошо всматриваются в чужих. У алайев или у дудки-омоков, даже у каменных людей — духи мягче. Даже в нижнем мире духи мягче. Ловко ловят олешков, прозрачных как тень, охотятся на рыб и лосей, тихих как тени. Если у духов удачная охота, всем родичам будет хорошо.

А в сторону леса уяганы живут, за ними долганы и кукугиры.

Ой-ой-ой, Кутличан, сказал себе, не ходи совсем к кукугирам. Иди к Тебегею. Возьмешь Ичену луннолицую, будешь жить с родичами дудки-омоками, с родичами алайями, мохнатый Корел рядом. А к уяганам и кукугирам не ходи, копьями закидают. И нымчанов не зови, не верь нымчанам, будь осторожен, Кутличан. Мир маленький, рано или поздно наткнешься на тунгуса, каптакули и фугляды могут тебя увидеть, шелоконы и нангиры вкусное от тебя потребуют, не дашь — сестру съедят. А пойдешь в сторону моря — встретишь любенцев, встретишь чуванцев, называют себя шелагами. Там вечно снег падает, след закрывает. У кромки плотного льда встретишь адяна, он с аппетитом ест нерпу. Вот и весь

мир, Кутличан. В этом мире все свои, некоторых всю жизнь не видишь, все равно знаешь: тут они, просто откочевали. Можно, конечно, пойти на закат. Ой-ой-ой, Кутличан. На закате пуягиры, там негидальцы, с глазами маленькими, оранжевыми, как морошка. Вся сендуха открыта людям от горы в верхний мир до обрыва в мир нижний. Зачем шаман говорил: «Это теперь скоро новый народ встретите?» Подпрыгивал на одной ноге как птица, тряс кожаным мешочком: «Это нашего покойного шамана кости, что предвещают?» Сам себе отвечал: «Совсем новых людей предвещают». А каких? Опять подпрыгивал на одной ноге. «Конца не будет новому народу — так много». А откуда? Грозил: «Сендуха, как черными пятнами, чужими покроется. И все будут у рта мохнатые, в бородах».

Мир такой маленький.

В нем так удобно, в нем все свои.

Ну, со стороны нижнего мира иногда выглядывают дети мертвецов, бросают камни в красного полосатого червя — это ничего, это ничему не мешает. Ну, тунгусы иногда приходят пустобородые. А шаман сказал: «Новый народ придет, у рта мохнатые придут. Сендуха как черными пятнами покроется». Вот еще, вот еще, вот еще! Зачем так много? С омоками жить хочу. С алайями живу. Тяжелое поднимал, не сломался. Теперь бегаю быстро, прыгаю высоко. В хорошем мире живу, хорошей пищей питаюсь. Трава под ногой еще не примялась, а я уже поднимаю другую ногу.

13.

«Остановись», — сказал Корел.

На краю холма-едомы лежал красный червь полосатый.

Тяжело, накрываясь лежал. Свился кольцами толще человека, не двигался, но кожа в округлых роговых пластинках вся светилась, как бы мерцала. Насытился, спал крепко. Глаз не видно, да и не хочется смотреть в глаза такому — очень большой. Такого только дети мертвецов не боятся. Что им красный червь? Он живого олешка ест. Он живого человека сосет. Наверное, Мачекана съел, оставил нарты — вон валяются нарты, полозья правда березовые. На обратном пути подберу, деловито решил Кутличан, а мохнатый Корел подошел и просто сел на червя.

«Ты что? Ты что?»

«Теплый», — объяснил Корел.

«Хэ! Вдруг проснется?»

Корел поднял мохнатую голову, сказал: «Возьми копье. Возьми нож».

«Хэ! Что такое задумал?»

«Убьем красного червя».

«Зачем?»

«Вырежу тебе хорошие подошвы для сапог».

«Хэ! Не надо. Не буди червя, зачем?»

«Если проснется — точно не убьешь».



«Пусть спит. Что ты, что ты!»

«Убей, а то пожалеешь», — сказал Корел.

Но понял что-то важное и махнул рукой-лапой.

14.

Неполная луна то исчезала, то появлялась, будто боялась полностью повернуться.

Он разбудит красного червя, думал Кутличан. Корел, сын медведя и человеческой самки, разбудит красного полосатого, потом вырежет из его кожи подошвы для сапог. Или, наоборот, червь победит.

«Солнце-мать, твоим теплом нас согрей».

Ровдужную урасу Тебегея Кутличан узнал издали.

«Солнце-мать, каким бы ни было приходящее зло, в сторону направь».

Подумал: может, зря не убил красного червя? От урасы вон как дымом несет невкусно. Не домашним пахнет — холодной вчерашней гарью. Сразу видно, что даже заглядывать в урасу не нужно: там очаг погас, дымовое отверстие затянуло паутиной. А день назад, потянул носом, тут, может, рыбой кормили, гусяным мясом. Валяется затоптанная в грязь талина, на которой рыбу коптят. На земле порванный малахай, сломанный посох. Красный червь много ест, но никогда без нужды, без дела не безобразничает. Малахай не станет рвать — так, наверное, только тунгусы делают. Даже котел разбили. У дудки-омока отдельный котел был. Тебегей отдельно мясо варил, угощал дочь, сыновья ели. «Куропаток боюсь, — жаловалась пугливая Ичена. — Как взлетят из-под ног — вздрогнешь». У Ичены совсем не было защиты, подумал Кутличан. Тебегея сразу убили, лежит возле урасы. По всему видно, его сразу убили. Не зря дед черный сендушный говорил: даже в маленьком мире без защиты нельзя.

«Солнце-мать, каким бы ни было приходящее зло, в сторону направь».

Не оказалось у Ичены защиты. До прихода тунгусов тут красный червь полз, но Тебегея не тронул, наверное, захотел старого Мачекана и его семью. Может, хорошо, что я не убил червя? К ровдужной урасе Тебегея, наверное, тунгусы пришли. Остроскулые специально пришли. Прямо на имя дудки-омока Тебегея пришли. Теперь он лежит где бросили. Даже красный полосатый червь не бросит вот так человека — съест, а тунгусы бросили. Кукашка на Тебегее разорвана, обломанная стрела торчит из плеча: оперение унесли, теперь не узнаешь, чья стрела. Сына старшего коротким копьём ударили, копьё потом тоже вырвали, унесли. Второй сын убежал в болото, его там закололи, как лося. А девушки Ичены нет. Если бы красный червь напал на дудки-омоков, стрел и копий бы не было и девушку бы съел. Красный полосатый червь извивается, крутится, вспыхивает, ест тех, кто нравится. Любо́й человек, даже самый смелый, сам идет в пасть красного червя, не сопротивляется.

Нет защиты.

15.

Думал, все защиты хотят.

Алайи, шоромбойцы, когимэ.

Ходынцы и чюхчи хотят защиты, «етти» говорят.

Дудки-омоки и каменные люди ищут защиты. Уяганы и кукугиры.

Ой-ой-ой, Кутличан, ты хотел войти в полог к девушке Ичене. Ты хотел жить в мире с омоками и алайями, к уяганам не ходить — копьями закидают. Скоро снег упадет, в пустой уресе Тебегея совсем никого не будет. Кто сюда пришел на имя дудки-омока Тебегея? Может, долган? Или, может, каптакули пришли, жадные фугляды углядели Ичену? Или дальние любенцы? Или чуванцы, называющие себя шелагами? Ой-ой-ой, Кутличан. Сюда даже пуягиры могли прийти, им все равно, ходить в какую сторону. И негидальцы могли явиться с глазами маленькими, оранжевыми, как морошка. Ой-ой, Кутличан, мир совсем небольшой, он весь открыт от горы в верхний мир до обрыва в мир нижний, и никаких других людей, кроме сендушных и лесных, в мире нет. Это тунгусы пришли. А шаман только пугал так: «Вот новый народ встретите». Прыгал на одной ноге, тряс кожаным мешочком: «Это нашего покойного шамана кости, что предвещают?» Сам себе отвечал: «Это нашего покойного шамана кости совсем новых людей предвещают». Прыгал на одной ноге: «Конца не будет новому народу — так много. Сендуха вся, как черными пятнами, чужими людьми покроеся. У рта мохнатые, в бородах».

Убили дудки-омока, увели Ичену, некому сказать ласковое «эмэй».

Красный червь полосатый, поев, никуда не уходит, ложится спать. Он ничего не скрывает — он просто кушал. А здесь пришли и убили. Мир ласковый, когда есть защита. А когда нет защиты, мир страшный. Юкагирскую кукашку стрела пробила, малахай втоптан в черную няшу, Ичены нет, не скажешь девушке — эмэй, не спросишь Тебегея, где спать буду.

В отчаянии сел на землю, даже комары расстраивались.

Из нижнего мира тени мертвецов смотрели неодобрительно.

Пока тело не унесено, не спрятано от чужих глаз, из нижнего мира не отправят в средний мир новую живую душу, не отправят юный дух нунни в мир средний, чтобы восстановить число живых. Не убирать мертвые тела — это как запретить рожать.

Сидел, не чувствуя комаров, ждал Корела.

Даже не услышал шагов.

Ударили сзади.

16.

Очнулся на земле, но еще в среднем мире.

Нежный ягель под рукой. Невдалеке мертвое тело дудки-омока Тебегея, правда, теперь рядом с ним по-медвежьки сидел мохнатый Корел, молча смотрел на Кутличана. Несколько неярких звезд пробивалось сквозь ночную дымку, но луна отворачивалась и отворачивалась, навер-



ное, это девушка Ичена не хотела оглянуться в сторону мертвого отца, мертвых братьев. Нет, не девушка, а настоящая луна, потому что тени лежат на земле. Когда Ичена оборачивается, тени не обозначаются — так нежна, а тут — тени. Боялась, наверное, что согбенная старуха, стражница нижнего мира, позовет Тебегея.

«Вот перевезу тебя, Тебегей, через реку в нижний мир».

Кукашка вспорота. Левая нога в пятнах крови.

«Хотели тебе все сухожилия на всех ногах перерезать, чтобы ты не ходил куда не надо, — негромко объяснил мохнатый Корел. — Меня как увидели, убежали, приняли за медведя».

«Никого не догнал?»

«Тебе кровь останавливал».

«Лучше бы догнал. Кто они?»

«Бежали быстро. Пахло тунгусами».

Правая нога Кутличана хорошо двигалась, но левой боялся шевелить.

Решил, пусть зарастает. Пусть сама зарастает. Наступать на нее нельзя, недоразрезанное сухожилие лопнет. И олешков увели, нарту с тальниковыми полозьями сломали. Сума, правда, рядом лежит, и большой нож оставили.

«Теперь лежи, — подтвердил Корел. — Я пойду позову людей. Наверное, по дороге встречу своего отца, деда сендушного, pošлю тебя охранять. — Покачал головой, думая о своем. — Зря ты не убил красного червя».

17.

Луна все так же не хотела смотреть, пугливо отворачивалась. Смутные тени прятались, таяли, вновь нарастали, комары кусались стеснительно, надували щеки. Откуда-то прилетел сендушный ворон, черный как головешка, свернул темные крылья, сел на корявую кривую ондушу, показал массивный клюв, сказал: «Крух! Вижу, вижу, убили всех». Наклонил голову вправо: «Вот девушку не вижу».

«Может, ее работницей взяли?»

«Почему тебя не дорезали?»

«Корела испугались».

«Это тот медведь?»

«Не медведь...»

«Крух!» Ворон круглыми черными глазами всматривался в Кутличана.

Перо у ворона черное с отливом. У красного полосатого червя отлив был красный, а у ворона — фиолетовый с зеленым.

«Что видишь?» — спросил Кутличан.

«Убитых вижу».

«А тунгусы?»

«Тунгусы далеко».

«Еще кого видишь?»

«Деда сендушного босоногого, сюда спешит».

«Это наш дед. Корел послал».

Ворон кивнул: «Знаю».

«Еще что видишь?»

«То, что было».

«Расскажи».

Ворон наклонил голову влево, вправо, потом рассказал о древних.

Рассказал о человеке, пойманном отцом Кутличана. Три года держали упомянутого человека в цепях, он кричал птицей, учился быть рыбой, земляным червем мог обернуться. Как с ума спрыгнул, такие странные запахи распространял, наводил память. Стал шаманом.

Рассказал о бывшем ребенке по имени Кутличан.

Это ты таким рос, пояснил он, будто думал, что Кутличан не поймет.

Так много бегал по сендухе, рассказал, что все думали, ты дурак. «А ты просто любил бегать. Говорили, воином вырастешь, а я думаю, будешь пастухом».

«Почему пастухом?» — спросил Кутличан.

Но ворон не ответил, вспомнил недавний праздник.

«Разве праздник — это только то, что было?» — совсем удивился Кутличан.

Ворон покивал: «Для тебя — да». И добавил: «Крух! Скоро ты многое забудешь. Тебя недавно тяжелым били по голове, потом сухожилия ножом резали. От такого сам Погиль, — вслух произнес — Пон, — недопомогает».

Забормотал негромко: «Пон йуолэч... Пон эмидэч... Пон тибой...» Потом сказал: «Крух!» И рассказал о празднике.

«Кто победил?» — спросил Кутличан.

«Вот видишь, ты уже такое важное не помнишь. Ты победил. Но если такое не помнишь — это хорошо, скоро забудешь и девушку. Все видит Погиль, все правильно делает Погиль». И добавил: «Сюда скоро дед сендушный босоногий придет, тебя съест».

«Этот не съест. Он отец друга».

На всякий случай попросил про себя: «Духи зверей, духи быстрых птиц, пожалейте, сердце сделайте». А ворон (будто расслышал) рассказал про вертких и быстрых птичек, у которых Кутличан птенцов не ел. «Крух! Вечно проявлял слабость, потому, думаю, не воином станешь, а пастухом. Я когда сюда летел, многие птички жаловались, что тунгусы тебя скоро зарежут или уже зарезали. Любят острое. У них даже скулы острые». И еще рассказал о большом медведе, который учил Кутличана бегать по сендушным кочкам, укреплять юные кости.

«Что еще видишь?»

«То, что будет».

«Мне скажи».

«Этого не скажу».

«Почему?»

«Ты тут еще».

«Наверное, ненадолго?»

«Об этом шамана спроси».

И строго напомнил: «Крух!»

И напомнил: «У тебя сухожилие на одной ноге только на нитке держится».

Напомнил: «Тебе сейчас ходить нельзя. Тебе сейчас не надо ходить. Это плохо. Не будешь ходить — придет красный червь и полакомится тобой. Зря, Кутличан, не убил красного полосатого червя, пока он спит, проявил слабость. Скоро красный червь проголодается и к тебе придет. Помнишь красного червя?»

18.

Некоторое время, наверное долго, Кутличан находился в темном забытьи, а очнувшись, увидел себя в другом месте. Лежал на коричневой ровдуге, брошенной прямо на землю. Голова болела и кружилась, но, может, так и надо? Рядом ураса темная, вокруг деревянные идолы, дымом пахнет. Кутличан даже закрыл глаза, очень плотно закрыл, потому что, если оказался в нижнем мире, открытые глаза не нужны. В нижнем мире бывший человек видит только плотно закрытыми глазами, все остальное — обман.

Подумал: вот до каких мыслей я дожил, оставаясь чистым человеком, не совершившим больших грехов. И подумал: все равно стану большим воином. Даже шевельнул левой ногой, потом правой. «Как, чувствуется?» — спросил бы тунгус с выдающимися острыми скулами. «Хэ! Чувствуется», — ответил бы. «Вот я сделал тебе отметку о своем гостевании», — сказал бы, наверное, тунгус.

Это хорошо, подумал Кутличан, что в нижнем мире широко открытыми глазами смотреть не надо, потому что увиденное открытыми глазами — обман. Всегда обман. Человек в балахоне с бубном и колотушкой тоже, наверное, обман, с железными подвесками, которые гремят при пляске.

«Дергэл! Дергэл!» Некоторые ночь напролет могут наслаждаться звуками шаманского бубна. «Хэруллу! Хэруллу!» Совсем настоящий шаман, прыгает как чесоточный. Высокими криками и прыжками показывает, где он сейчас странствует, что с ним сейчас происходит, у ног мешочек с костями. Может, пришел помочь, отца помнит? «Духи зверей, духи быстрых птиц, пожалейте меня, сердце шаману сделайте. Я идти хочу».

«Крух! Куда идти хочешь?»

«Мне теперь в нижний мир надо».

«Тебе сухожилия перерезали».

«Все равно надо идти».

«Худиэ! Худиэ!» Шаман приседал, растопырив колени.

«Хэруллу! Хэруллу!» Шаман взлетал над землей как черное пламя.

Звуки бубна даже мышей загнали под землю, одни комары зудели, дождь моросил.

«Духи земли, воды, духи мелкие, крупные, предков зовите», — взлетал шаман.

«Зачем просить? — Голова Кутличана кружилась. — Зачем предков звать?»

«Погиль, — тоже произнес — Пон, — услышь. Жаловаться хочу».

«Зачем жаловаться?»

Кутличану показалось, что он громко спросил, но на самом деле никто его не услышал. Хотя нет, черный ворон услышал, потряс перьево́й бородой. «Птицы, ко мне летите, — перевел Кутличану слова шамана. — Дикие олени, ко мне спешите, дед сендушный босоногий. Погиль, услышь. Пон, услышь. Всем духам-невидимкам укажи, пусть охраняют меня в движении. В нижний мир спу́сь. Сейчас в нижний мир спу́сь. Поднимите меня. Мать-лягушка, сядь у ног. Человека с надрезанным сухожилием поведу в нижний мир. Духи-невидимки, для людей новую айви готовьте. Новую душу готовьте. Поднимите выше гор... выше звезд...»

«Он хочет вернуть девушку Ичену?»

«Крух! — Ворон сильно удивился. — Зачем?»

«Она мне нужна. Не станет помогать — сам пойду».

«Тунгусы встретят — перережут второе сухожилие».

«Не боюсь. В нижний мир сойду, найду братьев Ичены».

«Один совсем не дойдешь».

«С Корелом дойду».

«Он медведь».

«Он рожден от человечесьей самки».

«Это для тебя так. А для тунгусов он медведь. Тунгусы в него оперенную стрелу пустят — он взревет, встанет на дыбы и упадет. И будешь опять один».

«Найду в нижнем мире братьев Ичены. С ними вернусь».

«Крух! — недовольно сказал ворон. — А ближе никого нет?»

«Нет, только в нижнем мире. Других нет. Ближе совсем никого».

Кутличан опять вспомнил праздник. Ближе правда никого нет. Вот какой смелый юноша, дразнили его недавно на празднике. Вот молодой, а хочет много. Ездит с отцом на тальниковой нарте, а хочет другую. Подумал, на обратном пути обязательно подберу березовые полозья от нарт старого Мачекана: тому они больше не пригодятся, и красному червю не нужны полозья. На празднике надо мной смеялись. Особенно хромой богатырь смеялся, наклонял голову в хромую сторону. Только мохнатый Корел не смеялся и Тебегей, дудки-омок, с братьями Ичены смотрел участливо. «Возьми, молодой юноша, самый малый камень, мы засчитаем». Боялся, крепкая ли у меня кость. А хромой возражал: «Пусть сломается». Будто сам думал о девушке Ичене. Такой сам войдет в полог. Меня оттолкнет, скажет: это ты хромой, а меня таким природа изобрела, сам возьму девушку. И будет Ичена с таким жить. «У меня хороший муж, — будет говорить, — меня не отдает обыкновенным людям, а только самым лучшим. Если хромой Кутличан придет, — будет говорить, — передник не сниму, не пуцу в полог».



«Крух!» — подтвердил ворон.

И подсказал: «Не говори с шаманом громко».

Подумал и еще подсказал: «Что скажет шаман, Кутличан, то так и делай, только громко не говори. У тебя душа, айви называют, сейчас слабая, она с подрезанными сухожилиями. Испугаешь шамана — он ее навсегда проглотит».

«Худиэ! Худиэ!» — бил шаман колотушкой.

«Это он с духами говорит», — с уважением перевел ворон.

«Дергэл! Дергэл!» Плыли запахи над землей: несвежей талой воды, мятого влажного ягеля, оленьего пота, холодной смерти.

«Пойду в нижний мир за братьями Ичены, — слабым голосом объяснил Кутличан. — С Корелом пойду, приведу братьев Ичены».

«Хэруллу! Хэруллу!» — вскрикивал шаман.

Ворон раздраженно потряс перьевой бородой.

«Хромой и медведь. Крух! Кто таких в нижний мир пустит?»

Кутличан закрыл глаза: шаман вдруг показался ему чесоточным.

Поможет такой? Как понять?

«Худиэ! Худиэ!»

Смотрел на шамана закрытыми глазами, видел черное пламя.

«Хэруллу! Хэруллу!»

Бубен гремит, голова кружится. Луна в небе не оглядывается, как Ичена на празднике.

«Дергэл! Дергэл!»

Почему всё не так?

«Наверное, сам поползу», — шепнул, чтобы не испугать шамана, но тот услышал и взметнулся черным пламенем прямо под луну, затмил ее свет. Ураса, окруженная небольшими деревянными идолами, показалась Кутличану совсем маленькой, а шаман рукой легко коснулся луны — вот какой сильный, как мячика коснулся. Такой может коснуться даже девушки Ичены. Как черное пламя взлетает, гремит бубном, кружит над пораженным вороном.

«Дергэл! Дергэл!» — такой может коснуться девушки.

«Кухиа! Кухиа!» — такой обязательно приведет в нижний мир.

«Хэруллу! Хэруллу!» — такой вернет братьев Ичены, сделает их товарищами.

С братьями Ичены легко догону тунгусов. По запаху пойдём, сухим толченым мухомором силы будем поддерживать. Пением, пляской, ударами в бубен шаман поднимет преследователей над мокрой землей, над кривыми ондушами, над плоскими озерами, вступит в переговоры с невидимыми духами. Что захочет, то им скажет. Братья нужны девушке Ичене, у которой всех убили. Вот, скажет невидимым духам, молодой хромой будущий пастух ищет товарищей. Отца девушки нам не надо, оставьте себе, он старый, отдайте только братьев. Это ненадолго. Они отнимут у тунгусов свою сестру — вернуться. А хромой охотник тоже придет в нижний мир, но потом, позже, когда ребенку молодую душу подарит. И девушка Ичена придет в нижний мир, но тоже потом, позже. Старуха

стражница перевезет всех в нижний мир на лодочке. И тунгусов можете взять. Сразу всех, ни одного не жалко. Кутличан и братья помогут перегнать остроскулых тунгусов в нижний мир. Эхое! Мы всегда окружены врагами.

«Как долго ползти до нижнего мира?»

«Это временем не определяется».

«А иначе никак?»

«Иначе никак».

Покачал головой. Все равно Ичену освобожу.

Все равно в нижний мир проползу между кочками на брюхе.

Сильный шаман будет прыгать, метаться, вскрикивать, сильно стучать колотушкой в бубен, тянуть за уши Кутличана. Этот шаман чесоточный только с виду. Один мидоль, один дневной переход, если ползти — проползу. Потом еще два мидоля, два дневных перехода, проползу. Тени собак залают, тень сказочной старушки неслышно навстречу выйдет, откроет сумеречные глаза. «Навсегда пришел, Кутличан? — спросит. — На время пришел?» Он ответит. «Моя прабабушка, — с уважением ответит, — узнать пришел». Она скажет: «Тогда говори свое». И он скажет.

«Хэ! Такое узнать — надо идти дальше».

Если до реки доползу, значит, и дальше сложится.

Старуха стражница перевезет на другую сторону в безмолвный нижний мир.

Раз ворон говорит — крух, значит, старуха перевезет. А я крикну громко — ку-ку, чтобы стражница обратила внимание. Кутличан даже шепнул ку-ку про себя, но чуткий ворон опять услышал. Наклонил тяжелый клюв: «Крух! Не говори так. Даже не думай так. Кукушка — шаманская птичка. Никаким словам кукушки не подражай, а то с ума сойдешь или умрешь просто».

19.

Луну затионуло. Ногу дергает боль.

Кутличан полз по мхам, по звуку бубна.

Под пальцами — мелкие лужицы, снулая рыба. Рыжая лисица-шахалэ твердыми когтями разрывала гнилые кучи, переворачивала щепки, исследовала извилистые мышинные норы, иногда поднимала голову, будто спрашивала: «Это кто там ползет? Это кто там чужой ползет?»

Сказочный старичок чулэни-полут сидел на голом берегу.

Чулэни-полут совсем как человек, только крупного роста. Голова круглая, как тундряная кочка, спутанные волосы вниз висят. Такой убитого лося носит привязанным к ремешку кафтана, человека ест с аппетитом.

Обрадовался: «Ты пришел?»

«Хэ! Я пришел».

«Что видел?»

«Убили всех».

«Что слышал?»

«Дудки-омоков убили».

Берег печальной реки усыпан черной галькой.

Сказочный старичок сказал: «Тебе здесь нельзя».

Нехорошо засмеялся, потертую меховую кукашку поправил.

«Сядь на камень, — пожалел. — Тебе здесь нельзя. Все равно нельзя. Скоро старуха стражница на лодочке явится, всех увозит в нижний мир. Не торопись, тебя не упустит. Вижу, сухожилие у тебя на ноге порезано, все равно не торопись. И хромые иногда хорошо живут, я про такое слышал».

Вспоминая, облизнул узкие губы: «Почему сам пришел?»

«С шаманом теперь дружу. Братьев дудки-омоков хочу вернуть».

«Из нижнего мира никого не возвращают, даже братьев. — Чулэни-полут с пониманием почмокал длинными узкими губами. — Ты, чувствую, теплый. Если тебя съем, попадешь в нижний мир быстрее».

«Хэ! Пусть стражница перевезет».

Сидели на берегу, молчали. Не знали, что сказать.

Потом послышался всплеск — тихий, ровный. Так весло ударяет в воду, когда не торопятся. Звук шаманского бубна, потом всплеск. «Хэрулу! Хэрулу!» И снова всплеск. Это, наверное, стражница ехала.

«В лодку сядешь, шаман на нашем берегу останется, — тихо зевая, сказал чулэни-полут. — Если идешь в нижний мир, он у нас останется. Пусть камлает, пока ты в нижнем мире находишься. Только торопись. Сколько шаман камлать сможет, он сам пока не знает, наверное сколько хватит сил, а их у него немного. Не успеешь к нам вернуться — никогда не вернешься».

«Дергэл! Дергэл!» Шаман как черное пламя разрезал тьму.

Совсем черное разрезал своим совсем черным, даже глазам больно.

Кутличан видел голову черную, круглую. Видел кафтан с черной бахромой, черную колотушку, черный бубен — все черное, все обдавало страхом, гнилью, удушьем, лисица-шахалэ испуганно поджимала хвост.

«Мне в нижний мир надо», — сказал Кутличан.

Знал, что эти слова можно не произносить, шаман и без слов все знает, но на всякий случай произнес — боялся, шаман забудет. А такой не забудет. Видно, что шаман совсем не чесоточный. Умеет становиться рыбой, и земляным червем может обернуться, и птицей, у каждого своя память. Плохим запахом все вокруг заполнил, будто в реке сразу вся рыба сгнила. И старуха в деревянной лодочке подплывала совсем гнилая, рыхлая, звала открытым беззубым ртом. «Где, — звала, — мой хромой?» Даже стало тяжело дышать высоко пролетающим птицам, пробегающему зверю от запахов, которые неустанно творил шаман. Не зря он три года томился на цепи в отдельной уресе, скакал на одной ноге, ругался с невидимыми духами.

Гнилая старуха протянула руку.

Спросила: «Ты мой хромой?»

«Я хромой Ичены».

«Она тоже моя будет».

Вдруг разглядел, что не было у стражницы никакого весла, только ладони широкие с зелеными перепонками между пальцами. Смотрела ласково, но даже на такой ласковый взгляд Кутличан отвечать не стал: нога болела. Смотрел на лодочку — узкая, утлая. Как в такой пораненную ногу вытянуть?

«А ты садись. Я таких, как ты, иногда по десяти в лодочку наваливаю, — похвасталась стражница. — Буду звать тебя — мой хромой».

«Хэ! Не буду откликаться».

«Тогда не попадешь в нижний мир».

«Хэ! В реке утоплюсь, водой принесет».

«Тогда в средний мир не вернешься. С твоей Иченой будут тунгусы жить».

«По звуку шаманского бубна сам реку переплыву».

«Я рядом в лодочке поплыву, топить рукой буду».

«Шаман тебе не позволит. Скажет: хэруллу!»

«Что ты! Что ты!» — испугалась старуха.

«Скажет: дергэл!»

«Что ты! Что ты!»

«Скажет: худизэ!»

Стражница совсем испугалась.

А Кутличан вспомнил, как сильный шаман водил одулов через море.

Очень сильный шаман. Ехал впереди на олешке верхом, на голове рога, прямо по воде ехал. Тряхнет громко бубном — за ним сразу замерзает ледяная дорожка, одулы спешат, торопятся, никто не боялся, шли за сильным шаманом. И Кутличан сейчас не боялся стражницу.

Она это почувствовала.

«В нижний мир придя, что будешь делать? Сколько жить будешь?»

«Хэ! — ответил. — Сколько надо».

«Чего просить будешь?»

«Братьев Ичены. Сразу двух. С ними пойду к тунгусам. Увижу самого плохого, скажу: ты много убил дудки-омоков, ты много пролил крови. Так прямо скажу и ударю ножом в сердце. Наконец воином стану. Скажу убитому: отправляйся в нижний мир к отцу твоему, к твоей матери. Ты сразу всех получишь».

С этим стражница согласилась.

«Мы многих ждем».

20.

Плыли в лодочке.

Все движется, а течения нет.

Долго по берегам тянулись высокие осыпные яры.

Вода черная, сеть забросишь — выловишь разве утопленника, но утопленник не рыба, да и стражница все равно отберет. Тихо-тихо кругом. Плынешь по темной плоской реке, старуха стражница гребет голой перепончатой рукой, а на самом деле медленно спускаешься в нижний мир.

Наконец вдали, в облаке ужасного запаха увидели каменистый берег, там же урасы, крытые призрачными ровдужными покрывками, люди рядом, или тени людей. Звенят железные украшения, или тени железных украшений. Все смотрят на подплывающую лодочку, приставляют ладошки к узким глазам, сорока-караконодо на ветках корявой ондуши застрекотала, весь нижний мир застлало низким плотным туманом — так много духов-невидимок выбросилось в воздух. Некоторые тени смотрели на прибывшего с завистью. Кто-то произнес: «Совсем один едет. Нас на Алазее было много, а когда умерли, всех свалили в одну лодочку».

Глядя на бедность теней, стражница сказала: «Вот встречают нас, Кутличан. Сам Остроголовый, дух нижнего мира, смотрит из тьмы. Ты его видеть не можешь, но у него фигура как у человека, с двумя руками и ногами, только голова острая, длинная и во рту один зуб. А глаза маленькие, круглые, как шилом проткнутые, в любой темноте видят. Что хочешь у него просить?»

«Братьев Ичены».

«Почему братьев?»

«У них тунгусы увели сестру, отца убили, их самих убили».

«Это ваши человечьи споры. Это споры среднего мира».

«Хочу взять братьев. Они тунгусов видели в лицо».

«Пусть тебе здесь расскажут».

«Без братьев не справлюсь. Убью не тех. Упомянутые тунгусы мне сухожилия надрезали».

Ступил на берег. Смотрел на колеблющиеся тени. Дивился, какие угрюмые, некоторые, наверное, еще не привыкли.

«Куда надо пойти, чтобы спастись?» — спросил кто-то из призрачной и колеблющейся толпы. — «Куда надо пойти, чтобы стать человеком?»

Кутличан не знал, а старуха стражница промолчала.

«Ты, наверное, алай, — сказал кто-то из толпы. — Вижу, что ты чистый алай. А я был пастухом у одного чюхчи, теперь здесь пасу. За один день мог дойти от Алазеи до Чухочьей».

Говорил колеблющийся коротко, часто пропускал слова, получалось не совсем понятно. Вот он вроде из рода зайцев-ушканов. Да, так. Всем известно, что заяц-ушкан труслив, зато хитер. А другие роды: анид-омо — рыбий и эдьид-омо — нартенный. Они трусливые и хитрить не умеют. Говоривший все перепутал, застенялся, стал ругать тунгусов, будто недавно видел здесь одного, стражница привезла. Все равно при ссоре тунгуса с якутом помог бы тунгусу, наверное, его кровь ближе к ушканам. Перескочил на другое. Потом на третье. Начал рассказывать про далекое родное стойбище, но и тут сбился. Вот будто жили у них на озере особенные половинчатые люди, умели расщепляться. Живут на деревьях, пугливые. При малейшем шуме расщепленные части соединяются и люди ныряют в воду.

«Где видел тунгуса?»

«Тут недалеко ходит».

Поморщился: «Это ты плохой запах принес?»

«Не совсем я. Это так мне шаман дорожку делает».

Про себя Кутличан молил: «Солнце-мать, твоим теплом нас согрей, питание твоим теплом нам дай!» Боялся нижнего мира. Все колеблются, все призрачные. «Откуда бы ни было приходящее зло, в сторону направо».

И увидел братьев дудки-омоков. Совсем как на празднике. Только тоже, как все, колеблются, невесомые, как от ветра.

Спросил с неудовольствием: «Нож держать можете?»

«Нам этого не надо», — коротко ответил старший дудки-омок.

«Хэ! — удивился. — Даже очень надо. За вами пришел, поведу на тунгусов. У них сейчас ваша сестра Ичена. А сами тунгусы с копиями, с луками, с ножами — что сделаете против них голыми руками?»

Младший засмеялся: «Мы вот что сделаем».

Вспрыгнул на плечи Кутличана и посмотрел в глаза.

Кутличан обмер. Будто заглянул в ледяную чёпку, в черное холодное озеро среди сендухи — такие глаза, ничего не видно, а страшно. Когда наклонишься к чёпке, всегда страшно, а тут еще страшней. Мир совсем маленький, в нем многое делать нельзя. В чёпку не гляди долго. По следам чулэни-полута не ходи. В морозную ночь не поднимай глаза к звездам — душа остынет, исцарапается. Морозной ночью прячься в ровдужной уресе, топи очаг — все равно страшно. А тут, в бездонных глазах мертвого дудки-омока, маленький страшный мир расширился, стал безмерным. Вот только что был совсем небольшим, совсем уютным. В таком можно идти пешком, ехать на олешках, плыть по сендушным речкам. С одной стороны маленький мир заканчивается лесом, с другой — ледяным морем; с одной стороны обрыв в нижний мир, с другой — гора в верхний. Алайи по всему своему маленькому миру кочуют, потому что другого мира нет. От края до края кочуют одни, потому что других нет. Когимэ кочуют тоже одни, черные как вороны. К восходу — ходынцы, за ними чюхчи, они здороваются: «Етти!» — лучше бы не здоровались. Некоторые слабые умом, другие злые. Ближе к лесам злые тунгусы ходят, на кожаной веревке водят девушку Ичену. У каждого на плече сидят невидимые духи — нехорошо всматриваются в чужих. Ой-ой-ой, Кутличан, шепчут, пугают, машут невидимыми ручонками, ой-ой-ой, Кутличан, возвращайся в свой средний мир.

Потряс плечом: «Спрыгни с меня, дудки-омок».

Потряс плечом: «Вернем Ичену — родичами станем».

Дудки-омок спрыгнул очень довольный.

Кутличан спросил: «Где тунгус?»

«Сейчас придет. Зовут Голга».

Думал, придет дрожащая тень, усталая тень.

Знал: тунгусы охотятся в одиночку, в нижний мир падают усталыми.

Когда охотятся втроем, много гоняют дикого зверя, устают еще больше.

Очень ценят первую охоту. Первая охота обязательно должна быть удачной. Есть такие тунгусы, что хватают на бегу дикого оленя, пере-

брасывают напавшего медведя через колено. От этого устают. Рогатина или лук — всем владеют удачно. Обманывают зверя, накидывают на себя шкуру с головы оленя, качают рогами, говорят: «Дылача юрэн», а звери думают, что это правда солнце взошло. Добра тунгусы не имеют, всё при них. Увидят молодого дудки-омока или молодого шоромбойца — насильно дают нести свои тяжести. Видят чужую женщину — насильно делают своей. Только с темного заката не берут жен, таких ножом колют. По маленькому миру неутомимо идут, ищут сотрапезников: одним в мире страшно.

Протолкалась сквозь толпу призрачная тень.

Заколебалась, глядя на Кутличана.

Кутличан удивился.

«Ты Голга?»

«Зачем тебе?»

«Девушку Ичену ищу».

«В нижнем мире ее нет».

«С кем она? На чье имя идти?»

«Иди на имя Носуги. Или на имя Ириго. Это тунгусские братья мои родные. Всегда хотели втроем жить с этой Иченой, но меня позвал дух — с помощью ножа».

Слушая тень тунгуса, другие тени заволновались. Кто-то невидимый опять негромко спросил: «Куда нам надо пойти, чтобы спастись? Куда надо пойти, чтобы стать человеком?»

Но этого ни Кутличан, ни кто другой не знали.

«Кто отправил тебя к старухе стражнице?»

«Совсем особый дух. Из лесов пришел».

«За лесами никого нет, так не говори. Известно, за лесом все кончается, даже мыши знают».

«А он пришел».

«И убил тебя?»

«И убил».

«А твои братья Носуга и Ириго?»

«Бежали в страхе, девушку увели».

«Они кочуют сейчас? Где они кочуют?»

«Думаю, близко. На том берегу в среднем мире. Не уйдут далеко, боятся чужих, пришедших из леса».

«Как чужие выглядят?»

«Строгие. У рта мохнатые».

Кутличан протянул руку, чтобы задушить тунгуса, но рука прошла насквозь.

Младший дудки-омок, глядя на это, прыгнул на плечи, чтобы взглянуть тунгусу в глаза, но прыгать было совсем не на что — воздух в воздухе. Не прыгнешь на пустое место.

«Берешь нас?»

«Беру», — сказал Кутличан.

Но отдавать братьев не захотели.

Наверное, Остроголовый не захотел отпускать.

Многие тени вокруг заколебались, как маленькие темные облака, как облачка, размазанные ветром, может, завидовали, сами хотели вернуться. Перешептывались: «Куда надо пойти, чтобы стать человеком?» Не хотели отпускать даже Кутличана. Стенали: «Нас возьми». Не хотели отпускать братьев дудки-омоков.

Правда, старший брат Ичены сам отказался уйти.

«По плохому следу ты пришел. Не пойду с тобой. Запах среднего мира не терплю».

Тени стали еще сильнее просить. Стенали жалобно: «Кутличан, уведи нас. Уведи обратно в средний мир — по звуку бубна». Гнилая старуха стражница тоже колебалась, тянула зеленые перепонки. Многие миллионы теней и невидимых духов жадно, как облако невидимой мошкары, клубились, подталкиваемые мутным дыханием близкой реки.

«Уходи, а то задержим».

«Пока бубен слышно, не можете».

«Шаман скоро упадет», — сказала старуха стражница.

Бубен правда звучал все реже, все задумчивей, все отдаленней. Тени плотно загораживали обратный путь. Схватить Кутличана никто не мог, но тени клубились грозно. Чтобы вернуться как хотел, пришлось глубоко вздохнуть. Вздохом глубоким тень младшего дудки-омока в себя вдохнул, уши и нос плотно заткнул пальцами, чтобы нечаянно с дыханьем обратно не выдохнуть.

Крикнул: «Хэ! Шаман!»

Крикнул: «Тяни меня в средний мир!»

21.

Опять очнулся.

Большое время прошло.

Не знал, сколько прошло, но много.

В голове звучал бубен, но уже не настоящий, а так, далекие отзвуки. Или, может, это боль ходила, кровь в жилах. Все вокруг деревянное. Вся ураса необычная — вся сделана из дерева, в очаге огонь, у тунгусов такого нет. Куда попал, непонятно. Шаман никогда не знает, куда вытянет спасаемую душу из нижнего мира. На этот раз, кажется, вытянул на край леса, иначе где взять столько дерева? Кутличан шел на имя тунгуса Носуги, шел на имя его брата Ириго, хотел девушку Ичену вернуть, а лежит на ровдужных шкурах, тепло, сумеречно, дым уходит в потолочное отверстие. Помнил, что сильно хотел убить тунгусов. Или убил уже?

Пахнет варевом и мышами. Траву, наверное, варят.

Незаметно приоткрыл глаза. Сильно травами пахнет. Старший брат Ичены правильно сделал, что в средний мир не пошел. От такого сильного запаха мог замертво упасть, не надо такому в средний мир. Пошел бы с Кутличаном — совсем пропал. Запахи истребили бы старшего дудки-омока, вывернули как грязный мешок.

Услышал шорох. Никакой особенной тяжести, но плечо почувствовало.

Наверное, дух младшего дудки-омока по привычке вспрыгнул на плечо, хотел заглянуть в глаза Кутличану, но не стал — побоялся, что испугается.

«Я опять умер?»

«Ты опять живой».

«Наши голоса слышат?»

«Мой — нет. Твой — могут услышать».

«Почему ты здесь? Где мы? Почему ты со мной?»

«Ты сам так хотел. Мы с тобой в средний мир вернулись».

«Значит, еще не совершил того, что хотел», — пожалел Кутличан. Медленно попробовал одну руку, потом другую. Потом ногу пробовал, особенно левую. «Значит, не вышел еще на имя братьев тунгусов, они с твоей сестрой спят».

«Это не совсем так».

«А как?»

22.

Дух младшего дудки-омока рассказал.

Шаман выдернул Кутличана из нижнего мира прямо к деревянной урасе.

Вокруг бесновались тунгусы, пускали стрелы. Самый смелый запрыгнул на плоскую крышу, пускал стрелы в дымовое отверстие. Звали самого смелого Носуга — очень злой, убивал каждой стрелой. Брат указанного, зовут Ириго, смеясь, колот коротким копьём выскакивающих из урасы. Давно с удовольствием ждал такого. С самого утра тунгусы обложили деревянную урасу, терпеливые, как щуки. Вышел из дверей у рта мохнатый, недавно проснулся, стал мочиться — в него пустили стрелу.

Это было ошибкой, сказал Кутличану дух дудки-омока.

Тунгусы терпеливые, долго могут ждать, а потом сами все портят.

Вот ждали терпеливо всю ночь, все утро, никто их не видел, не слышал, зачем сразу пустили стрелу? У рта мохнатый вскрикнул, ввалился обратно в дверь. Тунгусы с криком бросились к стенам, Носуга с крыши в дымовое отверстие стрелял, его никак не могли сбросить, а Ириго с родичами окружили выход, прыгали и взмахивали копьями. Все равно всех переколем — так считали. Скоро зима придет с моря, принесет снег, заберем припасы чужих, олешков угоним. Брат Носуга от таких хороших мыслей еще сильнее торопился. Смотрел с крыши вниз на брата Ириго, думал: когда вернемся на стойбище, первым войду в полог к отобранной у дудки-омоков девушке. Когда со стороны леса потянуло тяжелым невкусным запахом, Носуга даже не удивился. Он чужих плохо знал, может, это они так боятся. А на самом деле это шаман вывел Кутличана в облаке тяжелых запахов на деревянную искомую урасу. Коротким копьём, отобранным у повалившегося тунгуса, Кутличан замахнулся на Ириго,

только брат Носуга это увидел с крыши. Хотел крикнуть вниз брату: «Берегись!», но дух младшего дудки-омока ловко вспрыгнул на плечи и заглянул в глаза Носуге.

«Я знаю, что Носуга увидел в моих глазах, — немного хвастливо шепнул Кутличану младший дудки-омок. — Он увидел, что никогда больше не войдет в полог девушки Ичены. От этого стал кричать, забился, упал с крыши. А я снова вспрыгнул на его отяжелевшее плечо и снова внимательно заглянул в глаза, хотя мог не заглядывать. С ним болезнь сделалась, умопомрачение. Бросил лук и побежал в лес. Будет тунгусским шаманом, если не умрет. Будет три года прыгать и бегать, потом его подберут, станет шаманом. Он столько увидел в моих глазах, что в нижний мир не скоро пойдет».

«А Ириго?»

«Ты не помнишь?»

«Этого совсем не помню».

«Ты его гонял по поляне, — негромко сказал дух дудки-омока. — Хромал, но гонял. Тунгусы отошли на край поляны, из деревянной урасы у рта мохнатые выглядывали. А ты хромал, но наступал грозно, — одобрительно сказал дух дудки-омока. — Ты сильно хромал, Кутличан, это так. Ты трижды уколол тунгуса. Ириго хотел уже склониться, хотел бросить свое копье, но тебя нога подвела. У тебя одна нога подрезанная. Как ты совсем не порвал подрезанное свое сухожилие, не знаю. Ты споткнулся и упал ничком, а тунгус занес копье. Мог пробить насквозь. Он занес копье и очень обрадовался, что отныне один будет входить в полог Ичены».

«Наверное, вошел?» — горестно спросил Кутличан.

«Скажу — нет. На этот раз не успел».

«Как так?»

Дух дудки-омока рассказал.

Он будто бы увидел занесенное копье и рассердился.

Известно, чем дольше душа покойного задерживается в среднем мире, тем злей становится. Тунгусы, пораженные падением и бегством Носуги, стояли молча, опустив копья и луки. Из деревянной урасы в открытую дверь смотрели у рта мохнатые. Потом один вынес огнивный лук. Так его тунгусы называют. Тяжелый огнивный лук, по-другому — кремневое ружье.

Гром выстрела распугал тунгусов.

Убегали с криком, на бегу бросали оружие.

«Тогда вышли из деревянной урасы остальные у рта мохнатые, — негромко сказал дух дудки-омока. — Долго смотрели на тебя, Кутличан. Потом начали говорить по-своему. Я подумал, что это они договариваются тебя съесть, а они внесли тебя в деревянную урасу. Там на поляне три таких урасы, называют — острожек. Я подумал, теперь уже, точно, убьют тебя, а они отвар травы дали тебе, мясо сварили. Ты этого мяса поел, в твоей голове посветлело, и ты уснул. Я, невидимый, сел в изголовье, а снаружи закричали: «Медведь!» А кто-то ответил: «Что ты, что ты!» Они по-своему закричали, но я сразу понял, что увидели твоего Корела.

«Шел меня спасти?»

«Сейчас уже не знаю».

«Его испугали? Он ушел?»

«Они снова огнивный лук вынесли».

Кутличан заплакал. Оказывается, голову Корела повесили на воротах.

Он не хотел плакать, но в маленьком мире столько зла и все часто идет совсем не так, как нужно. Это, наверное, потому что шаманов мало, решил он, иначе все ходили бы строго по запаху и звуку бубна. Но столько шаманов в маленьком мире нет, не наберется, потому ничего не получается. Кутличан сильно жалел Корела. Думал — это неправильно. Это неправильно, что мир так устроен. Потом стал думать о девушке Ичене. Это тоже неправильно. Кто захочет войти в полог девушки Ичены — так сразу умирает. Наверное, и я скоро умру.

«Зачем они убили Корела?»

«Для них он просто медведем был».

23.

Открылась дверь.

В урасу вошел человек.

В летней кукашке, длинное лицо, волосы как у ворона, только у ворона не волосы, а черные перья с отливом. Посмотрел на Кутличана, успевшего закрыть глаза. Посмотрел на тлеющий огонь в очаге. Больше ничего не заметил. А Кутличан из-под опущенных век тихо рассматривал у рта мохнатого и думал, что, может, это он убил Ириго. Тунгус мог убить Кутличана, а чужой взял его под защиту и убил Ириго. И еще подумал: другой тунгус, который Носуга, бегают сейчас в лесу от дерева к дереву, стенает. Потом Носугу поймают, привяжут к столбу в отдельной урасе. С пеной у рта Носуга будет грызть деревянный столб, плакать и прыгать, но не уйдет, не сможет.

Вспомнил, что после смерти шамана с него сдирают кожу и натягивают на деревянную основу. У настоящего нового шамана должен быть только такой бубен. С белых костей особыми каменными ножами соскабливают мясо, кости держат в кожаном мешочке. «Огонь-бабушка, худое будет — в другую сторону отверни. Хорошее будет — к нам поверни». Пройдет время, отпустят привязанного к столбу, начнет бывший тунгус бесноваться, прыгать как птица, одну человеческую душу спасет, выведет из нижнего мира, другую отправит к праотцам. Станет сильным шаманом. Но наш алайский шаман сильнее, он никого не обманул. Так сказал: «Это теперь новый народ встретите». Все дивились таким его словам. «Почему новый? Какой новый?» Все храбрились: «Не боимся, даже если совсем новый». А шаман прыгал как птица, тряс кожаным мешочком с костями. «Это теперь совсем новый народ придет. Против него ничего острого не направляйте. Конца не будет новому народу — так много. Сендуха, как черными пятнами, покроется чужим народом. Некоторые с заката при-

дут. Некоторые со стороны леса придут. Старые пепелища обнюхивая ходить будете».

«Каким нравом новый народ, какой наружности?»

«Нравом совсем строгие. На вид — у рта мохнатые».

Такие они и были. Шли не торопясь, твердо ступали.

Но как, откуда такие пришли? Где могли такие взяться?

Мир совсем маленький, весь на глазах — от ледяного моря до лесов.

Ничего другого особенного в таком нашем маленьком мире нет, только одна обширная сендуха, по ней бродят олешки, дед сендушный босоногий, ворон иногда крикнет: «Крух». Никого не видно со стороны нижнего мира, только дети мертвецов подглядывают. Никого не видно с горы, ведущей в мир верхний. Пон йуолэч... Пон эмидэч... Пон тибой... Пон почернел... Пон дождит... Пон светает... Хороший маленький мир, чужих не надо. Понятный мир, даже тунгусы его не испортили. Ну, убили отца Ичены, так бывает. Ну, красный полосатый червь съел старого Мачекана, так бывает. Ну, я хотел тунгуса Носугу убить, не сумел, а человек с огнивым луком убил Ириго. А другие у рта мохнатые убили названного брата Корела. А еще другие, может у рта мохнатые, убили красного полосатого червя. Так все и идет. Простой и понятный мир. На реке старуха стражница неторопливо встречает спускающихся в мир нижний, некоторых накладывает сразу по десятку в свою утлую лодочку.

Откуда пришли у рта мохнатые?

Где такие взялись?

24.

С закрытыми глазами можно хорошо видеть в нижнем мире, это с открытыми ничего там не увидишь, только один туман. Кутличан в деревянной урасе лежал с открытыми глазами, закрывал их, только когда приходил у рта мохнатый. Делал вид, что спит, что ничего не чувствует, но чутко прислушивался, начинал даже понимать некоторые слова, потому что дух младшего брата Ичены постоянно помогал, рассказывал, что видит снаружи.

Снаружи видел чужих, в сендухе их называют таньга.

Про лежащего в деревянной урасе Кутличана таньга говорили: этот встанет, обязательно будет у нас пастухом, будет пасти олешков. Никто не догадывался, что Кутличан рос, чтобы стать воином. Просто никак у него не получалось. То красный полосатый червь помешает, то тунгусы. Вот убили отца Ичены. Кутличан даже в нижний мир спустился за братьями Ичены, чтобы отомстить, чтобы вернуть Ичену. Обрато в мир средний вернулся по запаху и звуку бубна, а у рта мохнатые одно говорят: он встанет, пастухом будет. Незаметно следил за таньга. Уже знал: у них топоры железные, огнивные луки, против них нельзя направлять ничего острого — сразу ответят огненным боем. От младшего дудки-омока знал, что рядом с деревянной урасой стоят еще две. В одной отдыхают у рта мохнатые, таньга, в другой томятся заложники-аманаты — чтобы родичи несли ясак.

«Будете платить шкурками и шкурами», — сказали аманатам чужие.
 А Кутличану сказали: «Встанешь — переведем тебя в другую урасу.
 Все несут ясак, все нам задолжали. И ты понесешь».

Ответил через духа дудки-омока: «Мне нечем».

Сказали: «Тогда будешь пасти олешков».

Сказал: «Я совсем хромой».

Сказали: «Значит, не убежишь».

Сказал: «У меня дело большое есть».

Разрешили сказать: «Тогда говори какое».

«Девушку Ичену хочу вернуть».

Спросили: «Зачем тебе это?»

Ответил: «Так должно быть».

Сказали: «Так не будет».

Добавили: «Теперь так не будет».

Удивился: «Почему так?»

«Тунгусы у нас под защитой. Тунгусы нам ясак несут».

«Это что значит? Я, может, тоже понесу то, что вы так называете».

«Ты сам сказал, что тебе нечем. А тунгусы исправно несут ясак,
 склонились. Шкурками и шкурами несут. Мясом и жирной рыбой. Де-
 вушка Ичена принадлежит им, значит, она тоже под нашей защитой.
 А тебя кто защитит?»

Кутличан ответа не знал.

Спросил: «Откуда пришли?»

«С заката. Из-за лесов».

«Там нет никого».

«Кто говорит?»

«Ворон».

«Убей его».

«Не могу убить».

«Тогда не спрашивай».

«Я девушку Ичену ищу».

«Девушка Ичена теперь под нашей защитой».

«Все равно я приду на имя тунгуса Ириго и отправлю его к старухе
 стражнице».

Так Кутличан думал про себя. «Глупые таньга. Берут ясак. За пар-
 шивые шкурки и шкуры отдают железный котел, которому век служить».
 Шептал про себя: «Солнце-мать, твоим теплом нас согрей. Приходящее
 зло в сторону направь». Закрывал невидящие темные глаза, будто пря-
 тался от всех, от всего мира.

Но однажды встал.

А потом чаще стал вставать.

Таньга такому радовались: «Вот хромой пастух будет».

Смотрели одобрительно. А один, с широкой бородой, глаза круглые,
 спросил имя, специальными значками отметил на листке серой бумаги.
 Такое страшное волшебство — смотрит на значок и без ошибки повторяет
 имя: «Кутличан».

Потом спросили: «Кто твои родичи?»

И Кутличан ответил.

«Ты к нам откуда пришел?»

«Я к вам пришел из нижнего мира».

Это всех заинтересовало. Стали трогать его руки, лоб. «Нет, — сказали, — ты теплый. Говоришь неправильно. Какой нижний мир? Разве оттуда возвращаются?»

«Шаман помог. Сильный».

«Зачем ходил в нижний мир?»

«Искал братьев Ичены. Хочу вернуть девушку».

Сказали: «Смирись. Девушка под нашей защитой. Пастухом будешь».

25.

Стал выходить из деревянной урасы.

Тихо в мире, будто нигде ничего не случается.

Медленный снег идет. Под снегом голова названного брата Корела висит на воротах, всем кажется — медвежья. Поставлен бревенчатый забор, вдоль ходит высокий таньга с сабелькой на боку, смотрит, покрикивает.

Старался не смотреть на голову Корела.

Левая нога все еще дрожала, плохо держала.

В верхнем углу темного неба стыдливо отворачивалась луна, очень похожая на девушку Ичену, стыдливо впускающую в полог тунгуса. Первый морозец нежно и остро пощипывал ноздри. Снег блестел. Где-то юагиры готовились зажечь огни.

Время опять шло. Медленный снег падал. Сендуха вымерзла.

Под зеленоватым сиянием блестели такие же зеленоватые льды.

Неожиданно мороз упал на землю — такой, что малейший шорох сам собой передавался на десятки верст кругом. Олешки дергали озябшей кожей, пытались согреться, выбивали копытами ягель из-под плотного снега. Дух младшего дудки-омока без всяких усилий переговаривался с нижним миром. Потрескивал выдыхаемый Кутличаном воздух. «Тебя, наверное, старуха стражница ждет, — сказал духу дудки-омока. — Выходит на берег, одиноко смотрит из-под руки. Река замерзла, лодочка не плывет, значит, на санках надо возить пришедших, наваливает сразу по десяти».

Так говорил вслух, чтобы не думать о девушке Ичене.

А как ее забудешь? Она как луна в первой четверти — смотрит с неба, наверное, никогда уже не повернется лицом к Кутличану. Дикий тунгус Носуга где-то бегают по лесу, может, люди его поймали, привязали к деревянному столбу, он прыгает на одной ноге как птица, учится тому, что будет. Из нижнего мира сердитые духи прилетают, садятся на плечо, ворон говорит: «Крух». Вечен и прост мир. Девушка Ичена из полога так глядит, что все мужчины, даже старики, умирают от страсти. В кипятке



вкусные шишки заваривает, напившись, ложится спать, разевает рот красиво, как рыба, нагрудное солнце снимает, готова передник снять.

«Разложи костер, Кутличан, — сказал однажды дух младшего дудки-омока. — Большой костер разложи, чтобы дымил прямо в небо».

Спросил: «Зачем такой костер?»

Дух дудки-омока ответил: «К сестре пойду».

26.

Разложил костер, дым пошел.

«Эмэй! — крикнул дух дудки-омока. — К тебе брат идет».

Дым поднимался такой густой, такой плотный, что прямо по нему дух младшего дудки-омока начал карабкаться вверх, все время вверх, чтобы последний край земли увидеть. Так высоко поднялся, что рукой коснулся луны. Она вся потемнела от дыма, покраснела от смущения. Из деревянной урасы высокий таньга вышел, у рта мохнатый вышел. Спросил стражника у ворот: «Зачем дым?»

Стражник ответил: «Алай дикует».

Кутличан не смотрел на них. Хотел видеть встречу брата с сестрой.

Вышедший таньга пальцами расчесал темную бороду, спросил Кутличана: «Нам знающий вож-проводник нужен. Ты местный. Поведешь нас?»

«Куда?»

«К чюхчам».

«Там ледяное море».

«На длинных санках пойдем».

«На море сумеречные ламуты».

«Легкие лодочки понесем с собой».

«Там некуда идти. Там все на краю кончается».

«Нигде ничего не кончается, — строго сказал у рта мохнатый и сплюнул. — Идешь, идешь, думаешь, правда все кончилось, за тем поворотом уже ничего нет, а там опять тунгусы и чюхчи».

Второй засмеялся: «Это хорошо. Будем брать ясак».

Перекрестил грудь, рот грешный. «Диких везде много, каждого приведем под шерть».

Кутличан уже знал: понесешь таньга ясак — возьмут под защиту.

Таньга засмеялся: «С нами пойдешь».

27.

А куда идти?

Не мог уснуть ночью.

С одной стороны обрыв в нижний мир, с другой — гора в мир верхний.

Из горы белый пар идет, снег всегда тает, трава не растет. Под обрывом вообще никого не видно, только дети мертвецов балуют. Мир маленький, ясный. У рта мохнатый не понимает, что мир действительно заканчивается с одной стороны темным лесом, с другой — ледяным

морем. А пойдешь в обход — непременно встретишь алайев, они свои. Шоромбойских мужиков встретишь, когимэ, черных как вороны. Никаких чужих, только свои. Пусть сердитые, но свои. К восходу встретишь ходынцев, дальше чюхчи. К этим Кутличан не хотел. Они живут во льдах под горой в верхний мир. У них олешки попьют морской воды — шерсть станет густой, зимой не мерзнут. На плече у каждого сидят невидимые духи — нехорошо всматриваются. Ой-ой-ой, не пойду в сторону чюхчей. У алайев, у дудки-омоков, даже у каменных людей, называют себя хойдэжил-омоками, духи мягче. Они ловят олешков, прозрачных как тень, охотятся на рыб и лосей. Если удачная охота у нижних духов, всем родичам в среднем мире будет хорошо.

А в сторону леса дикие уяганы живут, за ними долганы и кукугиры.

Ой-ой-ой, Кутличан, не ходи к кукугирам. И к уяганам не ходи, сказал себе, копьями закидают. Нымчанов не зови, не верь нымчанам, бойся мужиков шоромбойских. Мир маленький, светлый, а если станет темно — костры юкагиров осветят сендуху. Это только кажется, что пусто. Куда ни пойдешь, наткнешься на тунгуса, каптакули и фугляды могут встретить, у моря чуванцы, называют себя шелагами. Снег падает, закрывает одинокий нартенный след. У самой кромки льда адяны едят нерпу. Вот и весь мир, все свои, некоторых всю жизнь не видишь, а все равно знаешь: тут они, просто откочевали в другую сторону. Конечно, можно пойти на закат. Ой-ой-ой, Кутличан, не надо на закат, на закате пуягиры, там негидальцы, с глазами маленькими, оранжевыми, как морошка. Вся сендуха открыта алайам от горы в верхний мир до обрыва в мир нижний. Зачем шаман сказал: «Это теперь новый народ встретите»? Подпрыгивал на одной ноге, тряс кожаным мешочком: «Это нашего покойного шамана кости, что предвещают?» Сам себе ответил: это они новый народ предвещают. «Конца не будет новому народу — так его много». Сендуха, как черными пятнами, покроеется чужими. У рта мохнатые, в бородах.

Мир такой маленький. В нем так удобно, в нем все свои.

Ну, со стороны нижнего мира, конечно, выглядывают дети мертвцов, бросают камни в красного червя. Ой-ой-ой, Кутличан, убили красного полосатого червя. По сендухе бродит черный Корел — дед сендушный босоногий. Ой-ой-ой, Кутличан, уже не бродит, убили брата названного, голова Корела висит на воротах, думают — медвежья. В стороне нижнего мира тунгусы Носуга и Ириго входят в полог Ичены. Ой-ой-ой, Кутличан, убили Ириго, а его брат спрыгнул с ума. Там отец Ичены нарту ведет на березовых полозьях, ставит ровдужную урасу. Ой-ой-ой, Кутличан, и старого дудки-омока убили. Был такой тихий, уютный мир, все знали, кого и за что убьют. Зачем пришли чужие? Зачем так много чужих? Зачем таньга? Я с алайями жить хочу, с дудки-омоками. Воином хочу быть. Тяжелое поднимал — не сломался. Бегаю быстро, прыгаю высоко. Ой-ой-ой, прижался к теплой ровдуге: подрезали сухожилия мне. Это раньше бегал так, что трава под ногой еще не примялась, а я уже поднимал другую ногу.

Зачем чужие?

Откуда?

Утром проверил силы — взял лыжи, стоявшие у дверей.

В мире живу, хорошей пищей питаюсь. Надел легкие широкие лыжи, подбитые мехом выдры. Далекый лес редкий будто нарисован морозом, снег белый, медленный. Как китовые пластины раскрашены нежные полосы в небе. «Лыжи, лыжи, куда несете меня подобно верховому оленю?»

Звезды проглядывают сквозь небесный огонь.

А в небе луна. Смотрит полуобернувшись, как девушка Ичена.

«Эмэй, — сказал ласково. — Не дух я, не могу подняться по дыму костра, посмотри на меня, это я пришел».

Не услышала, не посмотрела.

Мир совсем маленький, а куда идти?

У рта мохнатые уговаривают: с нами пойдём.

А не хочешь с нами, уговаривают, оставим тебя, Кутличан, пасти взятых в ясак олешков. Ты хромой, но пастухи бывают такие. Только ты не оставайся с олешками, лучше с нами иди. Будешь вожем. Под защитой огненного боя никого не надо бояться. Дойдем до таких краев, где снег всегда свежий, человеческих следов нет, на длинных уклонах к реке валяются ноздреватые камни. Говорят, там даже соляные бабы стоят, мекающие олешки приходят лизать соленых горячими шершавыми языками. Там мягкая рухлядь, зверь красивый, рыба плотная, вкусная, битый вишневый хрусталь. Коряки пустобородые понесут ясак, олюторцы послушно вылезут из земляных нор, строгие шоромбойские мужики отставят каменные топоры, камчадалы пойдут под шерть — лицом похожи на зырян, сами как звери, пушат платье собаками.

Может, правда пойду?

Что теперь делать в острожке?

Тут висит на деревянных воротах голова брата названного Корела. Тут у рта мохнатые украшают свои кукашки пластинками с красного полосатого червя. Тут совсем недалеко бесстрастно, как день и ночь, старуха стражница водит свою утлую лодочку по реке и луна, как девушка, сверху смотрит.

Ты где, Кутличан? Дым. Морозная тишина.

«Лыжи, лыжи, куда несете меня подобно верховому оленю?»

Хромой пастух. Хэ! Пусть так. Пусть думают. Шел размеренно в блеск снегов. «Лыжи, лыжи, куда несете меня подобно верховому оленю?» Жалко, нет рядом младшего дудки-омока, наверное, сестра ему сейчас чай из шишек заваривает, а то ответил бы: «В другое время несут. В то, которое будет».

Он мог бы.

Почему нет?

СЛОВАРЬ

Алайи, шоромбойцы, когимэ, ходынцы, омоки, одулы, кукугирь, каптакули, фугляды, шелогоны, любенцы, чуванцы, адяны, пуягирь, негидадьцы — древние лесные и тундровые роды, обитавшие на пространных от Индигирки до Кольмы, ныне в основном вымершие.

Едома — холм.

Ковыма — Кольма.

Кукашка — верхняя одежда из выделанной оленьей шкуры.

Нунни, айви — по верованиям юкагиров, тень умершего, душа, способная вселиться в новорожденного.

Няша — топкая грязь.

Ондуша — лиственница.

Ровдуга — выделанная оленья шкура.

Сендуха — тундра.

У рта мохнатые, таньга — так из-за густых бород называли в тундре первых появившихся там русских.

Ураса — жилище конической формы из жердей, покрытое шкурами; чум.

Чёпка — озеро.

Чюхчи — чукчи.

Шахалэ — лисица.

Шертъ — присяга, клятва.

Щеткари — сапоги из кожи оленя.

Эмэй — ласковое обращение к женщине.

Юкагирские огни — северное сияние.

Ясак — натуральный налог (главным образом пушнина), собиравшийся с народов Сибири и Севера.



Наталья АХПАШЕВА

НА ДНЕ НОЧНОГО НЕБА

* * *

Брезжило за краем окоема.
Уходил он из родного дома
по земле неузнанным бродить,
злое человечество любить.
Ласковый такой, русоголовый.
Виделось потом — венец терновый,
крест, летящий прямо в синеву.
Все сбылось по слову Твоему...
Снова пыль дорожная клубится.
Матерь Божья, дай мне сил смириться —
вслед смотреть с надеждой и тоской.
Не споткнись, сыночек дорогой!

Вышивальщицы

Родимую доченьку поучала мать,
вдевала в иголочку шелковую нить:
— Напрасные полноте слезки проливать!
Уж я тебе, девонька, подскажу, как быть,
как ровно стежки вести за первым другой,
туда — в полукрест, а ряд обратный — крестом;
ухваткой уверенной да легкой рукой
хозяйство держать и свой устраивать дом;
как брови свести, а когда взгляд отвести,
как слово промолвить, а когда промолчать,
чтоб счастье чирикало пичужкой в горсти
и весел с тобой был разлюбезный мой зять.
Ах, что там отыщется на дне сундука?!
Непросто усердствовать до ноченьки вплоть
так, чтобы ни пропуска и ни узелка,
узор завершая, пальчик не уколоть.
Уж так уготовано нам жить и любить,
и необратим любой из прожитых миг...

За острой иголочкой — шелковая нить,
а в пальцах сияет Богородицын лик.

Час волка

Запахом хвои приправленный крепко,
тешит мне душу январский мороз.
Птица заухала. Хрустнула ветка.
Шорох скатился под горный откос.
Зрак полнолуния виснет над черной
кручей. Внимая округе ночной,
чувствую сдержанность мощи матерой
в каждом усилии мышцы любой.
Жертву настичь и уйти от погони,
настороженный капкан миновать —
в навыках, если с рождения волен
на перевалах родных выживать.
Рано ли, поздно — не надо ответа —
след оборвется итогом пути.
Вечность в ней невесомости где-то
млечной своей колеей колесит.
В воздухе снежная манка густеет,
сыплется из-под небесной полы.
Солнце покуда покинуть не смеет
лежку в расщелине дальней скалы.
И, выгибая ленивую спину,
истинный норов до срока тая,
рыком приветным тревожит низину
хищная сука, подруга моя.

* * *

Судьба-арестантка,
беда моя Нинка —
черная кожанка,
красная косынка...
Любить Нинку эту
всем сердцем уркаганским —
пропадать со свету
дураком дурацким!
Тепленького, сонного
по печенкам били,
из подвала темного
во двор выводили.
Родными просторами,
мол, погулял, и ладно!
Клацнула затворами
расстрельная команда...
Знать, не ходить к девчонке,
не встречать рассветов,



погибать мальчонке
да за власть Советов!
Горько-одиоко
мамка зарыдает...
Высоко-высоко
звездочка сияет.

Внутренним зреньем

Плещется июль в луне ущербной.
Обострились запахи и звуки.
Пряный воздух, влажный и упругий,
волнами накатывает мерно.
И на самом дне ночного неба
я лежу в траве, раскинув руки.

Чувствую себя на миллионы
лет от сотворения Вселенной.
Вспоминаю, как душою пленной
будущих галактик эмбрионы
маялись в бездействии. Бездонный
хаос вспух бушующей геенной.

Полыхает память где-то с края,
как старался металлург упертый,
в недрах огнедышащей реторты
время и пространство выплавляя —
весело белками глаз сверкая,
надрываясь на разрыв аорты.

Много надо силы и старанья,
чтобы свет от мрака отделился,
строй небесных сфер установился,
срок отсчитан, выбраны названья,
заполняя формы мирозданья,
ферросплав добра и зла излился...

Внутренним своим таинным зреньем
вижу так. Но — почему, откуда?
Степь вокруг во сне вздыхает будто.
Невесомо ветра дуновенье.
И в ночное небо с восхищеньем
все смотрю. Какое это чудо!

Евгений ПРОКОПОВ

БАЙКИ О НОВОСИБИРСКИХ ХУДОЖНИКАХ

М и н и а т ю р ы

Как художник художнику помог

Александр Максимович Смолин пришел к Геннадию Никитичу Крапивину со странной просьбой:

— Готовлюсь к персональной выставке. Не хватает работ. Много неоконченного. Выручайте, Геннадий Никитич! Помогите. Как художник художнику. По-братски.

— Что ты хочешь? Что я, буду за тебя дописывать твои неоконченные картины?

— Да нет, что вы! Я бы не посмел. А вот если бы вы дали мне для заполнения стен несколько работ... А то залы полупустые получаются.

Дал обескураженный напором Крапивин с десяток работ, которые считал не вполне удавшимися. Пейзажи в основном. Но и одну тематическую картину в традиционном «крапивинском» духе.

На открытие выставки Геннадий Никитич не пошел. Думал, что люди подвох распознают, будут над ним смеяться.

— Все прошло хорошо! — через несколько дней позвонил ему Смолин. — Никто ничего не заметил.

«И то ладно, — подумал Крапивин. — Странно, правда, что никто не увидел разницы в манере». Думалось наивному, что инцидент исчерпан. Да не тут-то было! Принес ушлый Смолин ему в подарок каталог выставки.

— Вот, с благодарностью за помощь! Я так и подписал: с благодарностью и уважением.

Взглянул Крапивин на обложку каталога и схватился за сердце. Под именем А. Смолина красовалась его картина на производственную тему!

Был скандал. Крапивин отказал прохиндеистому знакомцу в дальнейшем общении, велел не появляться в своей мастерской:

— Ни ногой! Знать тебя не хочу!

Потом, правда, немного смягчился. Стал здороваться. Отходчивый был фронтовик Геннадий Никитич Крапивин.

Отличник

Будущий народный художник России Вениамин Чебанов образование получал в Иркутском художественном училище. Поступил он туда уже многоопытным фронтовиком. Приняли сразу на последний курс, причем директор, поглядев его рисунки, заявил, что он, Чебанов, живой упрек всему педагогическому коллективу.

— Как так? — спросил недоуменно абитуриент.

— Половину выпускного курса надо выгонять, если приходит парень, самоучкой превзошедший их всех.

Зачислили Вениамина с обязательством сдать экстерном теоретические дисциплины за три предшествующих года.

Все он сдал на отлично. Только пластическую анатомию на пять сдать не получилось. Не потому, что не знал. Такая позиция была у преподавателя по фамилии Гинзбург.

Тот заявил:

— На пять и я не знаю. Только Господь Бог. А мы с тобой, Чебанов, знаем предмет где-то на четверку.

Сырая награда

Николай Никифорович Полещук обиделся, что я написал в своей книге, будто в пору работы в Худфонде ему надоедали окрики горкомовских олухов.

— Было не так. Художников партийные органы уважали. За мной, бывало, и на черной «Волге» приезжали.

— Да ну! Так уж и на черной «Волге»?

— А вот как дело было. Раздается звонок: «Николай Никифорович, сейчас за вами пришлем машину, срочно приезжайте в горком».

Еду, трепещу. Что такое? Что за спешка? Где я недоработал?

Приехали. Меня сопровождали. Объясняют задачу: надо срочно править портрет Брежнева. Ну, думаю, разглядели что... Рекламаций только Худфонду не хватало!

Вспомнив, что лучшая защита — нападение, начинаю пенять заказчикам на их торопливость: «Я же вам говорил, когда забирали портрет из мастерской: надо еще поработать, сырой он еще». — «Да не в этом дело, товарищ Полещук. Не сырой портрет. Все уже подсохло. Но надо еще одну звездочку Героя Соцтруда Леониду Ильичу пририсовать! Срочно».

Сойдет!

Совестливый и добросовестный труженик Николай Никифорович Полещук рассказывает.

— Как-то на даче стою над берегом Ини, пытаюсь схватить состояние, передать его на полотне. Так живописна наша Издревая летним вечером — дух заходится.

Подходит старый мой друг художник Хусточко:

— А, Коля, ты работаешь? Я сейчас тоже прибегу.

Через десять минут принес этюдник, расположился в сторонке. Работаем. Полчаса не прошло — собирается уходить.

— Ты куда, Леня? — спрашиваю.

— Как куда? — отвечает. — Домой. Хватит на сегодня. И так вон каких два этюда заделал.

— Когда ж ты успел? Я с одним не могу сладить, солнце садится, тени по-другому ложатся. Беда.

— Да не горюй ты! Дай-ка взгляну. Сойдет, Коля! Пошли хлебать окрошку.

Диковато работяге Полещуку такое отношение к природе, к работе. Упреки в торопливости и нетребовательности готовы слететь с его губ. Но из деликатности сдерживается. Все-таки старые друзья. В Худфонде вместе работали много лет.

Справедливости ради надо сказать, что иногда из-под кисти маэстро Хусточко выходят очень эффектные, свежие картины, в которых точно схвачена именно художественная прелесть момента. Не отнимешь этого умения внезапного. Что есть, то есть. Из тысяч «заделанных» работ Алексея Андреевича сотни по-настоящему интересны, живописно-состоятельны, а десятки — просто чудо как хороши. Метод, однако!

Это как в спорте: есть бегуны-спринтеры, а есть стайеры. Кого и за чем судить? Пусть расцветают сто цветов!

Бутылкой по обкому

Когда-то мастерская Василия Васильевича Титкова была на улице Свердлова, в старинном купеческом особняке, в котором теперь располагается Новосибирское художественное училище. Легкий, компанейский нрав Вас Васа (как все звали Василия Васильевича) да и мастерство настоящего профессионала, человеческий авторитет фронтовика привлекали к нему очень многих.

Грядущего расслоения арт-сообщества, деления на «наших» и «не наших», «чистых» и «нечистых», модернистов и традиционалистов и в помине не было. Богемно-тусовочные нравы были патриархально-миролюбивыми. Разговоры шли на профессиональные темы, говаривали и о политике.

В тот зимний вечер все было как обычно. Пили «васвасовку» — любимое хозяином сухое красное вино под названием «Алжирское». В магазинах Новосибирска оно бывало часто, и качества вполне неплохого. А стоило по первости баснословно дешево — 77 копеек за 0,75 литра. Местная алкашня, несмотря на дешевизну, не жаловала «кислятину», отдавая предпочтение «Солнцедару» и «Плодово-ягодному», то есть пойлу позабористей, чем «Алжирское».

Вот гостям пора уже по домам — вышли шумной гурьбой на тихую улицу Свердлова. Вас Вас, разошедшийся в недавнем споре до неприличных вольностей, продолжал витийствовать. Его одернул кто-то из друзей-собутельников: обком партии через дорогу. Там допоздна светились окна. Как и в мастерской Титкова.

Василий Васильевич вдруг, взбеленившись, выругался матерно в адрес «этих из обкома». И, допив из горлышка вино, швырнул бутылку,



словно гранату, в заснеженные елочки за обкомовской оградой. На него зашикали. От греха подальше разошлись поскорее.

Несколько дней спустя стало известно, что куда следует поступили сигналы о недостойном поведении художника В. В. Титкова. Три сигнала. А было в гостях у В. В. семеро.

Через старшего брата Ивана, кандидата в члена обкома, депутата облсовета, и стало известно младшему, неуравновешенному, политически невыдержанному брату, каковы его друзья. Многие из оных друзей-приятелей впоследствии стали рядиться в тогу обиженных советской властью и пострадавших за демократические убеждения борцов с тоталитаризмом.

Пить Вас Вас не перестал. Посиделки продолжались. Но что-то сломалось в бравом фронтовике. Тише стал хлебосольный хозяин. Задумчивей.

Все приглядывался к соратникам, пытаюсь угадать: кто? И пенял иногда старшему брату, умудренному аппаратчику:

— Лучше бы ты мне этого не говорил, Иван!

О пользе алкоголя

В Новосибирском союзе художников талантливый скульптор Б. Е. во время какого-то мероприятия, вернее возлияния после мероприятия, так набрался, что скатился кубарем с лестницы и, с размаху ударившись о стену под витражом, расколол череп так, что были видны пульсирующие сосуды головного мозга.

Художник А. Копылов клялся мне, что так и было. Сам якобы видел. Вызвали «скорую». Думали, конец.

Однако Б. Е. выздоровел. Медики сказали, что именно обстоятельство крайнего, мертвецкого опьянения и спасло скульптора. Алкоголь-де разжижает кровь, и поэтому тромбов не образовалось.

Профессор медицины М. Н. Кириченко, большой друг искусств, когда я спросил его о правдоподобности этого случая, ответил, что да, такое возможно:

— Помогает... Иногда.

Зачем спасал?

Константин С. (Криспинус), один из новосибирских деятелей «contemporary art», на давней выставке удумал всех удивить новой акцией-инсталляцией. И удивил.

В день открытия вернисажа он, применив хитрую систему блоков и тросиков, подвесил себя за ноги прямо в центре зала.

«Смотрю на современное сибирское изобразительное искусство — и мои глаза наливаются кровью» — этот девиз-слоган, несомненно, был интригующим. Перфекциониста-акциониста, висящего у главной лестницы, обступила недоумевающая публика. Представители падкой на сенсации, быстро пожелтевшей в ту пору прессы загалдели, защелкали фотоаппаратами.

Художник висит, перебрасывается шуточками со знакомыми. Глаза его и вправду наливаются кровью. Вокруг гомонят зрители. Многие

участники завистливо глядят на такой успех коллеги. В руках бокалы с фуршетным вином, закусывают конфетками. Предлагают попробовать выпить-закусить и художнику.

Результат (скандал) достигнут. Можно опускаться. Но случилось непредвиденное. Что-то в системе блоков то ли сломалось, то ли заело. Ни сам акционист, ни его друзья не могли опустить брненное тело на грешную землю.

Показалось, что уже и сознание потерял Криспинус. Во всяком случае, он затих. Потом начал хрипеть и дергаться в петле. Все ждут продолжения инсталляции и принимают эти хрипы и конвульсии за художественные штрихи. Раздаются даже хлипкие аплодисменты. Дело приобретает скверный оборот. Кто-то бежит за стремянкой, кто-то подлакивает стул.

— Плоскогубцы давай! — кричат зрители, пытаясь поддерживать голову несчастного.

Участвовал в спасении бедолаги и мой добрый знакомый, художник Виктор Х. Он рассказывал так:

— Помогаю вынимать Костю из петли, а самому стыдно.

— Чего стыдно-то, Виктор?

— Ну как: я, художник русской реалистической школы, вынужден спасать этого «не пойми кого», формалиста, модерниста, хулигана и циника.

— Что, не надо было спасать?

— И не спасать нельзя.

Обидно, что Константин — прекрасный рисовальщик, был принят в Союз по личному указанию одного московского мэтра именно за высокую технику. И вдруг такая трансформация. Чем соблазнился-то? Обычно дурят те, кто рисовать не умеет.

Это мое давнее недоумение не рассеялось до сих пор, хотя дела тех лет как-то померкли после столичных культурных новостей о массовых совокуплениях в Биологическом музее, прибитых к Красной площади гениталиях, засунутом во влагалище «художницы» замороженном цыпленке.

Есть куда расти.

Всему свое время

Однажды я принес показать Владимиру Ивановичу Копаеву свое новое приобретение — альбом ню, где были представлены рисунки обнаженной природы многих выдающихся художников.

— А я ведь тоже любил писать обнаженку, Евгений Васильевич.

— Не помню у вас ничего такого.

— В прежние года найти натурщицу было непросто. Мало было согласных. Как-то стыдились девушки. Да и денег лишних не водилось, чтоб платить за сеанс.

— А какая была такса?

— Три рубля за час. А то и пять. Это были деньги, знаете ли! Так что иногда в складчину приглашали. Дешевле, и разговоров меньше. Сейчас то и деньги есть, и желающих позировать, говорят, пруд пруди. Да на старости лет как-то неудобно, неловко.



— Напротив! Никто ни в чем не заподозрит, аморалку не пришьет на девятом десятке, — пошутил я.

— Нет. Неловко.

Бог с ним, с богатством!

Как-то в магазине обратил я внимание на коробку конфет Новосибирской шоколадной фабрики. Оформлена она была необычно. Неброский пейзаж: летний день, лошадка на лугу. Что-то родное, знакомое.

Зная приверженность фабричных оформителей к работам старых русских художников-классиков, в частности Шишкина, я, как говорится, без задней мысли спокойно купил конфеты, сунул в пакет.

Дома рассмотрел. Ба, да это же родной мой Владимир Иванович Кобаев! Называется картина «Лето».

С удовольствием отметил, что творчество любимого художника приближается к массам, идет в народ. Обидно было только, что не похвалился мне живописец своим успешным опытом личного промоушена.

В телефонном разговоре поведал ему о покупке, поздравил со своеобразным рыночным успехом и признанием. Он не понял скрытой иронии, но факту подобного использования его картинки по-детски искренне обрадовался. Я осознал необоснованность подозрений в неожиданной рыночной продвинутости старика. Пообещал привезти коробку в доказательство. Выяснив, что никто не спрашивал у него разрешения, стал я предлагать ему стребовать авторское вознаграждение с ушлых мастеров конфетных дел.

— Разбогатеете! — шутиливо сказал я.

— Да что вы! Ничего нам не надо. Бог с ним, с богатством!

— Ну хоть ящик конфет пусть привезут. Чай пить будете...

Так и не вчинил иск шоколадникам бескорыстный, непрактичный художник Кобаев.

Только не доллары!

Павел Леонтьевич Поротников, художник-деревенщик, удивлявший поклонников буйноцветьем натюрмортов и пейзажей, рассказывал такой случай.

В начале 1980-х годов оказавшись проездом в Москве, отправился с этюдником на Красную площадь. Выбрал место, присел на складной стульчик, достал краски.

День невзрачный, зимний, хмурый. Одно радует глаз — яркий, великолепный собор Василия Блаженного.

Сижу, пишу, руки мерзнут. Отогреваю их дыханием, дальше пишу. Вроде получилось как хотел. Жду, пока подсохнет.

Подходили строгие люди в штатском. Посмотрели, ничего не сказали. Милиционер спросил документы. Запугали меня эти зрители. Скорей бы, думаю, этюд подсох. Надо ноги уносить, а то еще загребут ни за что.

Вдруг рядом остановилась группа. Говорят не по-нашему. Один на ломаном русском предлагает:

— Продайте!

Я бы и не против продать. Деньги в Москве пригодятся. Гостинцев родне куплю. Гляжу на этюд, и он уже мне меньше нравится: с перспективой сплеховал, в цвете не получились соотношения, по тону вижу недостатки.

— Сколько дадите? — спрашиваю, осмелев.

— Вот пятьдесят долларов, — говорит интурист и протягивает купюру.

— Только не доллары! — закричал я, оглянувшись на милиционера.

Посмотрели иностранцы на меня как на чудака, засмеялись и пошли себе дальше.

А ведь я испугался по-настоящему. С валютой-то дела иметь нельзя было.

Про очепятки

Разговорился с известным новосибирским коллекционером живописи. Между прочим коснулись темы совершенно недостаточного освещения в прессе событий художественной жизни. Редки публикации, да и те не отличаются глубиной. К тому же часты ошибки, опечатки.

Я возмущенно поделился наболевшим:

— Вот прошел в газете материал про художника Бортникова. Читаю, смотрю фотографии, а это про Поротникова. Видно, со слуха набирали статью. Позвонил в редакцию. Сквозь зубы поблагодарили за бдительность. Сказали дословно следующее: «Опровержения печатать не будем. Кому надо — и так знает. А кто не знает, тому и разницы нет — Бортников или Поротников. А вообще-то, никто не читает...»

— Ну да, не читает! — воскликнул мой собеседник.

Я, не останавливаясь, продолжал:

— Напечатали статью о юбилее замечательного педагога профессора Борзота, а в ней досадная ошибка: фамилия Борзот превратилась в Борзоту. Какой-то приклатненный термин, несомненно обидный для юбиляра.

Снизился уровень редактуры, нет корректоров. И опять мне ответили в редакции: «Исправлений не будет. Кому надо, тот знает. А кто не знает, тому и разницы нет...» — «Вы хоть по телефону перед юбиляром извинитесь!» — «Ну, это сделаем. А вообще-то, никто не читает...»

— Ну да, не читает! — опять воскликнул коллекционер.

— Что ты возмущаешься? — спросил я его.

— Однажды газетчики мне свинью подложили — взяли интервью на выставке плаката и русского лубка.

— И что? Помню я ту выставку. Очень интересная.

— А то, что меня аттестовали таким макаром: знаток и ценитель русского лубка имярек.

Я рассмеялся.

Мой собеседник переждал и сказал с досадой:

— Тебе смешно, а меня много лет друзья и знакомые дразнили этим прозвищем: «знаток и ценитель русского лубка». Значит, читают!

Дмитрий ЛЕГЕЗА

ДОКТОР ФРАНК

* * *

В Архангельске дожди. Гостиница «Двина»
Готовится тонуть, задраивая люксы.
Соседние дома уже достигли дна
И шлют сигнал, что наверху не лучше.

Зато внизу еда и те же города,
Подонки есть, но их и ранее хватало.
— Мы ж рыбная страна, давайте все сюда!
Но капитан «Двины» не слушает сигнала.

Канадку засмолив, он думает про тех,
Кто верность сохранил гостиничной присяге —
Уборщица Наргиз, и спившийся портье,
И менеджер Олег, и грузчики-салаги.

А девочка одна, что так была близка,
Что с биркой на груди работала у стойки,
Покинула «Двину», теперь она — треска,
Подруга вожака некрупной рыбьей стайки.

Злой мальчик Родионыч

Может, почку продай, может, кассу ограбь,
Заруби ростовщицу-бабулю,
Но купи мне билетик на белый корабль,
Что сейчас на пути к Ливерпулю.

Тятя, тятя, пока твои сети легки
И тунец и мертвец миновал их,

Посмотри, в Ливерпуле горят маяки
 В ожиданьи чудес небывалых.

И со скрежетом якорь уйдет в темноту,
 И шеренгою встанут матросы,
 И спасательный круг заблестит на борту,
 Будто глаз у слона-альбиноса.

Там каюта моя, и в ведерке шампань,
 И за дверью стюард наготове.
 Я топор тебе выдам и маску, папань,
 Дело стоит и силы, и крови.

* * *

Недавно расстреляли космонавта,
 Он высоко летал, он видел Землю
 И правду попытался рассказать,
 Нарушив сто секретных предписаний.

Поскольку космонавты, астронавты
 И даже тайконавты говорили
 О хрупкой красоте земного шара,
 Им приказали это говорить.

А наш, последний, он хотел как надо,
 Он так хотел, чтоб люди знали правду:
 Наш плоский мир стоит на сурикатах,
 На триллионах столбиков смешных.

Случай

На войне случается всякое.
 Так, однажды сержанту Николаю снарядом
 Оторвало правую руку, правую ногу
 И полголовы разворотило (конечно же, справа).

Лежит сержант Николай и сквозь шок болевой
 Думает развороченной головой:
 «Был я человеком, а стал половиной,
 Кровь моя перемешана с глиной,

Вот я умер наполовину, сейчас умру целиком,
Стану облаком белым, ах, скорей бы стать облаком...» —
И не видит сержант Николай, превращаясь в ничто и дым,
Как белые санитары идут за ним.

А за линией фронта — поле, на поле минном
Рядовой лежит — он тоже стал половинным,
Усеченным слева кусками кусачей стали,
И зовут его Николаем. Точнее, звали,

Потому что душа Николая, та, что цела,
Потихоньку уходит, то есть почти ушла.
И сейчас Николай превратится в ничто и дым...
Но приходят два санитары за рядовым.

.....

Доктор Франк доволен. Группы крови совпали.
По всем параметрам эти двое подходят друг другу.
«Идеальная пара», — шутит доктор Франк.
С хорощим настроением он идет в операционную.

.....

Человек на кровати, вокруг провода, по которым
Уходят сигналы от датчиков к мониторам.
Человек подключен к аппарату, но сам уже сделал вдох.
Доктор Франк, вы — бог!

.....

Я не помню себя, не помню, кто я такой,
Я могу дышать, а вчера шевельнул рукой.
Медсестра говорит, что я иду на поправку
И за это все спасибо доктору Франку.

О, спасибо ему, спасибо, что я живу
И что линия фронта теперь проходит по шву.
Слева прячется враг и справа прячется враг.
Ты родил чудовище, доктор Франк.

— Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй.
Ты зачем пошел гулять,
Из винтовочки стрелять?

Журнал «Сибирские огни» при помощи Министерства культуры НСО запустил новый интернет-проект — сайт «Журнальный мир» (zhurnir.ru). Это единый ресурс, созданный для размещения электронных версий литературных печатных периодических изданий, выходящих на русском языке в любой точке мира.

На данный момент на сайте представлены электронные версии изданий Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Бийска, Хабаровска, Воронежа, Симферополя, Уфы, Сыктывкара, Перми, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Челябинска, Красноярска, Вологды, Ростова-на-Дону, Тулы, Ленинска-Кузнецкого, Тары, есть и зарубежные издания — Мельбурна, Торонто.

Проект некоммерческий — принять участие в нем может любой литературный русскоязычный журнал или альманах, нужно лишь заполнить электронную форму заявки на сайте и приложить требуемые файлы.

А сегодня мы хотим познакомить читателей с некоторыми участниками «Журнального мира» и публикуем материалы из двух очень разных изданий — альманаха «Витражи» и журнала «Дон».

«Витражи» (Мельбурн, Австралия) — литературно-художественный и общественно-политический альманах-ежегодник. Выходит с июня 2009 г., орган литературного объединения «Лукоморье» (Мельбурн), зарегистрированного в Consumer Affair Victoria (Австралия).

Мария РУБИНА

ЗОЛУШКА И ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

Жизнь у Зойки не заладилась еще до рождения. Сначала умерла мама — хрупкая слепая преподавательница физкультуры в школе для умалишенных, тяжело рожая старшего брата Волика. Потом умер и сам Волик, объевшись белены в пионерлагере «Внешние воды».

Так что уже в младенчестве на Зойку свалилась вся тяжелая работа по дому — то пеленки себе простирнуть, то прогладить их с пяти сторон, то горшок вынести. И когда домой неожиданно вернулся ее отец, профессор Лесоповальский, отсидевший в соседнем амбаре пятнадцать лет за тунеядство, его встретила ладная мускулистая деваха с озорной челкой на левом глазу и бельмом на правом. (Как-то на правый глаз ей упала кастрюля с борщом, который потом доедали всей огромной коммуналкой — долго, с искринкой, с огоньком, как и принято было в те голодные годы.)

Профессор вернулся не один, а с новой супругой. Высокая, дородно-полнозадая, с сильным зычным голосом, Скалка Меценатовна быстро стала хозяйкой

в новом доме — поставила в каждой комнате по трехспальной кровати и спала на них по очереди то утром, то днем, то вечером. Двух своих дочерей — Розку и Ривку и сына Петрика она тоже родила во сне. Петрик родился болезненным и слабеньким.

— Не жилец, — сочувственно вздохнула повивальная бабка Сидоровна, посмотрев на десятикилограммового Петрика, и без сожаления выплеснула его из ванны.

Сначала Зойка долго плакала, но через две минуты привыкла и уже радостно гоняла по дому со шваброй и веником. Работы ей только прибавилось. Розка (высокая, начинающая лысеть брюнетка) и Ривка (в отличие от сестры мелкая, чуть выше стола, толстуха с черными кокетливыми усиками) росли белоручками и водили в дом мужиков, за которыми надо было подбирать пустые бутылки. Помогать было некому. Первая домработница Феня, рассыпчатая белокурая старушка, утонула в тазу для стирки. Наняли было другую — маленькую, кругленькую Нору Моисеевну, но и та долго не продержалась, в первый же вечер закатившись под плиту да так там и сгинув.

Профессор Лесоповальский уже давно не занимался воспитанием дочерей, с головой уйдя в защиту чести своей диссертации о перспективах размножения жуков-говноедов в условиях Крайнего Юга.

В декабре Зойке исполнилось пятнадцать лет и в ее жизни вдруг начались прекрасные превращения.

Сначала у нее вырос обратно правый глаз. Часто, перед тем как лечь спать, Зойка вынимала глаз и рассматривала его перед зеркалом, удивляясь матовой округлости этого странного стеклянного шарика.

А потом случилось и вовсе чудесное.

Из деревни Гнилые Кирзакки неожиданно приехала сестра профессора Лесоповальского — Хава Нагиловна. Семейные предания гласили, что пару веков назад тетка была тяжело ранена во время русско-турецкой войны. С тех пор она не расставалась с крючковатой палкой, с которой она ходила и в мир, и в сортир, и на пир, а бывало, что и в сумасшедшем доме с ней лежала.

— Ну что, племяшка, замуж тебе пора! — гнусавым голосом проскрежетала тетка Хава.

В ней, худой и сморщенной, уже трудно было узнать ту веселую кокетливую хохотушку Хавочку, из-за которой застрелилась вся 13-я мужская гимназия, включая директора Спицына и сторожа Гаврилыча. Теперь Хава Нагиловна походила на зеленые перцы, которые Зойка запекала по праздникам в изразцовой, подернутой плесенью печке.

— Девка на выданье, а глянь — в каких опорках ходишь, — добавила она, тыча Зойке суковатой палкой в правый глаз.

С этими словами тетка достала из вещмешка крошечные туфельки.

Затрепыхав всем организмом и едва наметившейся грудью, Зойка примерила туфли и заплакала от неожиданно переполнивших ее новых ощущений.

С тех пор с новыми туфлями она не расставалась. Так и влюбилась, щеголяя в новых туфлях, случайно встретив в коммунальной ванной водопроводчика Шурика Николаевича.

Щуплый, корявенький, страдающий синдромами Туретта, Табуретта, Дауна и Аппа, Шурик Николаевич казался Зойке молодым богом. И плевать ей

было на то, что ни пришить, ни пристегнуть к нему было давно ничего нельзя и что у корявенького Николаевича где-то в Старокозловской области вот уже который год угасала от родильной горячки молодая жена.

Шурик Николаевич давно вел двойную жизнь. Днем он работал водопроводчиком, а по ночам подрабатывал диссидентом, распространяя перепечатанные на стареньком ундервуде речи Леонида Ильича Брежнева на X съезде КПСС. Изредка ему удавалось распространить «Блокнот агитатора», за что он был неоднократно бит в местном отделении милиции.

По ночам они встречались в ванной. Шурик Николаевич читал Зойке выдержки из книг Брежнева «Целка», «Большая вода» и «Вырождение». Зойка затаив дыхание слушала.

Они включали холодную воду на полную громкость, чтобы не разбудить спящую долгим беспробудным сном Скалку Меценатовну, и читали, читали до полного посинения. Так прошло три года. Дом снабжался холодной водой бесперебойно, несмотря на случившиеся за эти годы четыре гражданские войны и один путч.

К концу третьего года уже окончательно посиневшая Зойка заболела. Шурик Николаевич грел ее озябшие ножки, подернутые синим инеем, в своих корявых мозолистых, выдавших виды ладонях, но включить горячую воду так и не догадался. Да и что было взять с измученного двойной жизнью, самого дышащего на ладан старого идиота?

Зойкины похороны прошли скромно. Скалка Меценатовна продолжала спать, Розка и Ривка уже давно повыходили замуж и нарожали целую гору внуков, а профессор Лесоповальский окончательно выжил из ума не только себя, но и руководителя проекта по так и не защищенной диссертации о жуках-говноедах Феду Шмулевича.

И только маленькие Зойкины туфельки одиноко валялись по всей квартире, медленно покрываясь ржавчиной и медным купоросом. Изредка забредавшие в старую покинутую квартиру божжи тщетно пытались примерить полустлевшую Зойкину обувь, хотя туфельки налезали им только на большой палец руки.

Но это уже совсем другая история.

*Перевела с уличного Мария Рубина,
сентябрь 2012 — сентябрь 2012,
Бостон-Хьюстон-Смит энд Вессон — усадьба Маманегорьево*

«Витражи», 2016, № 10



«Дон» (Ростов-на-Дону) — российский литературно-художественный журнал; основан в апреле 1925 г. по инициативе А. А. Фадеева. Название «Дон», предложенное М. А. Шолоховым после войны, имеет предшественников — «Лава», «На подъеме» и «Литературный Ростов». Редакция стремится представлять добротную отечественную прозу и высокую поэзию, координируя в определенной степени литературный процесс и помогая новым талантам. На основе журнала создано книжное издательство, печатается газета.

Вячеслав НИКОНОВ

«ЛЮБЛЮ РОССИИ ЧЕСТЬ...» ПУШКИНСКИЕ УРОКИ ЛИДЕРСТВА

Мы любим муз чужих игрушки,
Чужих наречий погремушки,
А не читаем книг своих.
Да где ж они? — давайте их.

А. С. Пушкин

Перемены к лучшему происходят там, где граждане могут брать на себя ответственность. Лидерству можно научиться. Это — набор знаний, умений, способностей, которые полезны везде. И первый урок лидерства дает... Александр Сергеевич Пушкин.

Вот на что я обратил внимание. Возьмите любую книгу по лидерству (а в каждом приличном книжном магазине вы найдете россыпь переводных изданий). И вы не прочтете там ничего о России. Цезарь, Наполеон, Черчилль, Стив Джобс, кого там только нет. Нет только россиян. Как будто у нас не было лидеров. Как будто Россия не была и не остается одной из великих держав, мировых лидеров.

Порой можно услышать, что принципы лидерства универсальны: что работает в одной стране, будет работать и везде. Не совсем так. Доказано: только после Второй мировой войны на путь модернизации вступило более полсотни государств. Но преуспели только Япония, Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, которые неуклонно работали с ценностным кодом, с национальной ментальностью и этикой, со своей уникальной картиной мира. Менялись, учитывая и сохраняя традиции и своеобразие.

Кстати, Пушкин необходимость учета национальной специфики отлично понимал: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию... Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».

И наша страна дала множество лидеров, определяющих лицо нашей планеты. Они давали примеры лидерства, предлагали его формулу. Пушкин являет собой блестящий образец интеллектуального лидерства.



Говорят, у русских изначально нет установки на лидерство: скромники. Не правда. У Пушкина установка на лидерство точно была. В 1820 г. он написал «Про себя»:

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю —
Исполню ли? Бог весть!

Казалось бы, о Пушкине известно все. Но это не так. И то, что мы знаем, крайне противоречиво. Современный пушкинист Владимир Новиков раскладывает по полочкам различные мифы о Пушкине: «наше все», «умнейший человек России», «дурак» (по Писареву и Хармсу), «донжуан», «однолюб», «оптимист», «пессимист», «атеист», «религиозный поэт», «пророк и учитель», «эстет», «новатор», «традиционалист», «декабрист», «монархист», «космополит», «патриот», «жертва», «победитель» и т. п. Вроде бы ничего не упустил, существенно новых мифов в начавшемся XXI веке уже не появилось».

Сейчас появятся. Только не мифы, а реальность. Пушкин был мыслителем, гражданином, лидером. Именно под этим углом зрения я и предлагаю посмотреть на гения.

Пушкин помнил и уважал своих предков. «Род мой один из самых старинных дворянских. Мы исходим от прусского выходца Радши, или Рачи, человека знатного (мужа честна, говорит летописец), приехавшего в Россию во время княжества святого Александра Ярославича Невского», — гордился Пушкин. Его прадедом был Ганнибал — «арап Петра Великого», истории которого Пушкин уделял большое внимание в своем творчестве.

Отец будущего поэта Сергей Львович при Павле I служил в лейб-гвардии егерском полку. В 1796 г. он женился на прекрасной креолке Надежде Осиповне Ганнибал, вышел из полка и переселился в Москву. Служил по интендантской части в Москве и Варшаве, а в 1817-м вышел в отставку, поселился в Петербурге. Хозяйством заниматься ни он, ни его жена не умели и не любили, зато жили на широкую ногу. «Дом их всегда представлял какой-то хаос»¹.

Пушкин родился 26 мая по старому стилю (6 июня по новому) 1799 г. на Немецкой улице в Лефортове. Немецкая слобода — чистая и опрятная — в то время считалась весьма престижным местом жительства. Крестили Пушкина в церкви Богоявления в Елохове.

«До семилетнего возраста Пушкин не предвещал ничего особенного, напротив, своей неповоротливостью, своей тучностью, робостью и отвращением к движению он приводил мать в отчаяние»². В семействе побывал легион иностранных гувернеров и гувернанток. «Учился Пушкин небрежно и лениво; но зато рано пристрастился к чтению, любил читать Плутарховы биографии, «Илиаду» и «Одиссею» в переводе Битобе и забирался в библиотеку отца, которая состояла преимущественно из французских классиков, так что впоследствии он был настоящим знатоком французской словесности и истории и усвоил себе тот прекрасный французский слог, которому в письмах его не могли надивиться природные французы», — рассказывала сестра поэта Ольга Сергеевна.

¹ Гр. Корф М. А. Записка // Грот Я. К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1901. С. 249.

² Анненков П. В. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. СПб., 1873. С. 10—11.



Знавшие семью свидетельствуют, что, когда в 1811 г. пришло время молодому Александру отправиться в Петербург для поступления в Лицей, «он покинул отеческий кров без малейшего сожаления, если исключим дружескую горечь о сестре, которую он всегда любил»³.

Царскосельский лицей был основан императором как закрытое учебное заведение для дворян, готовившее к гражданской государственной службе. Вероятно, ближайшим аналогом сегодня был бы факультет государственного управления МГУ.

22 сентября Александр I утвердил список из 30 поступивших лицеистов. Пушкин значился под номером 14 с припиской: «Ветрен и легкомыслен, искусен во французском языке и рисовании, в арифметике ленится и отстает».

Лицейские годы были для Пушкина счастливым временем взросления и познания мира, и он с удивительной теплотой вспоминал Царское Село.

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой.

Кличка Пушкина в Лицее — Француз, из-за свободного знания языка и французской поэзии. Он не сразу стал лидером. В декабре 1811 г. лицеисты составляют своеобразный рейтинг достижений, и тут его номер — четырнадцатый.

Принадлежность к старинному дворянскому роду и воспитание изначально делали Пушкина государственным, почитателем власти и священной особы императора. А нападение Наполеона сплотило страну в единый патриотический лагерь. Дорога из Санкт-Петербурга на юг пересекала Царское Село. Лицеисты провожали проходившие мимо них гвардейские полки.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

Это был час российского триумфа, европейского, а значит, и мирового лидерства нашей страны. Многие собрания сочинений и сборники работ Пушкина открываются стихотворением «Воспоминания в Царском Селе», написанным в 1814 г. Оно посвящено Михаилу Илларионовичу Кутузову.

Бессмертны вы вовек, о росски исполины,
В боях воспитаны средь бранных непогод!
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.

³ Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 27.



О, громкий век военных споров,
 Свидетель славы россиян!
 Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
 Потомки грозные славян,
 Перуном Зевсовым победу похищали;
 Их смелым подвигам, страшась, дивился мир;
 Державин и Петров героям песнь бряцали
 Струнами громозвучных лир.

И ты промчался, незабвенный!
 И вскоре новый век узрел
 И брани новые, и ужасы военные;
 Страдать — есть смертного удел.
 Блеснул кровавый меч в неукротимой длани
 Коварством, дерзостью венчанного царя;
 Восстал вселенной бич — и вскоре новой брани
 Зарделась грозная заря.

Страшись, о рать иноплеменных!
 России двинулись сыны;
 Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
 Сердца их мщеньем зажжены.
 Вострепещи, тиран! уж близок час падения!
 Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
 Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
 За Русь, за святость алтаря.

О вы, которых трепетали
 Европы сильны племена,
 О галлы хищные! и вы в могилы пали.
 О страх! о грозны времена!
 Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
 Презревший правды глас, и веру, и закон,
 В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
 Исчез, как утром страшный сон!

В Париже росс! — где факел мщенья?
 Поникни, Галлия, главой.
 Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
 Грядет с оливою златой.
 Еще военный гром грохочет в отдаленье,
 Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
 А он — несет врагу не гибель, но спасенье
 И благотворный мир земле.

Стихотворение заметили сразу. Князь Петр Андреевич Вяземский, который в тот момент входил в признанную тройку ведущих поэтов страны вместе с Василием Андреевичем Жуковским и Константином Николаевичем Батюшковым, сразу понял, что появился способнейший конкурент. «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? чудо и все тут. Его “Воспоминания” вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражении, какая твердая и мастерская кисть в картине. Дай Бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок, и горе нам. Задавит, каналья! Василий Львович, однако же, не поддается и после стихов своего племянника, которые он всегда прочтет со слезами, не забывает никогда

прочесть и свои, не чувствуя, что по стихам он племянником перед тем», — писал Вяземский Батюшкову в январе 1815 г.

Пушкин опишет свои ощущения от возвращения на Родину героев Отечественной войны: «Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута!»

К этому времени перо Пушкина уже получило высокую оценку. В начале декабря 1815 г., когда ждали возвращения императора Александра I из Парижа, директор департамента народного просвещения Иван Иванович Мартынов попросил Пушкина написать приветственную «пиесу». Но в Петербург император приехал ночью (2 декабря) и торжественная встреча в Царском Селе не состоялась.

Тебе, наш храбрый царь, благодаренье!
 Когда полки врагов покрыли отдаленье,
 Во броню ополчась, взложив пернатый шлем,
 Колена преклонив пред вышним алтарем,
 Ты браней меч извлек и клятву дал святую
 От ига оградить страну свою родную.
 Мы вняли клятве сей: и гордые сердца
 В восторге пламенном летели вслед отца
 И мстью роковой горели и дрожали;
 И россы пред врагом твердыней грозной стали!..

И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился,
 И край полуночи восторгом озарился!
 Склони на свой народ смиренья полный взгляд —
 Все лица радостью, любовью блещат.
 Внемли — повсюду весть отрадная несется,
 Повсюду гордый клик веселья раздается,
 По стогнам шум, везде сияет торжество,
 И ты среди толпы, России божество!

Стихотворение будет напечатано через три года. Когда мнение Пушкина об Александре изменится кардинальным образом.

«Прослушав шестилетний курс наук, он выходит из лицея девятнадцатым учеником с весьма скромными баллами, но уже с первыми листками “Руслана и Людмилы”»⁴.

Пушкин вступил в службу его «императорского величества из Царскосельского лицея с чином коллежского секретаря в 1817 году, июня 17 дня, в коллегии иностранных дел». Это — 10-й класс из 12 в табели о рангах.

Пушкин не стремился стать лидером через служебную карьеру. К чинам он не сильно стремился и высоких чинов не достиг. Но все дворяне должны были служить. «Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей», — немного цинично замечал поэт.

Молодой Пушкин учит нас ценностям. Прежде всего ценностям свободы и законности. В оде «Вольность» в 1817 г. Пушкин изложил свою программу, которая была построена на идеях, почерпнутых в лицейских лекциях молодого

⁴ Гроссман Л. П. Пушкин. М., 2012. С. 125.

адъюнкт-профессора Александра Петровича Куницына, в разговорах с Николаем Тургеневым.

Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

В государстве должен главенствовать закон, обязательный и для власти, и для подданных.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
<...>

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

Пушкин иллюстрирует свою мысль двумя историческими фигурами. Первая — Наполеон.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле.

А дальше в оде «Вольность» возникает тема, за которую Пушкин заплатит. Абсолютно в то время запретная тема убийства Павла I. Заметим, Пушкину противны фигуры как Павла, который в тогдашнем образованном обществе имел репутацию тирана, так и цареубийц.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.





И днесь учитесь, о цари:
 Ни наказанья, ни награды,
 Ни кров темниц, ни алтари
 Не верные для вас ограды.
 Склонитесь первые главой
 Под сень надежную Закона,
 И станут вечной стражей трона
 Народов вольность и покой.

Свобода для Пушкина — священное и неотъемлемое право человека. Но она истинна только тогда, когда осуществляется в рамках закона. Идея перехода от самовластия к конституционным свободам легла в основу и послания Пушкина Петру Яковлевичу Чаадаеву в 1818 г.

Любви, надежды, тихой славы
 Недолго нежил нас обман,
 Исчезли юные забавы,
 Как сон, как утренний туман;
 Но в нас горит еще желанье,
 Под гнетом власти роковой
 Нетерпеливою душой
 Отчизны внемлем призыванье.
 Мы ждем с томленьем упованья
 Минуты вольности святой,
 Как ждет любовник молодой
 Минуты верного свиданья.
 Пока свободою горим,
 Пока сердца для чести живы,
 Мой друг, отчизне посвятим
 Души прекрасные порывы!
 Товарищ, верь: взойдет она,
 Звезда пленительного счастья,
 Россия вспрянет ото сна,
 И на обломках самовластья
 Напишут наши имена!

Пушкин — революционер? Князь Вяземский, который стал его ближайшим другом, писал о Пушкине: «Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благородная душа. Но из этого не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером».

Но Пушкин сочинял на Александра I эпиграммы и при всяком случае, по словам самого поэта, как мог «подсвистывал ему». «Властитель слабый и лукавый, / Плешивый щеголь, враг труда», «фрунтовой профессор», «кочующий деспот» — это все о том же императоре Александре Павловиче. Откуда такая кардинальная перемена отношения к правителю, на счету которого либеральные реформы, основание Лицея, победа над Наполеоном и ни одной казни? От своих радикально настроенных друзей — Чаадаева, братьев Тургеневых — он узнал о кровавых подробностях вступления Александра на престол. «В глазах Пушкина никакие реформы не могли уравновесить убийства, приведшего Александра к власти»⁵.

⁵ Аринштейн Л. Пушкин. И про Царей и про Цариц. М., 2012. С. 134.



В начале 1820 г. над головой Пушкина начали сгущаться тучи. Его вызывающе разгульный образ жизни, вольнодумие, бесчисленные эпиграммы, порой даже не им сочиненные, но ему приписываемые, вызвали к нему стойко отрицательное отношение императора. К тому же на Пушкина пришел донос.

Дело запахло Сибирью. Биографы говорят о друзьях поэта, якобы ходатайствовавших перед царем о его участии. В действительности ходатайствовал один Карамзин, но и он обратился не к царю, а к благоволившей ему царице.

Пушкину повезло не попасть в Сибирь. Но гордость его была задета: тайный сыск, допрос у петербургского генерал-губернатора Милорадовича, высылка решением царя, да еще в Бессарабию — по тогдашним понятиям на край света (где он занимался переводом молдавских законов с французского на русский). Пушкин сравнивал свою судьбу с участью Овидия, которого римский император Октавиан Август изгнал из Рима. Но Овидий неустанно молил цезаря о прощении, Пушкин, несмотря на советы друзей, извиняться перед Александром отказывался.

Южный период жизни Пушкина длился с мая 1820 г. до июля 1824 г. За это время он успел побывать на Украине, в Молдавии, на Кавказе и в Крыму, послужить в Одессе.

На юге Пушкин попал в круг будущих декабристов — Василия Львовича Давыдова, Михаила Федоровича Орлова, Владимира Федосеевича Раевского, настроенных куда более радикально, чем его петербургские друзья. Их радикализм упал на благоприятную почву: в душе впечатлительного поэта разгорелся благородный огонь. В писаниях Пушкина появляется новый образ:

...Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия Позора и Обиды.

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч Закона,
Свершитель ты проклятий и надежд...

Поведение Пушкина становится вызывающим, что отмечали и многие люди, с ним не конфликтовавшие. После одного из обедов в доме у генерал-губернатора Ивана Никитича Инзова, у которого Пушкин жил в 1822 г., князь Павел Долгорукий написал в дневнике: «Он перестал писать стихи, но этого мало... Вместо того, чтобы прийти в себя и восчувствовать, сколь мало правила, им принятые, терпимы могут быть в обществе, он всегда готов у заместника, на улице, на площади всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку».

Весной 1821 г. «Греция восстала и провозгласила свою свободу». Пушкин всей душой на стороне повстанцев во главе с князем Александром Ипсиланти. Кишинев, Яссы становятся одним из центров мобилизации сил повстанцев. «Важный вопрос: что станет делать Россия; зайдем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов?» Но Александр I, верный своим охранительным идеям, отказывает грекам в помощи. Восстание подавлено, как и национальные движения в Италии, Испании. Пушкин разочарован: народы не могут постоять за свою свободу.

Он остывает к революционным мечтаниям. 1 декабря 1823 г. Пушкин написал Александру Ивановичу Тургеневу о своих стихах на смерть Наполеона «И миру вечную свободу / Из мрака ссылки завещал»: «Эта строфа ныне не



имеет смысла, но она писана в начале 1821 года, впрочем, это мой последний либеральный бред, я закаялся и написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена своя)»:

Свободы деятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Ариадна Тыркова-Вильямс, видная деятельница либеральной партии кадетов и автор двухтомной биографии Пушкина, не считала его «своим»: «Ощущение государства как живого организма окрепло у Пушкина на юге, среди вновь завоеванных просторных областей, где чуткий слух поэта с восторгом ловил державный шелест российских знамен. Впервые услышал он этот шелест отроком, в Царском Селе, когда русские полки один за другим уходили на запад, защищать русскую землю от вторгнувшихся в нее наполеоновских полчищ. Позже отвлеченные речи Чаадаева, Николая Тургенева и других членов “общества умных” заглушили песни знаменосцев. Но только на время. Стоило ему побывать на Кавказе, послушать Раевского-отца, всмотреться в русское дело в Бессарабии, и сразу в его стихах зазвучали державные ноты».

Пушкин писал брату из Кишинева: «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах — и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии. Видел я берега Кубани и сторожевые станицы — любовался вашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности!»

Его неприятности на юге были связаны не столько с радикализмом, сколько с другими обстоятельствами. Наместником Бессарабии и генерал-губернатором в Одессе вместо Инзова был назначен граф Михаил Семенович Воронцов. Похоже, его супруга — Елизавета Ксаверьевна — первая серьезная привязанность Пушкина. К этому добавились его колкие эпиграммы и остроты в адрес непосредственного начальника. Воронцов добился удаления Пушкина из Одессы — для его же пользы. Вдобавок на почте вскрыли письмо Пушкина и обнаружили в нем высказывание атеистического характера — серьезное преступление по тем временам.

Из Одессы Пушкин был выслан в псковское село Михайловское, принадлежавшее его родителям, без права его покидать. Ссылка Пушкину претит, он жаждет добиться прощения императора и разрешения на выезд за рубеж, якобы



для лечения от аневризма, о котором позднее никогда и не вспомнит. Император не разрешит.

Внезапная смерть Александра I не сильно расстроила Пушкина. Но заминкой в престолонаследии решили воспользоваться революционеры-декабристы. Известный историк и издатель Михаил Петрович Погодин рассказывал со слов поэта: «Пушкину явно хотелось увидеться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решил отправиться в Петербург». Но неблагоприятные приметы — заяц дважды перебежал дорогу, священник попался навстречу — заставили Пушкина повернуть назад. Может, и не очень хотел. Как бы то ни было, рок оставил Пушкина в Михайловском, и этим он вновь избежал Сибири, если не чего-нибудь похуже.

В связи со следствием по делу декабристов душа Пушкина была беспокойна, и не напрасно. Он сжигает свои записки. 10 июля 1826 г. Пушкин писал Вяземскому: «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков. Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру. Впрочем, черт знает».

Лидеры декабристов были повешены в Петропавловской крепости 13 июля. И вновь Вяземскому 14 августа: «Еще таки я все надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна. Из моих записок сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя». Амнистии не будет. Пушкин напишет сосланным друзьям:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Дата под стихотворением у Пушкина далеко не всегда означает день его написания. Нередко дата относится к какому-то событию, в тот день произошедшему. Одно очень известное стихотворение Пушкина датировано 8 сентября 1826 г. Посмотрим, что произошло в этот день, а затем попробуем угадать, что это за произведение.

В конце августа 1826 г. Пушкин, седьмой год пребывавший в положении изгнанника, наслаждался последними летними днями в Михайловском. Он



скандално известен в стране, популярен в общественных кругах, но в ссылке. А в Москве шли торжества, сопровождавшие вступление на престол императора Николая Павловича.

Так вот, каким был первый приказ Николая I после коронации? В свой первый рабочий день 28 августа император отдал начальнику Главного штаба генералу Дибичу распоряжение: «Пушкина призвать сюда». В ночь с 3 на 4 сентября в Михайловском появляется офицер с предписанием Пушкину срочно прибыть в Псков, чтобы сразу же оттуда отправиться в Москву. В Михайловском паника: всем известна судьба декабристов. Несколько часов на сборы. Арина Родионовна рыдает. Пушкин спешно сжег свою «Михайловскую тетрадь» с записями и стихами, черновик «Бориса Годунова» (с прозрачными намеками на покойного Александра Павловича).

В пятом часу утра с тяжелым сердцем поэт трогается в путь и в первой половине дня 8 сентября добирается до Первопрестольной. К 4 часам пополудни его доставляют в Малый Николаевский дворец, который занимало тогда августейшее семейство и сам государь император, которому «Пушкин и был тотчас же представлен, в дорожном костюме, как и был, не совсем обогревшийся, усталый и, кажется, даже не совсем здоровый»⁶. Последовала двухчасовая беседа.

Барон Модест Андреевич Корф свидетельствовал: «Однажды за небольшим обедом у Государя, при котором я и находился, было говорено о Пушкине. “Я, — говорил Государь, — впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного... Что сделали бы Вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? — спросил я его между прочим. — Стал бы в ряды мятежников, — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пушу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку, с обещанием — сделаться другим”». «В тот же день на балу у маршала Мормона, герцога Рагузского, посла Франции, император подозвал к себе статс-секретаря Дмитрия Николаевича Блудова и сказал ему: “Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?” На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина»⁷.

Пушкин оставил только одно известное письменное свидетельство об аудиенции императора — в письме соседке по имени Прасковье Александровне Осиповой от 16 сентября: «Государь принял меня самым любезным образом. Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому, то есть по Тригорскому; я рассчитываю выехать отсюда самое позднее через две недели».

Гораздо больше скажет стихотворение, датированное 8 сентября. Оно представляло собой поэтическое переложение книг пророчеств — Исайи, Иеремии, Иезекииля — из Библии. И в нем вся судьба Пушкина — прошлая, настоящая и будущая.

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;

⁶ Анненков П. В. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 323.

⁷ Бартнев П. И. Русский архив. 1865. Т. II. С. 96, 389.



Перстами легкими как сон
 Моих зениц коснулся он:
 Отверзлись вещие зеницы,
 Как у испуганной орлицы.
 Моих ушей коснулся он,
 И их наполнил шум и звон:
 И внял я неба содроганье,
 И горний ангелов полет,
 И гад морских подводный ход,
 И дольней лозы прозябанье.
 И он к устам моим приник,
 И вырвал грешный мой язык,
 И празднословный и лукавый,
 И жало мудрыя змеи
 В уста замершие мои
 Вложил десницею кровавой.
 И он мне грудь рассек мечом,
 И сердце трепетное вынул,
 И угль, пылающий огнем,
 Во грудь отверстую водвинул.
 Как труп в пустыне я лежал,
 И Бога глас ко мне воззвал:
 «Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
 Исполнись волею моею,
 И, обходя моря и земли,
 Глаголом жги сердца людей».

Пушкин обрел Миссию. Она исключительно важна для лидера.

С сентября 1826 г. исчезают эпиграммы, затрагивающие императора и его приближенных, прекращаются неуважительные высказывания о религии. Проникнутые революционным романтизмом стихотворения закончились еще раньше.

В покровительстве императора был положительный для Пушкина момент. «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная». Слова царя не расходились с делом. Практически все произведения, представленные Пушкиным в первый год, быстро получили одобрение. Более того, царем было пропущено и то, что ранее отвергала обычная цензура.

Появление Пушкина в Москве произвело фурор. «Когда Пушкин, только что возвратившийся из изгнания, вошел в партер Большого театра, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него и издали указывали его по бывшей на нем светлой пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей ступени своей популярности», — записал Николай Васильевич Пютята.

Но столицы с их бурной светской жизнью поэту претят. В течение четырех с лишним лет — между окончанием ссылки и женитьбой — Пушкин вел кочевую жизнь: переезжал из Москвы в Петербург и обратно, ездил в Болдино, в Михайловское, побывал на кавказском театре турецкой войны, о чем позже написал «Путешествие в Арзрум».

В связи с женитьбой Пушкин вновь попросился на службу. Николай I, заметив его в парке, остановил коляску, подозвал поэта к себе для беседы. Встреча имела последствия, о которых 22 июля 1831 г. Пушкин сообщал своему другу

Петру Александровичу Плетневу: «Кстати скажу тебе новость (но да останется это, по многим причинам, между нами): царь взял меня в службу — но не в канцелярскую, или придворную, или военную — нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: *Puisqu'il est marié et qu'il n'est pas riche, il faire aller sa marmite*⁸. Ей-богу, он очень со мною мил».

Глава Министерства иностранных дел Нессельроде поинтересовался у императора, каким чином определить «известного нашего поэта»? Николай счел, что отставной коллежский асессор (им Пушкин стал еще по окончании Лицея) может быть принят на службу тем же чином, но с годовым окладом в пять тысяч рублей. А 6 декабря 1831 г. высочайшим указом, подписанным в честь тезоименитства императора, Пушкин был произведен в титулярные советники — девятый класс по табели о рангах — и зачислен в Коллегию иностранных дел.

Тот идиллический для Пушкина 1831 г. был богат событиями, среди которых главным было Польское восстание, привлечшее его самое пристальное внимание. «Но все-таки их надобно задуть, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря; мы не можем судить ее по впечатлениям европейским... Конечно, выгода почти всех правительств держаться в сем случае правила *non-intervention*⁹, то есть избегать в чужом пиру похмелья; но народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди, навяжется на нас Европа».

Пушкин пишет «Клеветникам России».

О чем шумите вы, народные витии?
 Зачем анафемой грозите вы России?
 Что возмутило вас? волнения Литвы?
 Оставьте: это спор славян между собою,
 Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
 Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
 Враждуют эти племена;
 Не раз клонилась под грозою
 То их, то наша сторона.
 Кто устоит в неравном споре:
 Кичливый лях иль верный росс?
 Славянские ль ручьи сольются в русском море?
 Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
 Сии кровавые скрижали;
 Вам непонятна, вам чужда
 Сия семейная вражда;
 Для вас безмолвны Кремль и Прага;
 Бессмысленно прельщает вас
 Борьбы отчаянной отвага —
 И ненавидите вы нас...

⁸ Раз он женат и небогат, надо дать ему средства в жизни (буквально, *франц.*: заправить его кастрюлю).

⁹ Невмешательства (*франц.*).



За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайловский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

В конце августа 1831 г. Варшава пала, но на Западе активно обсуждались планы военной интервенции против России. Пушкин пишет стихотворение «Бородинская годовщина».

Великий день Бородина
Мы братской трезной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжело будет им похмелье;
Но долгоден будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под знаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
 Но знайте, прошенные гости!
 Уж Польша вас не поведет:
 Через ее шагнете кости!..»
 <...>

Но вы, мутители палат,
 Легкоязычные витии,
 Вы, черни бедственный набат,
 Клеветники, враги России!
 Что взяли вы?.. Еще ли росс
 Больной, расслабленный колосс?
 Еще ли северная слава
 Пустая притча, лживый сон?
 Скажите: скоро ль нам Варшава
 Предпишет гордый свой закон?

Куда отвиним строй твердынь?
 За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
 За кем останется Вольнь?
 За кем наследие Богдана?
 Признав мятежные права,
 От нас отторгнется ль Литва?
 Наш Киев дряхлый, златоглавый,
 Сей пращур русских городов,
 Сроднит ли с буйною Варшавой
 Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик
 Смутили ль русского владыку?
 Скажите, кто главой поник?
 Кому венец: мечу иль крику?
 Сильна ли Русь? Война, и мор,
 И бунт, и внешних бурь напор
 Ее, беснуясь, потрясали —
 Смотрите ж: все стоит она!
 А вокруг ее волненья пали —
 И Польши участь решена...

Победа! сердцу сладкий час!
 Россия! встань и возвышайся!
 <...>

К этому времени Пушкин располагал уже и большим жизненным опытом, и сложившейся системой взглядов, весьма полезных для будущих и настоящих лидеров. Он, безусловно, был сторонником постепенного и продуманного реформирования общества.

Пушкин писал: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

Пушкин — на примере Петра I — доказывал безусловную предпочтительность продуманных и спланированных реформ импровизациям, вызванным минутой. «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного,



исполненного доброжелательства и мудрости; вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего; вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика».

Видел Пушкин большую пользу и в том, чтобы внимательно изучать опыт предшествовавших реформ. «Государыня говаривала: “Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом, — и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдуманно”».

В основе государственности беспрекословное исполнение законов. «Где обязанность, там и закон... Закон ограждается страхом наказания. Законы нравственные, коих исполнение оставляется на произвол каждого, а нарушение не почитается гражданским преступлением, не суть законы гражданские».

Анджело в одноименной поэме говорит:

Закон не должен быть пужало из тряпицы,
На коем наконец уже садятся птицы.

Антиреволюционный пафос в наибольшей степени проявится в «Истории пугачевского бунта» и в «Капитанской дочке». Читаем: «Состояние сего обширного края было ужасно. Дворянство обречено было погибели. Во всех селениях на воротах барских дворов висели помещики или их управители. Мятежники и отряды, их преследующие, отымали у крестьян лошадей, запасы и последнее имущество. Правление было повсюду пресечено».

«Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

И, конечно, Пушкин дал множество ценных советов лидерства.

Не забывайте непреложного для пушкинской (да и для любой другой) эпохи: честь превыше всего. Правило «служить верно» входило в кодекс дворянской чести и, таким образом, имело статус этической ценности, нравственного закона. Помните, в «Капитанской дочке»: «Батюшка сказал мне: “Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службы не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду”».

Пушкин считал важнейшим человеческим качеством смелость, мужество. Он и сам не боялся смотреть в лицо смерти. Но при этом не путал смелость и безрассудство. «Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков».

Обостренное чувство чести и несомненное мужество приводило Пушкина к многочисленным дуэлям. Всего биографы насчитали 29 дуэлей Пушкина. В этом «безумии», безусловно, был свой «блеск»: готовность рисковать жизнью, чтобы не оказаться обесчещенным, требовала немалой храбрости, а также предельной честности и перед другими, и перед самим собой. Человек должен был привыкать отвечать за свои слова; «оскорблять и не драться» (по словам Пушкина) считалось пределом низости.

«В минуту опасности, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью... Когда дело дошло до барьера, к нему он явился холодным, как лед». Столь лестная характеристика Пушкину дана Иваном Липранди, знаменитым дуэлянтом и, как полагают, одним из прототипов Сильвио из повести «Выстрел».

Пушкин обладал всеми качествами опытного и беспронимчивого дуэлянта. Упорными тренировками он достиг небывалого мастерства: попадал в карточного туза на расстоянии десяти шагов. Великолепный стрелок, легко подставлял себя под пули, но за всю бесконечную череду дуэльных стычек никого не убил и даже не ранил. Если не считать контуженного им Дантеса в последней роковой дуэли.

Но в 1837 г., когда была затронута честь его жены, Пушкин готов был драться только насмерть.

Лидер должен, безусловно, владеть собой. «Учитесь властвовать собой», — наставлял Онегин юную Татьяну. Исключительно важно умение концентрироваться, планировать свою жизнь.

В 1821 г. Пушкин написал Чаадаеву:

В уединении мой своенравный гений
 Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
 Владею днем моим; с порядком дружен ум;
 Учусь удерживать вниманье долгих дум...

Пушкин учил, что время — самый драгоценный ресурс, который важно тратить с большой осторожностью, чтобы затем не жалеть о бесцельно прожитых днях:

Служенье муз не терпит суеты;
 Прекрасное должно быть величаво:
 Но юность нам советует лукаво,
 И шумные нас радуют мечты...
 Опомнимся — но поздно! и уныло
 Глядим назад, следов не видя там.

Подлинный лидер ставит перед собой большие цели, уходящие за горизонт. Если этого не делать, никогда не дойдешь до горизонта. В «Путешествии Онегина» читаем:

Блажен, кто понял голос строгий
 Необходимости земной,
 Кто в жизни шел большой дорогой,
 Большой дорогой столбовой,
 Кто цель имел и к ней стремился,
 Кто знал, зачем он в свет явился
 И Богу душу передал,
 Как откупщик иль генерал.
 «Мы рождены, — сказал Сенека, —
 Для пользы ближних и своей» —
 (Нельзя быть проще и ясней),
 Но тяжело, прожив полвека,
 В минувшем видеть только след
 Утраченных бесплодных лет...

Пушкин предостерегал от эгоизма, самовлюбленности и бахвальства. «Чем более мы холодны, расчетливы, осмотрительны, тем менее подвергаемся нападениям насмешки. Эгоизм может быть отвратительным, но он не смешон, ибо отменно благоразумен. Однако есть люди, которые любят себя с такою нежностью, удивляются своему гению с таким восторгом, думают о своем благосостоянии с таким умилением, о своих неудовольствиях с таким состраданием, что в них и эгоизм имеет всю смешную сторону энтузиазма и чувствительности».

Полагаю, мало кому из лидеров сильно помешало хорошее воспитание. Воспитанность — важная часть искусства нравиться людям, что во все времена являлось важным моментом в воспитании подрастающих поколений российской элиты. Пользоваться расположением окружающих исключительно важно для лидера. Кстати, самому Пушкину это не всегда удавалось. Человек, в совершенстве владеющий правилами хорошего тона, не только не тяготится ими, но обретает благодаря им свободу в отношениях с людьми, не чувствует себя стесненным в любых обстоятельствах. У всех на памяти полуироническая характеристика Евгения Онегина:

Он по-французски совершенно
 Мог изъясняться и писал;
 Легко мазурку танцевал
 И кланялся непринужденно;
 Чего ж вам больше? Свет решил,
 Что он умен и очень мил.

Пушкин учил заботиться о своем внешнем виде:

Быть можно дельным человеком
 И думать о красе ногтей.

Но, конечно, предупреждал Пушкин, все должно быть в меру:

Смешон и ветреный старик,
 Смешон и юноша степенный.

Храбрость и выносливость, которые требуются от лидера, невозможны без соответствующей физической силы и ловкости. В Царскосельском лицее каждый день выделялось время для гимнастических упражнений; лицеисты обучались верховой езде, фехтованию, плаванию и гребле. Ежедневный подъем в 7 утра, прогулки в любую погоду и простая пища.

Пушкин во время своих продолжительных пеших прогулок носил трость, полость которой была залита свинцом, и при этом периодически подкидывал и ловил ее в воздухе. Так он тренировал правую руку, чтобы в ней не дрогнула пистолет. Серьезной физической подготовки требовали и такие общепринятые развлечения, как охота и верховая езда. Вместе с тем в демонстрации физической выносливости был и особый шик. Молодые женщины тоже гордились своим умением хорошо ездить верхом; сестры Натальи Николаевны Пушкиной, великолепно владевшие этим искусством, не без оснований рассчитывали произвести тем самым впечатление на столичных кавалеров.

Пушкин видел прямой смысл в закаливании — и для молодых людей, и для девушек. Русскому морозы не страшны.



И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

Пушкин не был трезвенником, отнюдь. Но он предупреждал об умеренности в потреблении напитков.

Часто двигаю стакан,
Часто пью — но, слава богу,
Редко, редко лягу пьян.

Лидерство — не сольное выступление, а командная игра. Чувство дружбы было для Пушкина святым, он доказывал это всей своей жизнью.

И я слышал, что божий свет
Единой дружбою прекрасен,
Что без нее отрады нет,
Что жизни б путь нам был ужасен,
Когда б не тихой дружбы свет.

Особенно ценил поэт лицеистскую дружбу:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Даже состоявшийся лидер не может сделать все сам. Пушкин подтверждал справедливость пословицы:

Одна свеча избу лишь слабо освещала;
Зажгли другую, — что ж? изба светлее стала.
Правдивы древнего речения слова:
Ум хорошо, а лучше два.

Пушкин отлично понимал, что образованные, самостоятельные и мыслящие люди — один из основных ресурсов страны. Сам Пушкин был высокообразованным человеком. И призывал других стать такими же, предупреждая при этом, что даже наука не может всего предвидеть и роль случая очень велика:

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

В уста Бориса Годунова он вкладывает слова:



Как хорошо! вот сладкий плод ученья!
Как с облаков ты можешь обозреть
Все царство вдруг: границы, грады, реки.
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни —
Когда-нибудь, и скоро, может быть,
Все области, которые ты ныне
Изобразил так хитро на бумаге,
Все под руку достанутся твою.
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.

Из Кишинева Пушкин наставлял брата и сестру: «Чтение — вот лучшее учение — знаю, что теперь не то у тебя на уме, но все к лучшему».

Лидер должен первоклассно владеть пером и словом. И у кого здесь поучиться, как не у Пушкина — первого пера России? У Пушкина достигнута полная гармония между содержанием и формой. «Он не поступался ни смыслом ради звуков, ни звуками ради смысла. То и другое было таким, каким он хотел, чтобы оно было», — замечал Валерий Яковлевич Брюсов.

Пушкин знал силу слова. «Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда... Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом...»

Говорить и писать можно и нужно научиться. Мнение, будто Пушкин писал легко и быстро, ошибочно. Письма своим друзьям он переписывал по пять-шесть раз, над одним стихотворением он мог сидеть и неделю, и месяц. Лев Толстой скажет: «Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения. Мы читаем у Пушкина стихи такие гладкие, такие простые, и нам кажется, что у него так и вылилось это в такую форму. А нам не видно, сколько он употребил труда для того, чтобы вышло так просто и гладко...»

Пушкин учит ответственности за каждое свое слово.

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию;
Но кто болтлив, того молва прославит
Вмиг извергом...

Для лидера необходимо безупречное владение родным языком. Именно Пушкин, по сути, создал современный русский язык, отстоял его в те времена, когда российская элита предпочитала изъясняться по-французски. Он знал, что благодаря усилиям Кирилла и Мефодия, создавших старославянский язык, Русь была одной из немногих стран, постигших и слово Божье, и сокровища мировой культуры из наиболее развитой страны тогдашнего мира — Византии на родном языке (языком образованной Европы была народная латынь).

«Как материал словесности язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива.

В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отседа заемлет он гибкость и правильность. Простонародное наречие необходимо должно было отделяться от книжного; но впоследствии они сблизались, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».

Настоящий лидер должен уметь держать удар. Неприятности, взлеты и падения будут обязательно. А в политику вообще лучше не идти, если у вас кожа тоньше, чем у слона. У Пушкина было множество взлетов и падений, и он всегда переносил их с удивительным достоинством.

Валерий Яковлевич Брюсов писал: «К началу 30-х годов окончательно обозначился разрыв между Пушкиным и современным ему кругом читателей. Уже “Борис Годунов” был встречен полным непониманием. Ряд других величайших созданий Пушкина нашел самый холодный прием со стороны критики и общества. Все, даже молодой Белинский, говорили “об упадке пушкинского таланта” именно тогда, когда гений поэта вполне раскрылся. Пушкин понял, что должен оставить все попытки подойти к своему читателю, т. е. снизить до него». Чувствуя свою правоту, не отступай от избранного пути:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
 Иди, куда влечет тебя свободный ум,
 Усовершенствуя плоды любимых дум,
 Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
 Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
 Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
 И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
 И в детской резвости колеблет твой треножник.

Надо не обижаться, а делать выводы. «Никогда не забывай умышленной обиды, — будь немногословен или вовсе смолчи и никогда не отвечай оскорблением на оскорбление», — учил Пушкин.

Вот стихотворение «Совет», которое в 1825 г. было адресовано Вяземскому:

Поверь: когда слепней и комаров
 Вокруг тебя летает рой журнальный,
 Не рассуждай, не трать учтивых слов,
 Не возражай на писк и шум нахальный:
 Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
 Никак нельзя смирить их род упрямый.
 Сердиться грех — но замахнись и вдруг
 Прихлопни их проворной эпиграммой.

И, конечно, на любую критику и небывшие нужно реагировать с юмором, как Пушкин в письме супруге из Болдина: «Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних губерниях? Вот как описывают мои занятия: Как Пушкин стихи пишет — перед ним стоит штоф славнейшей настойки — он хлоп стакан, другой, третий — и уж начнет писать! — Это слава».

Так что, когда услышите о себе множество небылиц — это слава.
Настоящий лидер — всегда патриот своей страны.

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была <б> без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

Пушкин иронизировал: «Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его историю знают только со времени Кн. Потемкина, имеют некоторое понятие о статистике только той губернии, в которой находятся их поместья, со всем тем почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью, и что дети их бегают в красной рубашке».

Пушкин учил, не закрывая глаза на недостатки своей страны (где их нет?), уважать свое Отечество и его историю.

В 1836 г. в журнале «Телескоп» были опубликованы «Философические письма» Чаадаева: «Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего... Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтобы со временем преподать какой-нибудь великий урок миру». Пройдут годы, и Чаадаев совершит головокружительный вираж — к признанию права России следовать собственным путем. Но зарожденное им интеллектуальное направление, которое назовут западничеством, европейством, космополитизмом, будет только набирать силу.

Чаадаеву возражали многие, образнее других — Пушкин. «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться, — писал он Чаадаеву. — Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Лидер хорошо понимает, в какой стране он живет, знает ее, чтит ее традиции.





«Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим», — замечал Пушкин.

Лидер чтит своих предков, знает свою родословную. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие. “Государственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному”».

Уважение традиции предполагает уважение национальных символов, среди важнейших из них — столицы.

Люблю тебя, Петра творенье,
 Люблю твой строгий, стройный вид,
 Невы державное течение,
 Береговой ее гранит,
 Твоих оград узор чугунный,
 Твоих задумчивых ночей
 Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
 Когда я в комнате моей
 Пишу, читаю без лампы,
 И ясны спящие громады
 Пустынных улиц, и светла
 Адмиралтейская игла...

Да и первопрестольная Москва, в которой прошло все детство, пусть и не так любимая, как Санкт-Петербург:

Москва! как много в этом звуке
 Для сердца русского слилось!..
 Как сильно в нем отозвалось!
 В изгнание, в горести, в разлуке,
 Москва! как я любил тебя,
 Святая родина моя!

Россия — страна множества верований, где живут люди разных национальностей. Пушкин, который оказался в ссылке за безбожье, на самом деле был верующим человеком.

«Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни одного выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется Евангелием — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

Но уважал Пушкин и другие религии. В «Альбоме Онегина» читаем:

В Коране мыслей много здравых,
 Вот, например: пред каждым сном
 Молись, беги путей лукавых,
 Чти Бога и не спорь с глупцом.

При описании других народов в трудах Пушкина нет высокомерия, он ими скорее любит. Вот отрывок из «Кавказского пленника»:



Но европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани;
Смотрел по целым он часам,
Как иногда черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремя
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешан;
Он им гордится, им утешен:
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет: пеший, конный —
Все тот же он; все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.

Уважение к своему прошлому предполагает уважение к великим историческим фигурам. К таковым поэт, без сомнения, относил Петра I.

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок неожиданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судьбы удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Можно точно определить тот момент, когда Россия стала великой европейской державой. Под Полтавой.

...И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей

Отряды конницы летучей,
 Браздами, саблями звуча,
 Сшибаясь, рубятся с плеча.
 Бросая груды тел на груду,
 Шары чугунные повсюду
 Меж ними прыгают, разят,
 Прах роют и в крови шипят.
 Швед, русский — колет, рубит, режет.
 Бой барабанный, клики, скрежет,
 Гром пушек, топот, ржанье, стон,
 И смерть и ад со всех сторон.
 <...>

Но близок, близок миг победы.
 Ура! мы ломим; гнутся шведы.
 О славный час! о славный вид!
 Еще напор — и враг бежит.
 И следом конница пустилась,
 Убийством тупятся мечи,
 И падшими вся степь покрылась,
 Как роем черной саранчи.

Пирует Петр. И горд, и ясен,
 И славы полон взор его.
 И царский пир его прекрасен.
 При кликах войска своего,
 В шатре своем он угощает
 Своих вождей, вождей чужих,
 И славных пленников ласкает,
 И за учителей своих
 Заздравный кубок подымает.

Очень высоко, хотя и неоднозначно, Пушкин оценивал Михаила Васильевича Ломоносова. «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем университете профессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый».

Пушкин едва ли не боготворил Михаила Илларионовича Кутузова. «Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титул: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?»

Лидер, прекрасно видя все недостатки, уважает настоящее своей страны, свой народ, избегает самоуничужения. Основоположником российского либерализма, а одновременно и типом первого русского интеллигента был Александр Николаевич Радищев, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». Его слова — «душа моя страданиями человеческими уязвлена стала» — вылились в матрицу сознания русской интеллигенции. Екатерина II сочла книги Радищева богомерзкими, заклеила его «бунтовщиком, что хуже Пугачева», и осудила на смертную казнь, замененную ссылкой.



Пушкин не случайно совершает обратное путешествие с томиком Радищева в руках и пишет в 1836 г. «Путешествие из Москвы в Петербург», где категорически расходится с предшественником. «В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реняля; но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приносившие ко всему, — вот что мы видим в Радищеве. Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить?»

«Очевидно, что Радищев начертил карикатуру», — считал Пушкин. Он рассказывал о простых людях России, с которыми ежедневно сталкивался, общался, когда бывал в своих имениях. «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют *un badaud*¹⁰; никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день... Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Пушкину немало доставалось, особенно в 1830-е гг., за «низкопоклонство перед властью». Это не было «низкопоклонством». Это было уважение к руководству собственного государства, что было несвойственно русской интеллигенции. Пушкин хорошо понимал: «Власть верховная не терпит слабых рук...»

В одном из немногих стихотворений, которые Николай I не позволил печатать, читаем:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю;
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:

¹⁰ Ротозей (франц.).

Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

<...>

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Личный цензор Пушкина опасался обвинений в подхалимаже. Впрочем, постепенно отношения Пушкина и Николая I стали не такими теплыми, как ранее. Высочайший указ придворной конторе от 31 декабря 1833 г. гласил: «Служащих в Министерстве иностранных дел, коллежского ассессора Николая Ремера и титулярного советника Александра Пушкина, Всемилостивейше пожаловали Мы в звание камер-юнкеров Двора Нашего. Николай». Натали была в восторге, это открывало ей доступ ко двору. Но не Пушкин. Вяземский напишет великому князю Михаилу Павловичу 14 февраля 1837 г.: «Ключ камергера был бы отличием, которое бы он оценил, но ему казалось неподходящим, что в его годы, в середине его карьеры, его сделали камер-юнкером наподобие юношей и людей, только что вступающих в общество». Впрочем, сам Пушкин понимал: «Конечно, сделав меня камер-юнкером, государь думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не думал уж меня кольнуть». Пушкин был прав. «Царь не мог нарушить закон. Имея на гражданской службе чин титулярного советника, хотя давно “никакой службы не исполнял”, Пушкин не мог иметь при дворе чин выше камер-юнкера (в тот период камер-юнкеров насчитывалось около ста человек)»¹¹.

Но самолюбие Пушкина было уязвлено: «Государю неуютно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть подданным даже рабом, — но холопом и шутком не буду и у царя небесного». Кроме того, поэт подозревал, что император приблизил его к себе, чтобы иметь возможность танцевать на балах с Натальей Пушкиной.

В 1836 г. Пушкин с полным основанием написал строки, которые может себе позволить только настоящий лидер:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрійского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

¹¹ Боханов А. Н. Николай I. М., 2008. С. 176.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспривай глупца.

В ноябре 1836 г. Пушкин получил анонимный пасквиль, где его возводили в ранг заместителя великого магистра роконосцев. К тому времени за женой поэта уже год ухаживал барон Жорж Дантес, приемный сын нидерландского посланника в Москве.

Противники стрелялись 27 января на Черной речке по правилам французских дуэлей. Николай I писал в день его смерти 29 января 1837 г. графу Киселеву: «Он погиб, Арендт (доктор. — В. Н.) пишет, что Пушкин проживет еще лишь несколько часов. Я теряю в нем самого замечательного человека в России». Дантес доживет до глубокой старости.

Гоголь справедливо утверждал: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

«Дон», 2016, № 10-12



Людмила ЯКИМОВА

МЕМУАРЫ УЧЕНОЙ ДАМЫ*

Горно-Алтайск

Всего за несколько дней пути поезд с Казанского вокзала прибыл в Новосибирск, здесь была пересадка в поезд до Бийска, от Бийска автобус довез до Горно-Алтайска и остановился в его центре напротив деревянной гостиницы в два этажа. Был май, торжествовала ослепительно яркая, солнечная весна, когда я ступила на алтайскую землю. Спустили вниз и два моих чемодана, один с нарядами, другой — с книгами и конспектами, еще был тюк с зимним одеялом и пуховой подушкой, заботливо упакованными мамой, которым я сопротивлялась до последней минуты и спасительное тепло которых оценила много позднее. И вот первый впечатляющий факт ожидаемой экзотики далекого края: тротуар, на который я ступила, выйдя из автобуса, был деревянный! По сути дела, через всю улицу шел дощатый настил, покоившийся на деревянных плахах. И поскольку, как и положено, при гостинице располагался ресторан типа «чайная», то обедать сюда подъезжали и спустившиеся с гор местные жители. Их я сразу и увидела: некоторые верхом на лошадях, в овчинной одежде, высоких меховых шапках с плоским верхом, одинаковых и у мужчин, и у женщин. Круглолицые, смуглые, с узким разрезом глаз, они сразу ассоциировались с образами Майн Рида и воскрешали детскую память об альбоме «Ойротия», долгие годы хранившемся на печной полке и неизвестно как туда попавшем: случаются же в жизни такие странные сближения!

Прямо на остановке встретилась женщина с ребенком на руках, показала на гостиницу, как-то по-родственному, по-домашнему, как будто ждала меня, довела до входа, помогла с чемоданами; она и стала моей первой знакомой в Горно-Алтайске, во многом способствовавшей моей «акклиматизации» — Таня Автономова, жена местного хирурга. Они переселялись в новую квартиру, и пока она жила с ребенком в гостинице. Как и положено, в гостинице был дефицит мест, и меня поселили в номере на двоих: соседки менялись постоянно, но не слишком часто. Удобства минимальные: ни ванны, ни душа; на этаже — туалет, умывальня, титан, утюг... Вода только холодная. Питание в «чайной», что внизу. Меню — стабильное, рассчитанное на серьезный аппетит с учетом вкусов местных жителей: много мяса и жира, плов, пельмени. Никакого баловства с кофе и бутербродами. Но с мыслью о том, что гостиница — это временно, как молодому специалисту мне положено казенное жилье, — я приняла предложенные условия как должное, а неумное любопытство к жизненному разнообра-

* Журнальный вариант. Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2017, № 4.

зию примирило с гостиничным бытием и заставило увидеть даже некоторые его достоинства.

Здесь жизнь открывалась в каком-то необычно выразительном разрезе, как в калейдоскопе представала в смене людских потоков — гостиничных постояльцев со всех сторон и концов страны: геологи, археологи, артисты, художники, спортсмены, цыганский ансамбль, экскурсанты, практиканты, туристы...

На другой день я вышла из гостиницы, чтобы оглядеться и предстать перед руководством института. Здесь все было рядом, что называется рукой подать: обком партии, научно-исследовательский институт языка и литературы, кинотеатр, одноэтажный универмаг, где продавали все — от ковров до хомутов. Я пересекла деревянный мост через Улагу и оказалась в пединституте. Меня здесь ждали, и даже с нетерпением. Я должна была принять часть курсов уезжающего из Горно-Алтайска завкафедрой Юрия Борисовича Егермана, и первая встреча с ним повергла меня в профессиональный трепет. Мы поднимались по лестнице, шли по коридору, и он едва успевал отвечать на приветствия: студенты охотно здоровались с ним, обгонявшие нас оборачивались, чтобы сказать ему: «Здравствуйте!» Не требовалось особой наблюдательности, чтобы понять: его здесь любят, к расставанию с ним равнодушны. И я должна заменить им его?! Вспомнилось то чувство досады, которое возникало при известии о том, что вместо И. И. Ермакова читать лекцию (всего одну!) будет его аспирант, а С. А. Орлова заменит Вайншток. Тут же с моим появлением произойдет полная смена декораций — есть отчего прийти в волнение. Сама жизнь ставит меня в соревновательные условия.

До какой степени напугал меня бытовой фон горно-алтайской действительности, а я предвидела, что главные страхи еще впереди, в той же степени неожиданно более чем благоприятным оказалось впечатление от преподавательского состава кафедры литературы да и от факультета в целом. Многие находились в летнем отпуске, так что знакомство происходило по мере возвращения людей на работу, пока же кафедра удивила преобладанием в ее составе мужчин; кроме Егермана я сразу познакомилась с зарубежником Борисом Александровичем Гиленсоном, выпускником МГУ, Михаилом Дмитриевичем Бочаровым, ведшим советскую литературу. Первый выглядел по-студенчески молодо, но держался неприступно и независимо; второй смотрелся вальяжно, барственно, но с первого момента знакомства проявил склонность к общению. Как я поняла позднее, текучесть кадров здесь была опасно высокой, большая часть преподавателей жила надеждой уехать после защиты кандидатских диссертаций.

Слой национальной интеллигенции был еще тонок, пожалуй, именно в 50-х годах и был заложен фундамент ее развития в последующие десятилетия. Директором института в момент, когда я приехала, был Барий Ганиевич Хаматов, научно-учебной частью заведовала Т. М. Тошаклова. Сестры Тошакovy — Таисия Макаровна и Екатерина Макаровна — воспринимались как знаковые фигуры национальной культуры Горного Алтая, обе они занимались проблемами его истории и этнографии, и ими гордились, как первыми кандидатами наук. Они и внешне достойно представляли свой народ — высокие, стройные, с выраженными национальными чертами женской красоты. Позднее судьба свела меня с Екатериной Макаровой в Академгородке: разными путями мы обе оказались в составе научного коллектива Института истории, философии и филологии СО АН под руководством академика А. П. Окладникова и общая память о Горном Алтае сблизила нас.



На кафедре историко-филологического факультета работали С. С. Каташ, Е. С. Зарибко, Н. Н. Суразакова — приятные в человеческом и профессиональном отношении люди. Я проработала бок о бок с ними многие годы и испытывала в основном их искреннюю благорасположенность. Они были органично вписаны в свою национальную среду, здесь были их семейные корни, многочисленные родственники и друзья, устойчивый быт. Вокруг таких же, как я или Б. Гиленсон, прибывших сюда по общественному долгу, невольно складывалась какая-то специфическая атмосфера — от праздного любопытства до искреннего интереса, от дружески-покровительственных до ревниво-конкурентных отношений. В моем случае положение осложнялось еще и тем, что, в отличие от Б. Гиленсона, я была особой женского рода и очень опасного в некотором смысле возраста: мне едва исполнилось 25 лет.

О том, насколько неоднороден и своеобразен был состав горно-алтайского общества, говорит колоритная фигура Арнольда Константиновича Мери, личности поистине легендарной, исторической, даже мифологической. Двоюродный брат президента Эстонии Леннарта Мери, он прошел жизненный путь, отмеченный крутыми поворотами советской истории, на своей судьбе испытал колебания, зигзаги и сломы идеологической линии правящей партии, познал и взлеты, и падения. Участник Великой Отечественной войны, четырежды раненный, он стал первым эстонцем, удостоенным звания Героя Советского Союза. После войны он делал успешную карьеру общественно-политического лидера, работал секретарем ЦК комсомола Эстонии, учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), но, став жертвой клеветы, лишенный орденов и званий, оказался в Горно-Алтайске, где работал сначала учителем труда в школе, а после реабилитации в 1956 г. и окончания ВПШ — преподавателем политэкономии в пединституте. Здесь-то он и предстал однажды перед коллективом во всем сиянии своих орденов: Золотой Звезды Героя, двух орденов Ленина, орденов Отечественной войны I и II степени, двух орденов Трудового Красного Знамени, двух орденов Красной Звезды... В 60-х гг. он вернулся на родину, где работал на руководящих должностях в сфере культуры и образования. Но превратности судьбы не оставили его. Распался Советский Союз. Эстония обрела независимость, и уже в глубокой старости А. К. Мери снова подвергся гонению, теперь обвиненный в геноциде по делу депортации на одном из балтийских островов...

К счастью, мое заточение в гостиничном номере, похожем на конуру, надолго не затянулось. Повезло, как это иногда случается, совершенно неожиданно. Семья преподавателя педагогики Красновского уезжала в отпуск и мое проживание у них в квартире во время их отсутствия рассматривала как хороший способ не беспокоиться о ее сохранности.

Квартира в типовом доме на Социалистической улице состояла из большой комнаты с альковом для спального места, отделенным от общего пространства шторой, и кухни; была и ванная. Красновские жили вдвоем, и все в их квартире было рассчитано на долгое, спокойное житье, но смерть Ивана Яковлевича случилась еще при мне, за год до моего отъезда. Я помню эти первые при мне похороны в Горно-Алтайске, как и то, как горько, не стесняясь слез, плакала я тогда. Плакала и о нем, хорошем и не старом еще человеке, и о себе, под внешним декором жизни которой именно этот, не лишенный внутренней прозорливости человек, к тому же педагог по профессии, пытался разглядеть что-то неизъяснимое, скрытое, не понятое другими. Его комплименты, хотя бы в спе-

диально предназначенный для этого день 8 Марта, звучали несколько странно, каким-то диссонансом по отношению к привычным: он хвалил не шляпки, духи или что-то другое по части дамских изощрений, а, например, говорил: «Вы стойкий оловянный солдатик». Он часто в моем присутствии цитировал: «Настоящий мужчина — это женщина. Это я вам точно говорю». Или: «Вы никогда не жалуетесь, Людмила Павловна, на трудную жизнь. Вам что, не бывает тяжело?.. Все-таки ответственная работа, общественная нагрузка, дети... К тому же муж...» Мужа он тоже почему-то проводил по разряду «трудности жизни». Муж и правда — иногда любил входить в роль третьего в семье ребенка.

- Вот и на соседей вы не жалуетесь, — добавлял Иван Яковлевич.
- А они, что, жалуются?
- Бывает...

Родина четы Красновских была далеко, они были с Украины, но могила его, теперь уж, верно, заросшая и заброшенная, осталась в далеком Горном Алтае, где он проработал многие годы. Именами таких безвестных тружеников улиц не называют, но дело Ивана Яковлевича все живет, даже не в памяти и воспоминаниях, а в том неуловимом веществе духовности, которое он стремился заложить в умы и сердца своих студентов, ставших потом учителями.

Оказавшись в удобных условиях, я наконец без помех отдалась делу... и запойному чтению — вопреки делу, но как одно отделить от другого? К моему удивлению, в захолустном институте оказалась прекрасная библиотека: хороший набор литературоведческих книг и, что было неожиданно, чуть не все полные собрания сочинений издания А. Ф. Маркса — Мамина-Сибиряка, Чехова, Андреева... Оказывается, библиотека — богатое наследство эвакуированного в годы войны в Горно-Алтайск Московского педагогического института им. Потемкина. Институт вернулся в Москву, а библиотека осталась. Доступ к стеллажам был по-домашнему открытым, словом, как бы сказал папа, «пустили козла в огород».

Мое преподавательское крещение состоялось на лекциях по литературе XVIII века у заочников. Это был совершенно особый контингент студентов: учителя из горных аймаков, русские и алтайцы, преподаватели русского языка и литературы, все они поголовно были намного старше меня, по виду во всяком случае.

Конечно, с точки зрения возможности заинтересовать эту аудиторию и вызвать расположение к себе выгоднее было бы начать с предмета, более приближенного к современности, с XX, например, века — Блока, Маяковского, Всеволода Иванова, а не с Кантемира и Сумарокова. У нас в институте этот курс читал Червяковский, большой, рыхлый, с сияющей во всю голову плешью и огромным, как чемодан, портфелем, служившим одновременно и хозяйственной сумкой. Он был неиссякаемым источником баек о его феноменальной рассеянности, вроде произошедшего на наших глазах случая, когда, выкупив по семейным карточкам хлеб и забыв засунуть его в портфель, он так с буханкой под мышкой и прошагал перед нами первый час лекции в свойственной ему манере от двери до окна и обратно. Его любимцем был Тредьяковский: «Телемахиду» он читал наизусть с восторгом и упоением, буквально закатив глаза к небу, и уроки воспитания Телемаха преподносил как вечные и образцовые для всех времен и народов. Для меня же этот период не был столь родным, и я опасалась приглушить у слушателей интерес к нему отсутствием собственной влюбленности в излагаемый материал. Трудно убедить в каких-либо эстетических достоинствах стихов, которыми улаждал слух своих современников Сумароков:



В победах, под венцом, во славе, в торжестве
Спастися от любви нет силы в существе.

Но тем не менее литература XVIII века оставила в наследство XIX веку достойные имена — Фонвизина с его нетленным «Недорослем», Радищева с его до сих пор непревзойденной силой обличения социальной несправедливости и, конечно же, Гавриила Романовича Державина. Один из самых строгих охранителей царского трона, незыблемый консерватор в политике, он предстал смелым новатором поэтической системы национальной литературы.

Державина я любила независимо от каких-либо профессионально-литературоведческих ориентиров. Он одним из первых русских поэтов сумел облечь в прекрасную поэтическую форму самые простые, обиходные человеческие чувства, сделать предметом искусства бытовое поведение:

А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью;
Преображая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль свою.

Когда наступил сентябрь, студенты вернулись «с картошки», сиречь из колхозов, где дергали лен и чистили кошары, то услышала я, сидя в деканате, толкотню у двери и горячий шепот: «Смотрите, смотрите, восемнадцатый век сидит». Читая XVIII век заочникам, я многое ощутила и поняла заново, поднялась еще на одну ступень филологического образования. За время же работы в Горно-Алтайском пединституте с 1955 по 1965 год — целое десятилетие — я прочла все курсы русской литературы от древнерусской до советской, включая «введение в литературоведение», и картина синхронных и диахронных связей русской культуры предстала в необходимой полноте и наглядности, неопценимость чего представилось возможным понять позднее, когда пришло время полностью отдаться научно-исследовательской работе.

Я все время забегаю вперед, но, прихотливо передвигая регистры в пространстве ушедших лет, нить повествования, как Ариадна, держу в руках крепко. Жизнь не стояла на месте, уже и Красновские предупредили письмом о своем приезде, тепло благодаря меня за душевный покой, который обеспечила я им во время отпуска своим присутствием в их квартире. Не знаю уж, иронизировали они или искренне были убеждены, что это я им оказала услугу, а не они ко мне проявили человеческое внимание и сочувствие. Но судьба избавила меня от возвращения в гостиничный номер: от Красновских я прямо в свою квартиру и заселилась.

О том, что такое собственный угол в Горно-Алтайске, я получила наглядное представление благодаря Тане Автономовой. Однажды по пути к портнихе, с которой она взялась меня познакомить, мы зашли к ее приятельнице: она учительница, он — милицейский работник с чином, снимали комнату в частном доме. Горно-Алтайск в полной мере оправдывал свое название: пологие горы, обильно покрытые растительностью, окружали его со всех сторон, улицы решительно взбирались на склоны. На одной из таких горных улочек и был расположен тот дом, куда мы с Таней нагрянули с неожиданным визитом. Понятие «своего дома» прочно ассоциировалось у меня с оставленным в Горьком родительским домом. Это же увиденное мною творение местного зодчества домом можно было назвать с большой натяжкой. Не хибара, не хижина, не сарай, но и

не дом, а домишко из двух комнат. В одной, размером побольше, жили хозяева, в другой — квартиранты. Дома их не оказалось, предупредить о визите заранее было нельзя, телефонная связь в городе отсутствовала. Домишко буквально кишел живностью. В хозяйской комнате временно разместился птичий детсад: в большом низкостенном ящике оперялись и пищали цыплята, гусята, индюшата, за ними внимательно наблюдал большой рыжий кот.

— Не утащит? — спросила Таня.

— Попробовал бы, — сказала хозяйка, кивнув на улегшуюся тут же собаку, в свою очередь не сводившую глаз с кота.

День был яркий, солнечный. На дворе кудахтали куры, довольно похрюкивал поросенок, вечером с пастбища пригоняли корову. Впрочем, густые ароматы этого подворья ощущались уже на подходе. Хозяин был холодным сапожником: повернувшись спиной к двери, стучал молотком, сидя на табурете и разложив свой инструмент на подоконнике. Хозяйка, зная Таню как жену доктора, охотно распахнула дверь в комнату жильцов: полка с книгами, приемник, гитара, ковер над диваном, прикрывающий голую неприглядность стен, свидетельствовали о стремлении живущих в этой комнате людей создать свой мир, жить по своим правилам. Провожая нас, хозяйка старательно убеждала Таню, что живут в согласии, почти по-родственному, одной семьей. Было над чем задуматься после такого визита.

Не иначе как в назидание послан был мне этот визит на окраину города, чтобы в полную силу могла я оценить благо собственного жилья. Мне дали комнату в доме, похожем на преподавательское общежитие, по улице Театральной, минутах в пяти — десяти от института. Дом был деревянный, приземистый, с низко расположенными, подслеповатыми окнами, в которые легко было заглянуть с улицы, если б не палисадник, глухо заросший бурьяном и одичавшими ягодными кустами — малиной и черной смородиной. Такая же дикая поросль заполняла и обширный двор, в глубине которого располагался дровяной сарай и будка специального назначения. В этом доме я прожила и одна, и с семьей много лет, поэтому комната, с которой началась моя жизнь в нем, достойна отдельного описания. Дверь в нее шла из прихожей, служившей одновременно и кухней, и закрывалась лишь на задвижку. Первыми моими соседями здесь были Бейлисы; он, кажется, преподавал в институте химию, где работала она, я узнать так и не удосужилась. Для помощи по хозяйству и присмотру за девочкой лет пяти-шести, толстенькой и усыпанной веснушками, они держали домработницу Вальку, бойкую, разбитную девицу из местных. Семья занимала в доме две комнаты и кухню, но дверь одной из комнат выходила еще и в ту прихожую-кухню, которая примыкала к моей комнате. Кроме плиты здесь стояла еще кровать Вальки у стены, вместо ковра украшенной яркими праздничными плакатами типа «Да здравствует Первое мая — день солидарности трудящихся всего мира!» Время от времени она их обновляла. Когда время обновления наступало, на кухне раздавался грохот падающих с кастрюль крышек, раздраженное хлопанье печной дверцы. Я выходила из комнаты:

— В чем дело, Валя?

— Да ну, к чертовой матери, Людмила Павловна, бежать надо, а тут не кипит, не варится.

— Куда бежать-то?

— А плакаты новые сегодня подвезут...

— Ну так позднее сходите.



— Разберут к чертовой матери... Людмила Павловна!!!

Комната моя имела вид вытянутого прямоугольника, мебелированного из запасов институтского инвентаря: кроме железной койки с панцирной сеткой по противоположной ей стене располагалось нечто, долженствующее обозначать диван и похожее на садовую скамейку, и на одной линии с ним — длинная парта с открытыми нижними полками. Посредине — круглый стол. Пара стульев. С потолка свисала голая лампочка. Этот мебельный гарнитур выглядел столь кричаще казенно и уныло, что сердце тревожно забилося, но при воспоминании о домике с живностью и дружбе квартирантов с хозяевами я пришла в себя.

Я уже успела втянуться в учебный процесс, читала и древнерусскую литературу, и XVIII век, и введение в литературоведение, руководила курсовыми работами заочников; уже хотелось, пользуясь приобретенным в аспирантуре и осадным сидением в библиотеках багажом, и людей поучить, и себя показать. Молодая энергия была фонтаном, на работу ходила как на праздник, не боясь и словом красивым, и красивым нарядом щегольнуть. И начальство было довольно, видя мою безответную готовность нести любую нагрузку. Все было более чем хорошо, пока не пришли зимние холода. Тут-то я и поняла цену тех полениц, которыми был окружен каждый дом в городе, ощутила глубину своей беспечности. И голод, и холод для человека одинаково мучительны. Я куталась в мамин пуховый платок, пряталась под зимнее одеяло, но холод доставал и пронзал до костей. В отчаянии пришла в соседний дом, манящий запасами в объеме дровяного склада:

— Продайте!

— Не продаем, — ответила хозяйка, — разве вот обменять на что.

— На что?

— А вот платок на тебе... пожалуй, обменяю.

Три вязанки дров, сброшенные ее сыном около нашего сарая, сгорели быстро. Потом она вспомнила, что «девка ее видела на мне еще летом бусы», обменяли на дрова и их; не знаю уж, чем еще на мне прельстилась бы ее «девка», но тут о мытарствах моих каким-то образом прослышал институтский парторг — Федор Алексеевич Виданов и пришел бедной комсомолке на помощь. Сам и дрова со склада выписал, а когда я, увидев эти огромные бревна, чуть не заревела, помог и пильщиков найти, и поленицу соорудить. Правда, дрова были сырые, растопить печку стоило труда, но деваться им было некуда, рано или поздно разгорались, давая необходимое тепло. Беда только, что в роли благодетеля бедной девушки, как Макар Алексеевич Девушкин около Вареньки Доброселовой, Виданов стал меня утомлять.

Семья

Новый, 1956 год встречали всем институтом: после праздничного концерта художественной самодеятельности — танцы под общую радиолу на всех этажах. На танец пригласил молодой человек в очках, с лысиной, открывающей высокий лоб: танцевал виртуозно, я — не очень, но общему удовольствию, новогодней радости и веселью это не мешало. «Малинин Евгений Дмитриевич, преподаватель политэкономии, а о вас я слышал». Потом я стала замечать, что часы наших занятий по вечерам совпадают как-то очень уж часто, а иногда он терпеливо дожидался завершения всех моих контактов со студентами, и мы вместе выходили в ночной город, бродили по тихим его улицам и улочкам, прикрытым тенью гор,

подолгу стояли на деревянном мосту над горной речкой. Однажды он зашел в мою девичью светлицу; отогреваясь от мороза, пили чай с малиновым вареньем и сухарями.

— А что готовите на ужин?

— Манную кашу.

— А можно мне?

Молоко Валька загодя выставляла на холод, манная каша — не котлеты, готовится мгновенно, да и любила я ее. Она хранила память о детстве. Для прикорма Али мама варила манную кашку в маленькой кастрюльке — на козьем молоке, сладкую, а когда малышка, насытившись, начинала вертеть головкой, мама подвигала остатки каши мне, сидящей рядом и с нетерпением ждущей: «Доешь». И никакое самое разволшебное бланманже не шло в сравнение с этой кашей на дне кастрюльки.

Кашу мы тоже ели с малиновым вареньем из домашних присылов. Хохотали — малиновый перебор! И чай с малиновым вареньем, и каша манная с малиновым вареньем, и Малинин за столом! Словом, манна небесная да и только!

Болтали, обсуждали городские и институтские новости, рассказывали о себе. Его мальчишеской мечтой было стать летчиком или моряком дальнего плавания. Он поступил в авиационно-морское училище в Ейске, но обнаружился дефект зрения, пришлось надеть очки, с болью отказаться от мечты. Поехал в Москву, представил документы в МГУ, в мальчишеском озорстве и лихачестве вступительное сочинение написал в стихах и... прошел. На экономическом факультете специальность выбрал опять с прицелом на мечту и романтику — индийское отделение, где изучал хинди. Нездешней музыкой этого языка он заворожил меня: я сразу воспылала надеждой увидеть страну, где говорили на этом неслыханно-сказочном языке. И так в нашей жизни потом все обернулось, что я эту страну увидела, а ему не довелось.

События между тем набирали обороты. Неразлучность нашу мы не скрывали, и в специфических условиях Горно-Алтайска она вскоре стала предметом общего размышления. Удивительно: казалось, что наши отношения — это личное дело двоих, но реакция людей на них оказалась различной. Меня стал обходить стороной Виданов, дружески стимулировал поведение Малинина Иван Егорович Семин, заведующий кафедрой русского языка: «Не прозевай, коллега», дипломатично подталкивая к решительному шагу и меня: «У вас достойный поклонник, Людмила Павловна». И как я поняла позднее, с облегчением вздохнули многие не очень уверенные в своих мужьях жены, но прежде всего приуныла девичья часть студенческой аудитории, где он читал лекции: в него уже успели влюбиться многие, и от этой влюбленности некоторых из них я, став его женой, потом немало настрадалась.

В нем каким-то тугим узлом были завязаны в неразрешимое противоречие разные чувства. В душе он был романтик, но чуждался языка поэзии, боялся «красивости» в проявлении чувств, избегал всего того, что было, по его представлениям, не реальной жизнью, а «филологией», и свое отношение ко мне он тоже выразил предельно просто, без «ложной красивости». Однажды сказал: «Хорошо с вами, Людмила Павловна. Не хочется уходить... никуда и никогда».

Я привыкла к филологическим изыскам, нуждалась в других словах, но и своей жизни без него уже не хотела, не представляла.

Так и случилось, что «никуда и никогда» мы друг от друга не ушли. Целых пятьдесят лет — полвека, до того самого последнего момента, когда он ушел из



этого мира навсегда, мы оставались вместе. Часто и подолгу по велению жизненных обстоятельств разлучались, но это ничего не меняло «в существе» наших отношений.

Летом, увидев меня в любимом моем зеленом в горошек платье с летящими басками, проректор Таисия Макаровна Тошкова сказала: «А животик-то уже заметен». Действительно, «животик» городское общество увидело раньше, чем заметила его я. Евгений Дмитриевич терпеливо ждал какого-то инициативного разговора с моей стороны на эту актуальную для наших семейных отношений тему, но, поняв, что не дожидается, однажды, когда оказались в городском центре, решительно взяв за руку, сказал:

— Пойдем! — И повернулся в сторону административного здания. — Паспорт у тебя с собой?

Так мы оказались у двери с табличкой «ЗАГС», где нас без каких-либо церемоний и промедления официально провозгласили мужем и женой. Согласия моего не потребовалось, оно было написано на лице и, еще выразительнее, чуть ниже. Когда речь зашла о перемене фамилии, Евгений Дмитриевич вмешался: «Я думаю, тебе больше понадобится вскоре твоя, чем моя». Он имел в виду наши диссертационные дела, и я навсегда осталась ему благодарна, что удалось сохранить свою девичью фамилию. Она нравится мне своей нераспространенностью, нечастотностью, хотя того же происхождения, что Иванова, Петрова, Николаева...

К новой, второй по счету, горно-алтайской зиме мой «животик» округлился до размеров «живота», который лишней раз демонстрировать обществу я стеснялась: по моей просьбе занятия перенесли на вечернее темное время, я лихорадочно торопилась завершить свои лекционные курсы и, хотя по закону находилась в декретном отпуске, опять по беспечности не обратив внимания на свои права, простаивала за кафедрой часами, впадая временами в токсикозные обмороки. Дитя в животе настойчиво толкалось и рвалось на волю. Буквально за неделю до появления сына я прибыла в Горький, боясь не довезти его до роддома в природной упаковке. В родительском доме я прожила больше пяти месяцев, очень скучала по мужу, волновалась за лекционные курсы. Видя мои тревоги и метания, а главное, то, как это отражается на питании ребенка, родители сказали свое решительное: «Возвращайся. Ребенка оставь нам». Его уже стали подкармливать, и такое питание он даже предпочитал грудному молоку. Да и везти его в наше малооборудованное жилье было опасно. Родители были еще молоды, им едва исполнилось пятьдесят лет, ребенок им был не в тягость, и за год, пока мы собрались привезти его к себе, они уже так к нему приросли, что вернули нашу законную собственность не без сопротивления.

К тому времени изменились и наши бытовые условия. На смену Б. Г. Хаметову приехал Владимир Павлович Стрезикозин, номенклатурный работник системы просвещения, опытный педагог и организатор, и его семья поселилась в той части дома, которая освободилась после отъезда Бейлисов. Благодаря поручению Владимира Павловича к нашей комнате прирубили еще одну, наглухо закрыли дверь, ведущую из кухни в их половину, и наше жилье выглядело теперь куда просторнее и благоустроеннее.

Время это вспоминается охотно и светло: столько в нем было безотчетной радости бытия, беззаботного доверия к жизни, нетребовательности к внешним условиям существования. Новые соседи были много старше. По-чиновничьи сдержанный в проявлении чувств, строгий и неприступный, высокий, в темном

костюме, очках, Владимир Павлович был внутренне терпелив и даже благодушен. По долгу службы он побывал на моих лекциях по древнерусской литературе. Темой были воинские повести, «Задонщина», ее загадочная связь со «Словом о полку Игореве». Я ждала анализа и строгого разбора, вместо этого он сказал: «Все в порядке», и ироническая усмешка мелькнула в глазах; ловила я ее на себе и позднее, так и не определившись с ее смыслом. Жена Клавдия Ивановна была его полной противоположностью. Маленькая, сухонькая, подвижная, склонная к быстрым знакомствам и широкому кругу общения, она звала его «Володька». Их десятилетняя Светлана, хорошенькая, живая, с быстрыми глазками и тонкими чертами лица, восприняла нашего Димку как живую игрушку, они стали неразлучны: он для нее — «Димся», она для него — «Светанка». Как родную, полюбил он и «Кадиванну».

Семья их только что вернулась из Польши, где Владимир Павлович занимал какой-то представительский пост, и привезла с собой много необычных для такого захолустья, как Горно-Алтайск, предметов быта и домашнего обихода. Я, например, не могла оторваться от чайного сервиза, притягивавшего взгляд своим буржуазным изыском, но настоящей сенсацией стал холодильник. Огромный ковер закрыл щербатый пол, нездешней красоты гардины прикрыли неприглядность окон, мягкая мебель и торшер придали их гостиной европейский вид, и на все это можно было не только глядеть и любоваться, но пользоваться и наслаждаться. Неудивительно, что Димка предпочитал нашему бытовому аскетизму этот развращающий буржуазный уют и комфорт и постоянно прорывался к Кадиванне.

Но многим обогатился и наш быт. Неутоленную мальчишескую страсть к романтике и играм Евгений Дмитриевич воплотил в приобретении аккордеона, фотоаппарата и собаки. Он назвал ее Чайкой, и с тех пор, сколько бы ни появлялось в доме собак и кошек, право давать им имена неизменно сохранялось за ним. Уже в Новосибирске последовательно или одновременно у нас появлялись пудель Абрек, кот Плебей, черная как ночь кошка Сильва, овчарка Барон. Уходя навсегда, он оставил меня вдвоем с котом Платоном, а когда не стало этого мудрого, как философ, кота, свою кошечку я незамысловато назвала Кисой, памятуя, очевидно, о детской сказке-притче Льва Квитко «А не назвать ли нам кошку кошкой?».

Чайка была овчаркой с хорошей служебной школой, хозяин по крайней надобности со слезами на глазах расстался с ней, но у нас она одичала и всю свою былую выучку утратила. Когда Евгений Дмитриевич отлучался — то на длительную стажировку в Москву, то по диссертационным делам в Новосибирск — и я, не справляясь с такой нагрузкой, как лекционные курсы, дети и собака, вынуждена была отказаться от чинного выгула ее на поводке и отпустить в город на вольную прогулку, она нередко впадала в охотничий азарт и из неутраченного чувства доброжелательности к своим безответственным хозяевам приносила свой трофей к нашему порогу. Вслед за собакой с криком и угрозами в дом врывались пострадавшие — приходилось платить за нанесенный ущерб и возвращать задушенную курицу.

Но все это будет происходить позднее, пока же не только в памяти, но и с фотографий, сделанных Евгением Дмитриевичем, встают живые сцены нашей жизни тех лет: вот я с трудом сдерживаю на длинном поводке вздыбленную на задних лапах Чайку, рвущуюся опрокинуть гоняющихся друг за другом Димсю и Светанку; весело пылает огромный костер, большим любителем устраивать



который по любому поводу был Евгений Дмитриевич; близко друг к другу сидят на дворовой скамейке Владимир Павлович и Кадиванна. Даже заросший бурьяном двор преобразился и повеселел: непролазные заросли пришлось кстати для игры в прятки. С сыном удавалось справляться благодаря гибкости расписаний обоих родителей и не без помощи всего семейства Стрезикозиных, исключая, конечно, Владимира Павловича, особенно же тогда, когда приехала из Москвы их старшая дочь Нина с только что появившимся на свет младенцем. Проблемы одинокой Нины деликатно обходили молчанием, дипломатично воспринимая ее неожиданное появление как нечто должное, но теперь в пригласе за Димкой можно было положиться и на нее.

О Димке можно рассказывать долго, в его детстве много поучительного и вызывающего интерес. В Горно-Алтайск он прибыл уже вполне осознающим свою человеческую идентичность: дед и баба не то чтобы сознательно учили уроки воспитания собственных детей, просто к этому времени они сами успели стать другими, изменились и обстоятельства их жизни. К тому же ко многому обязывала взятая на себя добровольно ответственность перед дочерью.

Ребенок уже не произрастал как крапива у забора, предоставленный сам себе; он был все время на глазах, привык быть законной частью взрослого мира, не дичился, не стеснялся, свободно общался. В отличие от нас, содержавшихся по остаточному принципу, бегавших до холодов разутыми и одетыми во что попало, внука одевали на загляденье. Мама ощущала собственное удовольствие от вида красиво одетого внука, и, поскольку с детской одеждой в стране дело обстояло по-прежнему из рук вон плохо, ее стараниями был приобретен старый мужской пиджак благородной неброской расцветки в стиле пье-де-пуль и отдан в перешив местной портнихе. Так что в Горно-Алтайск наш карапуз прибыл в образе буржуинчика в стильном пиджачке и берете. И когда в квартире Кадиванны его одежду небрежно бросили на стул или диван, он назидательно изрек: «Надо повесить».

К сожалению, Стрезикозины в Горно-Алтайске не задержались, вернулись в Москву, теперь их половину дома по Театральной, 6 заняли мы, а в нашей поселилась семья Белявских. В результате такой квартирной ротации наши жилищные условия улучшились, а с другой стороны, мы лишились дружеской соседской поддержки и опоры. Дмитрия отдали в садик, но иногда обстоятельства складывались так, что сына приходилось брать с собой на занятия. Присутствие его в учебной аудитории я старалась сделать как можно более незаметным: пристраивала на задний ряд, где потемнее, вручала бумагу, карандаши, яблоко, книжку с картинками или раскраску, строго наказывала: «Сиди тихо, из-за парты не выходи, иначе...» «Иначе» предусмотрительно не расшифровывалось, но в ощущении страшной альтернативы ребенок пыхтел, возился и перемещался в пределах скамьи, нырял под нее и снова выныривал, что условиями не возбранялось, ронял карандаши, хрустел яблоком, но все в границах договоренности. Древнерусскую литературу, которую я успела полюбить как родную, читала двум потокам — у литераторов и историков, и так случилось, что на одну и ту же лекцию по «Слову...» Димка попал дважды. Насторожившись на своей галерке, он вдруг возмущенно закричал: «Знаю я про это... Уже говорила!.. Зачем опять?»

На практических и кружковых занятиях обстановка выглядела более приватной. От студентов я требовала заучивания многих стихотворных и даже прозаических текстов наизусть, стихи звучали и дома, и Димка с его восприимчиво-

стью к слову и хорошей памятью рвался подсказать и вообще подать свой голос, что называется, на равных.

В возрасте четырех-пяти лет он серьезно помогал по хозяйству: ему можно было доверить пригляд за спящей сестренкой, поручить покупку молока или хлеба, с зажато́й в кулачке записочкой послать и за другими продуктами. В студенческую столовую, что располагалась неподалеку от нашего дома, он ходил с двумя судками: приносил и первое — щи или борщ, и второе — пюре с котлетой или жирный свиной плов. Деликатно минуя студенческую очередь, подходил прямо к раздаче, и ему всегда наливали погуще и накладывали повкуснее. Наверное, два таких не очень умудренных родителя, как мы с Евгением, небескорыстно пользовались детским обаянием, и общественное мнение не дремало. «Правозащитники» были и тогда, нашлись они и в Горно-Алтайске. «Жертва семейной эксплуатации» тем не менее не унывала: процветала и пожинала плоды людского сочувствия.

Транспортное сообщение в Горно-Алтайске тогда отсутствовало, разве что раз в сутки приходил автобус из Бийска; на газонах центральной улицы можно было иногда наблюдать мирно пасущуюся корову, отнюдь не священную, как в Индии, а обычную, домашнюю, ушедшую от хозяйского догляда; не знали тогда ни о педофилии, ни о киднеппинге, так что в пределах строго очерченного пространства ребенок свободно перемещался по городу. Он был узнаваем, общителен, спокойно вступал в контакты, отвечал на приветствия, сам здоровался.

Иногда, идя с ним по деревянному настилу улицы, можно было услышать:

- Здорово, Дмитрий!
- Здравствуйте, дядя Петя...

Спрашиваешь: «Откуда знакомство?» Оказывается: «Дядя всегда вперед себя в очередь пропускает».

Какое-то внутреннее стеснение, душевный дискомфорт испытываю я сегодня, когда при попытке улыбнуться чужому ребенку, заговорить с ним, коснуться его рукой вижу, как он в страхе отшатывается от тебя, с расширенными от ужаса глазами судорожно прижимается к матери или отцу: по правилам современной педагогики он воспитывается в недоверии к окружающему миру, в перманентном подозрении к добрым намерениям людей, в убеждении в их готовности украсть или изнасиловать его.

У сына рано сформировалась тяга к самостоятельности, чувство собственного достоинства. На такого парня нельзя было воздействовать тривиальным способом — наказанием «углом», ремнем или затрепичкой, с ним надо было договариваться. Вот здесь он мог слукавить. К вечеру в магазине «Хлеб» появлялись сушки-баранки, и в его обязанность входило поставлять их к семейному столу, но однажды, заигравшись, про магазин он забыл.

- Дима, где сушки?
- А не привозили сегодня...
- Откуда это тебе известно, если в магазин ты не ходил?
- А и так видно: все же с пустыми веревочками идут...

Эти «пустые веревочки» от сушек долго еще сохраняли юмористическую силу в домашнем лексиконе.

За год перед нашим отъездом в Новосибирск он пошел в школу; читал он бегло, и учительница, отлучаясь по делам, оставляла его читать книгу всему классу.



Семейная ситуация изменилась с рождением дочки, и не потому только, что появился второй ребенок, а главным образом потому, что это была девочка, и сын, еще очень маленький, оказался в роли вечно уступающего, а дочка — в роли правой всегда, во всем, присно и вовеки. Представлять нашу с мужем семейную педагогику безукоризненной или правильной не считаю возможным хотя бы потому, что во многом она была стихийной, во многом вынужденной. Она для меня и сегодня предстает как предмет неразрешимых сомнений и размышлений.

Можно сказать, что моя преподавательская деятельность достигла апогея, когда приблизилось время рождения дочери, и я снова приехала в Горький под родительское крыло. Но о повторении прежней ситуации, когда после рождения сына я задержалась здесь почти на полгода, не могло быть и речи: теперь в Горно-Алтайске моего возвращения с нетерпением ждали мои дорогие мужчины, и неизвестно, кто из них — отец или сын — в большей степени нуждался в моем внимании и опеке.

Дочку назвали Лизой. В одной палате со мной лежала молодая женщина, по складу характера и внешности напоминая мне Вальку: работала она на Горьковском автозаводе станочницей и ко времени рождения дочери успела со своим мужем развестись.

— Он моих родителей на куски порвал, — рассказывала она, понижегородски окая, — а я ево гармонь на помойку вынесла...

«На куски порвал» — имелась в виду фотография, что до меня тоже дошло не сразу. Она с любопытством приглядывалась ко мне:

— Ты на Симону похожа, а муж-то у тебя старый... Седой уж...

Без перевода язык нашего общения не всегда можно понять. Симона — это популярная тогда итальянская актриса Симона Синьоре, а «старый муж» — это мой папа, пришедший, по обычаю всех роддомов, к окнам.

— Девчонку-то как назовешь, чай, по-заграничному? — любопытствовала палатная соседка.

— Лиза.

— Фу, как старомодно-то. А я либо Розочкой, либо Лилечкой, либо еще как.

По тем временам Лиза, действительно, было редким, даже старомодным именем. Лиза к своему имени относилась ревниво, даже собственнически, с детства, — тут уж, наверное, и родители постарались, — ощущала его особую смысловую окраску, фонетическую изысканность. Когда в семье историка Грищенко появилась девочка, то, увидев ее в коляске и узнав, что ее зовут Лизой, она с детской непосредственностью возмутилась присвоением ее имени: «Лиза — это я!»

К окну роддома подходил мой моложавый, хотя и с сединой в волосах, папа, а Евгений Дмитриевич ухитрялся писать мне каждый день, но письма те были на английском языке... Он тогда поставил целью овладеть этим языком в совершенстве и цели достиг. В 70-х гг., когда мы жили уже в Новосибирске, он уехал на целый год в Америку. Пока же, не владея английским, а читая, наоборот, на немецком и французском, я постигала в этих письмах только одну заключительную фразу: «I love you».

Взяв на себя обязательство не поступаться в этом мемуарном тексте правдой, приходится иногда преодолевать свое внутреннее сопротивление ей. Это касается прежде всего нашей внутрисемейной жизни. Сказать, что от начала до конца она была окутана атмосферой покоя, безоблачности и бесконфликт-



ности, окрашена в сплошные нежно-розовые и голубые тона, воплощала идеал Филемона и Бавкиды, Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича, было бы неправдой. В принципе, мы с Евгением Дмитриевичем строили свои отношения на началах доверия, поэтому без страха и сомнений часто, иногда и надолго, разлучались, давая друг другу возможность саморазвития. Если учесть, что муж проходил длительную стажировку в Москве, в 70-х гг. целый год жил в Америке, а я целых полгода жила с новорожденным сыном в Горьком, если подытожить наши командировки, его научные экспедиции, а также летние побывки с детьми у родителей и мои туристические поездки, то насчитаются годы разлучной жизни. Со стороны это могло производить впечатление ослабленных семейных уз и порождать в чужих головах ложные надежды и несбыточные планы. И были у этих ложных надежд и несбыточных планов свои социально-психологические корни.

Если говорить о педагогических вузах, то львиную долю их студенческого контингента составляли девушки в расцвете физических сил, созревшие для практической реализации накопившейся в них внутренней энергии, мечтающие и о романтической любви до гроба, и о счастливом замужестве. Молодой преподаватель, а он, как правило, не только умен, но и недурен собою, вызывает в этой девичьей массе взрыв самых разнообразных чувств, иногда до поголовно-хоровой влюбленности. Вариантов девичье-студенческой любви к преподавателю много — от бескорыстно-беззаветно-безответной до расчетливо-вымогательской, да и трудно иногда бывает разглядеть грань, отделяющую безрасчетную влюбленность от практического намерения воспользоваться преподавательской благосклонностью ради хорошей оценки, обеспечения стипендии, избавления от риска отчисления... В любом случае вузовский преподаватель, молодой в особенности, оказывается в зоне риска, ибо он тоже подвергается бездне соблазнов — от удовлетворения чувства тщеславия, легкого флирта до серьезного увлечения. Игра с огнем в этом социальном кластере извечна: художественная литература во множестве вариантов зафиксировала этот мотив любви репетитора к своей ученице, а воспитанницы к своему учителю...

В замкнутом пространстве маленького городка, бывшего к тому же областным центром, эта ситуация брачной неустойчивости, смены жен выглядела особенно взрывоопасной и наглядной: если в большом городе она размывалась расстоянием, то здесь все происходило на виду у всех. Недаром же переполошились жены всех сколько-нибудь заметных мужчин, когда на горно-алтайском горизонте появилась я, сразу квалифицированная общественным мнением как разрушительница семейных гнезд. И если мое скорое замужество внесло успокоение в ряды семейных дам, то многих в девичьей стае я лишила и романтических надежд, и практических упований. В попытках засветиться перед преподавателем терять было нечего, влюбленные девы шли на разные приемы и ухищрения: записочки, приглашения на групповые праздники и индивидуальные прогулки, экстренная необходимость в проведении собеседований и консультаций...

Особенный риск заключался в поездках в колхоз. В средней полосе России они получили терминологическое обозначение «на картошку», в специфических условиях Горного Алтая это могли быть и заготовки сена, и уборка льна, и чистка кошар... Степень отстояния преподавателя от студенческой группы в этом случае сводилась к нулю: вместе работали, ели, спали под одной крышей, часто на сеновале, вместе проводили свободное время. Часто у ночного костра много пели и от души веселились.



Не миновала однажды такая колхозная разрядка и меня. Человек асфальтовой культуры, насквозь городской, я воспринимала деревню как место проведения каникул, к физическому труду не была склонна ни по фактуре своей, ни по домашнему воспитанию. Нам, девочкам, «легкой» работы хватало и по дому: и в очереди постоять, и ягоду-малину собрать, и курам зерна насыпать, и кроликам травки нащипать. Группе, где я оказалась наставником, предстояла... чистка кошар. Мое человеческое достоинство было возмущено, оскорблено и унижено. Семнадцать лет я училась под руководством преподавателей, всю оставшуюся жизнь работала над собой самостоятельно, чтобы стать профессиональным филологом, и вдруг — чистка кошар. Кто-то из колхозных лентяев всю зиму не выполнял своих обязанностей, забивал овечье жилие отходами их жизнедеятельности до самой крыши, чтобы потом призвать студентов делать чужую работу... И если кто-то не умеет читать или слушать лекции, то и другой имеет право не уметь чистить авгиевы конюшни. Все ассенизаторские действия производились вручную, откровенно говоря, от такого вида «студенческой» работы меня выворачивало наизнанку. Назревал скандал из-за срыва сельхозработ, открытого саботажа, но спасла болезнь: то ли простудилась, то ли надорвалась душевно. В колхоз меня больше не посылали.

Как и следовало ожидать, из колхозных командировок мой Малинин возвращался с неизменным обременением студенческой любовью. Претенденток помню несколько. Одна из них действительно вышла из купели колхозной практики, романтического сидения у костра, когда Евгений Дмитриевич играл на баяне или аккордеоне, а она пела. Немочка Лариса Б., огневая девчонка, ловкая, как козочка, ладно скроенная, к тому же отличница, комсомолка, активная участница художественной самодеятельности, предмет загляденья и воздыханья институтских парней, она с отчаянной откровенностью демонстрировала свои чувства к преподавателю политэкономии Малинину как не зависящую от нее напасть, плакала навзрыд от неразделенно-безнадежной любви на глазах всей группы. Это был, что называется, ход конем: не скрываться, не таить, не прятать любовь, а требовать компенсации за причиненное страдание: ну вроде того, как следует сочувствовать человеку, заболевшему корью, свинкой или краснухой. Разве он виноват? Виноватым чувствовал себя мой муж, утешал, уговаривал, пытался к «пониманию» склонить и меня. Я же понимала совсем другое: всю нелепость, абсурдность возникшей ситуации, какую-то ее неправдоподобность, своего рода вывернутость нормальных человеческих отношений наизнанку, но реагировать на эту историю комментариями вслух считала ниже своего достоинства.

Влюбленность Лариски была громкой, болезненно изживаемой у всех на виду, сквозило в ней что-то и фарсовое; влюбленность же еврейки Р. меня пугала. Она тенью скользила около нашей семейной жизни, я никогда не слышала ее голоса: она писала письма, оставляла на пороге дома цветы; когда Евгений болел и лежал в больнице, сидела у его изголовья. При моем появлении молча исчезала; проходя мимо, со мной не здоровалась. Училась она на другом факультете, зато следы ее незримого присутствия в доме обнаруживались постоянно: какого-то знакового назначения книги, рисунки, цветы, подарки... И все со скрытыми, недоступными мне смыслами...

Еще помню студентку с нашего факультета по имени Сашенька. Почему так ласкательно называли эту крупную, очень русского типа, с гладко причесанной головой и большими серыми глазами девицу, не знаю. Ее присутствие

в роли очередной влюбленной в моего мужа я обнаружила косвенным образом. Вернувшись в Горно-Алтайск после рождения дочери, я подивилась редкой ухоженности нашей квартиры, к чему тщетно стремилась при вечном отсутствии свободного времени. «Это Сашенька. Когда папе некогда, она приводит меня из садика и убирается тут», — словоохотливо пояснил Димка. Не допытываться же у ребенка, как часто бывает папе «некогда» и «убираются тут». Истина открылась как-то сама собой. Одна из студенток не пришла сдавать сначала зачет, а потом и экзамен, в ведомости около ее фамилии образовался прочерк; фамилию ее забыла, а звали студентку, судя по ведомости, Александра.

Нежелание «Сашеньки» встречаться со мной лицом к лицу было так велико, что подвигло ее на преступление: подделав мою подпись, оценку в зачетке она поставила себе сама, а потом эту зачетку представила в деканат. Училась она хорошо, так что ни у кого эта операция подозрения не вызвала. Не вызвала она должной, на мой взгляд, реакции и у моего благоверного. «Не разменивайся на мелкие чувства, — услышала я от него. — И не устраивай бесплатный театр. Ты же, — подсластил он пилюлю, — мудрая женщина... должна понимать...»

Наш брак набирал годы, многое в нем начинало держаться не столько на чувствах, сколько на началах безусловности, том пресловутом «понимании», звание к которому порою раздражало меня.

Прощание с Алтаем

Все мы, приехав по собственному выбору или независимо от него, что-то отдав Горно-Алтайску и что-то приобретя взамен, покидали его ради более «столичных» мест: уехали Образцовы, Бочаровы, не задержалась семейная пара экономистов Вальтухов, перебрались в Новосибирск Зарибко с Голубчиковым, в Академгородок — Демидовы, почему-то прошел мимо меня отъезд семьи И. Е. Семина, но именно он выразил то общее настроение, которое оставлял в наших сердцах и памяти Горный Алтай. В повседневном течении дней, преисполненных семейных и трудовых забот, эмоциональным всплеском отозвалось его письмо. «Любезнейшая Людмила Павловна», — со старомодным изыском писал он, что не резало уши, ибо так органично сопрягалось с неординарной натурой моего бывшего коллеги. Писал же он о том, как часто на новом месте предается невольным воспоминаниям о работе, людях, природе Горного Алтая и что издали он действительно видится голубым и как живой родник памяти сливается с любимым мотивом о невозвратимости прожитых там лет: «Помните?»

Годы промчались, седыми нас делая...
 Где чистота этих веток живых?

Но тогда еще ничего, кажется, не предвещало больших перемен в повседневном течении моей жизни. Я уже так впряглась в учебно-педагогический процесс и управление семейными делами, что боялась самой мысли о возможном нарушении достигнутого равновесия. Муж придавал семье полноту и гармонию. Он был признанный и неоспоримый глава семьи, но управляющим семейными делами была я. Свободы отдатья делу, карьере, общественному долгу у него всегда было больше, чем у меня, по определению. Став матерью уже профессионально состоявшимся человеком, я никогда не сомневалась в том, что имею возможность работать с полной отдачей, любовью и интересом к делу лишь благодаря здоровью детей. Свою онтологическую предназначенность к их взра-

щиванию и воспитанию я осознавала спокойно, без каких-либо колебаний, сомнений и переживаний. В этом отношении и свой карьерный рост соразмеряла с интересами семьи.

Работая на филфаке, я мало интересовалась кадровыми перестановками, а они происходили: кого-то смещали, повышали, переизбирали, кто-то уезжал, появлялись новые преподаватели. Когда пригласили в ректорат, не придала значения; войдя в кабинет, удивилась только присутствию кого-то из областной администрации. Предложение возглавить кафедру русского языка и литературы было полной неожиданностью, к такому повороту своей биографии готова я не была, поэтому, как могла, пыталась защититься весомыми аргументами: учебная нагрузка у меня и без того огромная; часто болеет и буквально перегружен делами муж, так что ответственность за семью в основном несу я; бытовые условия по-прежнему оставляют желать лучшего: вода, дрова, печь; и, в конце концов, я еще не кандидат наук и мой статус не отвечает должным требованиям. Но административный напор был так силен, что, ощутив бессилие дальнейшего сопротивления, я уже едва сдерживала слезы, и тут нечаянно сорвалось: «И что я буду делать с этими старыми девами?!»

Отказа моего не приняли, аргументы сочли неубедительными: утверждение в степени кандидата наук — дело, мол, недалекого будущего, а в остальном сломили обещаниями — и квартирные условия улучшить, и с устройством детей помочь, и в столичных командировках не отказывать, и... А на другой день остановила меня Д. «Позвольте заметить, Людмила Павловна, — сказала она, — я, может быть, и старая, но не дева... Примите это на всякий случай к сведению...»

Моя работа в новой должности заведующего кафедрой — настоящая круговерть, «без сна и отдыха»: распределение нагрузок, программы, планы, совещания, школьная практика, заочное отделение, кадровые проблемы, профессиональный рост работников кафедры, научная и кружковая работа студентов, необходимость реагировать на всякого рода циркуляры и инструкции сверху... Нельзя сказать, что с кафедральной работой я была совсем не знакома, все-таки росла и формировалась я в этой среде многие годы, но взгляд на нее со стороны существенно отличается от целинной вспашки собственными силами. Сохранился дневник этого года: в нем, как говорится, «ничего личного»: планы, списки неотложных дел, где рядом с пунктом «а» — «лекция по С. Ш., у историков, 2-я пара» — пункт «б»: «отнести в мастерскую ботинки Е.» и на равных с «заседанием кафедры» значится: «взять справку в детской консультации». Никто не отменял ни плотного потока моих лекций и семинаров, ни обязанностей добродетельной супруги и заботливой матери. И была еще серьезная общественная работа: я возглавляла общество «Знание», вела литературный календарь, читала лекции для населения, выступала на радио... И я еще была очень молода, мне исполнилось 33 года, и я не утратила девичьей внешности, и мне все еще нравилось нравиться людям. Я испытывала род какого-то опьянения от этой обманчивости моего внешнего облика, от игры контрастов между «видом» и «сутью», «формой» и «содержанием». Когда приехала в Москву на совещание заведующих кафедрами, проходившее в пединституте им. Ленина, гардеробщик отказался принять мое пальто: «У студентов своя раздевалка. Сегодня даже аспирантов не раздеваю, потому как всесоюзное собрание заведующих...»

Начальство выполнило свое обещание: квартиру мы получили в доме по улице Социалистической, в нижнем этаже которого размещался магазин «Про-

дукты», и по жилищным условиям Горно-Алтайска она превзошла наши ожидания. Три большие комнаты располагались вдоль длинного коридора. Из необходимых удобств не было только горячей воды, разумеется, телефона, но без этих изнеживающих благ цивилизации жил весь город. Зарабатывали мы уже прилично и не без удовольствия предались квартирному благоустройству: купили спальный гарнитур, заказали книжные стеллажи, в доме появились предметы, проходившие по разряду бытовых излишеств, — ковры, сервизы. Было где разгуляться детям: в просторном коридоре можно было разъезжать на велосипеде. Рядом, буквально через забор, находился детсад, куда определили Лизу, Дима же выговорил себе право, соблюдая условия домашнего договора, в детсад не ходить, а со следующего года должна была начаться его школьная жизнь. Теперь мы могли произвести на вновь прибывающих в Горно-Алтайск впечатление благоустроенных старожилов. Но это не освобождало мое сознание от мыслей о сохраняющемся в стране квартирном вопросе: собственные переживания квартирной неустроенности еще не заросли травой забвения.

Как-то в сибирской командировке оказался один из старших друзей Евгения. Имя Валентина Каманкина я неоднократно слышала от мужа при его воспоминаниях о годах учебы в МГУ: фронтовик, он был членом партбюро экономического факультета и курировал их студенческую группу. После окончания университета он остался в Москве, а тут из командировки в Барнаул специально завернул в Горно-Алтайск, чтобы встретиться с младшим коллегой, помня, очевидно, мятежную юность, не всегда укладывавшуюся в рамки комсомольско-партийной благонамеренности.

Что ожидал он увидеть в провинциальной жизни своего подопечного, к каким впечатлениям его горно-алтайского бытия себя готовил, трудно сказать, но что все пошло не по сценарию, не заметить было нельзя. С наголо бритой головой, в очках, с портфелем, в мятом с дороги костюме швейпромского производства, галстук с раз и навсегда повязанным узлом, он готовился, очевидно, к роли строгого наставника-ревизора, а тут — бьющее в окна солнце, гуляющий по комнатам горный сквозняк, говорливые, не прячущиеся за спины родителей дети, так и норовящие перехватить у взрослых инициативу общения... С нескрываемой завистью задержавшись у книжных стеллажей, согласился «попить чайку» и ревниво обронил: «Так жить можно. И детей заводите». Так и сказал: «заводите». Уходя, вздохнув, добавил: «Пожили бы как я...»

Это «как я» мы с Евгением имели возможность наблюдать, побывав в гостях у его сокурсника, когда остановились в Москве по пути в Горький. Удачно устроившись в гостинице «Бухарест», в которой как-то раз жила я еще в аспирантские годы, мы отдались визитам и прочим столичным вольностям-соблазнам — походам по магазинам, кино, театрам... Сокурсник Евгения был коренной москвич, единственный сын одинокой мамы, что, очевидно, и послужило одним из аргументов для его распределения в Москву. Он работал в журнале «Вопросы экономики», что было весьма престижно, привлекал внимание броской внешностью, но женат не был по той лишь простой, как мычание, причине, что жену было привести некуда. Жили они с мамой в однокомнатной квартирке, уютной и красиво, как бонбоньерка, убранной, где присутствие сына обнаруживал лишь письменный стол, задвинутый в угол, и примостившаяся рядом книжная этажерка.

Наш визит совпал с приходом двух московских барышень «на выданье», подруг хозяйина. Я уверенно входила в роль замужней дамы, очень скучала по оставленному на целый бесконечный год сыну и не без иронии наблюдала за старани-



ями девиц казаться беспечными и беззаботными, всецело поглощенными игрой с хозяйским котенком. Судя по напряженной позе хозяйки, ни их наигранная шаловливость, ни кокетливые вскрики от соприкосновения с кошачьими коготками не умаляли ее подозрений в серьезности их посягательств на свободу сына.

Каждый раз, бывая в Москве, Евгений встречался с сокурсником, я интересовалась его судьбой. При жизни мамы он оставался холостяком, когда же ее не стало, жениться оказалось поздно. Квартирный вопрос многим испортил жизнь. Но лоя ревниво-завистливый взгляд В. Каманкина на наше квартирное раздолье, мне хотелось сказать: «Перебирайтесь, дорогой, из Москвы в Горно-Алтайск. Здесь вас встретят с распростертыми объятьями, не пройдет и десяти лет, как будете вы обладателем такой же квартиры».

Переселение в благоустроенную по горно-алтайским понятиям квартиру сняло множество бытовых проблем, позволило полнее отдаться кафедральным делам и проблемам. Ко времени моего заведования — по причине отъезда многих специалистов и обнаружившегося дефицита кадров — кафедра существенным образом поменяла свой профиль: она стала комплексной и называлась теперь кафедрой русского языка, русской и зарубежной литературы. Под одним началом оказались и «язычники», и русисты, и зарубежники. К тому же ее пополнили новые люди, среди которых были молодые специалисты, что актуализировало проблему их профессионального роста, организации их научной работы. Мне пришлось впервые столкнуться и с организацией педагогической практики студентов. Тут разверзлась такая бездна проблем, что трудно было не впасть в отчаяние.

Однако мои жизненные планы мало что стоили сами по себе, в отрыве от того, как складывались профессионально-служебные перспективы мужа. Его работа преподавателя политической экономии, склонного к тому же к активной исследовательской деятельности, даже более, чем моя, была связана с общественными сдвигами и поворотами. Так сложилось, что ко времени нашего профессионального возмужания парадигма господствовавшего целые десятилетия отношения человека к природе обнаружила полную свою несостоятельность, в духовный оборот общества вошло понятие экологии, ориентирующей не на борьбу и противостояние природе, а на ее сбережение и гармоническое сосуществование с ней.

В литературе провозвестником этого животворящего процесса стал Леонид Леонов с его «Русским лесом», эстафету дружно подхватили многие — В. Распутин, В. Чивилихин, В. Солоухин, с экологической проблематикой непосредственно на материале Алтая в литературу вошел С. Зальгин. В силу уникальности природы Горного Алтая экологическое движение обернулось здесь острым противостоянием взглядов, обрело даже форму общественной борьбы, как и на Байкале. И смысловая направленность лекционного курса преподавателя политической экономии Е. Д. Малинина, и исследовательские выводы его научных статей с течением времени вошли в глубокое противоречие с хозяйственной политикой областного руководства Горного Алтая. Партийным деятелям, находившимся тогда у руля, недоступным оказалось понимание того, что превращением Горного Алтая в рядовой промышленный район они покушаются на его уникальное природное своеобразие — то самое богатство, которое при разумном использовании и способно обеспечить его будущее.

Искренняя человеческая убежденность Евгения Дмитриевича в том, что проводимая властями политика безоглядной экономической интенсификации

области вредна, опасна, по существу — антинародна, что широковещательные планы строительства гидроэлектростанций, добычи ископаемых, открытия ртутных и прочих рудников необходимо строго соотносить с охраной природных и исторических реликтов Алтая, столкнулась с непробиваемостью партийной ортодоксии, подавляющей силой промышленно-экономической прагматики. В ответ на его докладные записки в высокие инстанции последовали обвинения в пропаганде антимарксистских взглядов, идейной слепоте, предательстве народных интересов и т. д., сопровождающиеся вызовами в партийные органы, проработками на партбюро, угрозами изгнания из партии. Не было понимания и на родной кафедре, которой бессменно руководил Я. И. Бражников, коммунист еще ленинского призыва.

С некоторых пор невозможно было не почувствовать углубляющегося различия в характере наших профессиональных связей с Горно-Алтайском, прежде всего — с институтом. В той степени, в какой институтское руководство беспокоила возможность моего отъезда и, следовательно, опасность оставить одну из ведущих кафедр без зава, в той же мере не возражало оно против мирного расставания с преподавателем, порождающим атмосферу опасной дискуссионности.

Далеко не случайны были частые и долгие отлучки Евгения Дмитриевича в новосибирский Академгородок: там проходили годы его заочной аспирантуры, состоялась защита кандидатской диссертации, сложились добрые отношения с научным руководителем Л. В. Стародубским, так что предложение трудоустройства в Институте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР последовало логично и принято было с готовностью: растущий научный центр манил своими и профессионально-карьерными, и бытовыми перспективами.

Разум наступал на чувства: мои внутренние сомнения были бы, наверное, острее и упрямее, если бы не видела я, как близко к сердцу принимает их Евгений, если бы не чувствовала, как внутренне обременен он ответственностью передо мной, как глубоко безразличен ни к моему душевному состоянию, ни к моим профессиональным интересам.

Прибытие новых специалистов, отъезды-расставания с уже поработавшими здесь воспринимались как имманентное свойство кадровой системы Горно-Алтайского пединститута. Настало и наше время отъезда из Горно-Алтайска.

Стояло такое же яркое, лучезарное и радостное лето, город по-прежнему вольно дышал воздухом горного разнотравья, как и тогда, десять лет назад, когда я ступила на его дощатый тротуар... Но теперь я была не одна: по одну руку был муж, по другую — в предвкушении интересного путешествия нетерпеливо прыгали дети...

Что-то потеряно, но сколько приобретено...

После отъезда мне всего лишь дважды довелось побывать в Горно-Алтайске, еще до того как успели затронуть его послеперестроечные перемены, и это было связано с участием в научных конференциях. Поразило тогда несчетное множество встреч с людьми, знавшими и помнящими меня, и это были не обязательно выпускники литфака! И как светились их глаза, как живо вспоминали они подробности: помнили интонации голоса, выступления по радио, мои приезды в горные аймаки с лекциями по линии общества «Знание», мою работу с заочниками...

(Окончание следует.)

Павел МУРАТОВ

МОНУМЕНТАЛИСТ ВАСИЛИЙ КИРЬЯНОВ

Василий Григорьевич Кирьянов прибыл в Новосибирск летом 1961 г. Он предварительно послал в правление Новосибирской организации Союза художников заявку и получил официальный ответ: *принимаем на работу в фонд на общих основаниях. Ни квартиры, ни мастерской не обещаем*¹. Невеселый вызов для молодого выпускника Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, кафедры монументальной живописи. Но другого не было, и стоило осмотреться на новом месте.

Сомнения Кирьянова осветились надеждой еще в Ленинграде. Журнал «Художник» в марте 1960 г., то есть за год до вызова в Новосибирск, опубликовал статью профессора живописи Г. Рублева «Творчество молодых монументалистов»², основным сюжетом которой была работа новосибирского монументалиста А. С. Чернобровцева над панно размером в 240 квадратных метров «Борцам за свободу и правду»: «*Молодой монументалист начал свой путь художника смелым взлетом, большой творческой удачей. Хочется верить, что его дарование будет расти и крепнуть с каждым новым значительным замыслом*»³.

Публикация статьи в недавно созданном журнале, ориентированном на российскую художественную жизнь и еще не

потерявшем привлекательность новизны, не могла пройти незамеченной среди молодых художников. Помимо журнальной публикации, в Ленинград доходили вести об условиях жизни и работы в Новосибирске. А за десятилетие 1950-х гг. Новосибирск принял более тридцати художников, среди которых был Чернобровцев и его однокашник и друг В. П. Сокол, и почти все они остались на новом для себя месте. Приток молодых художников в таком же темпе продолжался и в следующем десятилетии, вплоть до 1970-х гг., когда поток приезжающих обмелел. Что касается Кирьянова, следует учесть место его рождения — Красноярский край. Его рассказы о детской и юношеской поре воспроизводили эпизоды голодной жизни и почти непосильных трудов. Но где предвоенная и военного времени жизнь была светла и изобильна?

Кирьянов родился в 1926 г. в Курагинском районе Красноярского края, а 1926 г. в Сибири был временем расцвета Общества художников «Новая Сибирь», всколыхнувшего изобразительное искусство на пространстве, равном Европе. Центр его находился в Новосибирске, филиалы в больших и малых городах края от Тюмени до берегов Байкала. Красноярский край, занимая серединную часть обозначенного пространства, входил в состав подчиненной Новосибирску территории. И хотя районирования Сибири впоследствии не раз меняли карту обширного края, Новосибирск оставался городом с авторитетом под стать столичному.

¹ Запись беседы с В. Г. Кирьяновым.

² Рублев Г. Творчество молодых монументалистов // Художник. — 1960. — № 3. — С.14—18.

³ Там же, с.16.

Именно сюда приехал выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина В. Кирьянов.

«На общих основаниях» — значит не на вольную творческую и выставочную жизнь в Союзе художников, а в художественный фонд на вспомогательные работы. Но Кирьянов довольно быстро нашел для себя самостоятельное дело. Он примкнул к уже вжившимся в материальные и духовные условия города творческим работникам (среди них были и упомянутые нами Чернобровцев и Сокол), планировавшим развернуть широкую деятельность в расцветавшем тогда Академгородке.

Планам художников не суждено было воплотиться. 4 ноября 1955 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР опубликовали совместное постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». «Излишества» прекратились на финансируемых государством объектах, но продолжали появляться на нейтральной территории ресторанов, кафе, продуктовых магазинов. Даже согретый лаской партийного руководства города автор панно «Памяти павших» в сквере Героев Революции Чернобровцев вынужден был отступить перед словом «излишество», когда он предложил роспись интерьеров педагогического института сюжетами «Мир», «Труд», «Свобода», «Равенство», «Братство», «Счастье». Накануне Первой зональной выставки, собранной в Новосибирске в 1964 г., горизонты монументалистов посветлели.

В то время обустроивался ресторан «Центральный», расписывались его интерьеры. Кирьянову поручили заполнить пейзажными вставками три свободные ниши в интерьере ресторана. Вставки «Север», «Сибирь», «Алтай» были написаны Кирьяновым на холстах темперой и руководством ресторана приняты.

В нишах давно их уже нет. Ценить работу художника в строящемся и перестраивающемся Новосибирске не научились. Судить предметно о первых работах



Василий Григорьевич Кирьянов. 1984 г.

Кирьянова можно только по фотографиям, эскизам, по слухам, рассказам очевидцев. Есть, однако, контекст, в который целесообразно вписать первую работу начинающего монументалиста. Годом ранее группа монументалистов Новосибирска — Э. С. Гороховский, В. П. Сокол, Г. Н. Трошкин при участии А. М. Сачка, выпускников художественных институтов Ленинграда и Одессы, расписала интерьеры находившегося в центре города кафе «Спутник» популярными сюжетами на темы космоса. Интерьеры состояли из двух залов: синего (в нем и мебель была синего цвета) и красного, с красной стеной росписью, с красной мебелью. Синий зал показывал предысторию полетов в космос, красный зал открывал их историю. Роспись двух залов была принципиально плоскостной, аппликационной, как ее называли позже сами авторы. Аппликационная роспись заполняла и основные

места интерьера ресторана «Центральный». В том же духе надо было выполнять и вставки в ниши, иначе они выглядели бы в интерьере как инородное тело. Через год хозяева вставки из ниш вынули, оставив их пустыми. Не сохранились и росписи стен ресторана. Но роспись кафе «Спутник» держалась до конца 1990-х гг., до перехода помещения в руки частного владельца.

Не только монументальной живописью жил Кирьянов по приезду в Новосибирск. Было время расцвета в стране совнархозов. По системе совнархозов было введено одиннадцатилетнее обучение в средней общеобразовательной школе, дававшее ученикам производственную ориентацию. Одна из новосибирских средних школ, именно 74-я, располагавшаяся рядом с нынешним автовокзалом, завела у себя класс оформителей с программой, рассчитанной на четыре года. Из этой школы вышли известные в наши дни художники М. С. Омбыш-Кузнецов, В. С. Бухаров, Е. Б. Лукин и другие, большей частью разъехавшиеся по стране. Кирьянов вместе с одноклассником по институту имени Репина В. В. Семеновым вели в школе уроки живописи. Оба показали себя на преподавательской работе наилучшим образом, благодаря чему перед ними открылись двери Сибстрина, где Семенов несколько сезонов вел занятия живописью у студентов вечернего отделения.

Следуя за биографией Кирьянова, мы невольно прочерчиваем рядом с ярко обозначенной основной линией творчества художника-монументалиста линию воспитателя, педагога. Эта вторая линия долгое время шла в его жизни пунктирно, появляясь и исчезая в соответствии с житейскими обстоятельствами, и, наконец, стала главной и единственной в поздние годы.

Долгие годы в Новосибирске не было обязательного для большого областного центра Дворца пионеров. Центр пионерской работы в Новосибирске, конечно, был, но он не имел собственного здания и потому кочевал по городу. Длительное время он занимал верхний этаж Дома

Ленина, что создавало явные неудобства всем обитателям его, населенного разными творческими коллективами, как Ноев ковчег жителями потопляемой земли. К 1963 г. отдельное здание Дворца пионеров было так построено. Место ему определено на границе детского парка имени Кирова со входом-выходом в сторону проспекта Кирова. Недавние выпускники мастерской монументальной живописи института имени Репина В. Г. Кирьянов, И. П. Наседкин, В. В. Семенов по праву квалифицированных специалистов получили заказ на роспись интерьеров дворца.

Они были друзьями еще с институтских времен, хотя различались возрастом, характером, творческими предпочтениями. Кирьянов был старше Семенова на семь лет, Наседкина — на девять. По праву старшего руководить работой должен был Кирьянов. Однако Наседкин еще в институте разрабатывал тему «Жизнь пионеров и школьников», значит, ему первому и кисти в руки. Семенов родился и вырос в семье ленинградских архитекторов — не ему ли определять композиционный строй росписи? Практическая работа во Дворце пионеров пошла у них, как у Кукрыниксов, при равноправном участии всех троих в каждом сюжете, когда авторство одного органично вливается в авторство соратников, повышая весомость целого. Роспись дворца совместной работой в единых интерьерах сблизила их почерк, хотя, как показала дальнейшая практика, не сказалась на глубинных особенностях каждого.

Общая тема росписи дворца, конечно же, варьировала популярнейшую в начале шестидесятых годов тему космоса. Как ее донести до сознания детей во всей красоте и сложности? Художникам не дано показать бесчисленность звезд, бездонность космоса: ни то ни другое не имеет осязаемой формы. На помощь приходят фигуры созвездий. В росписи они были подчеркнута зрелищны. Большая Медведица напоминала массивную скульптурную форму медведя, по абрису которой

белой линией прочерчена узнаваемая схема созвездия; Гончие Псы темными силуэтами несутся за ракетой, оказавшейся в межзвездном пространстве на охраняемой ими территории; Львы и Рыбы — каллиграфически нарисованные профили двух львов и трех рыбок; Крабовидная туманность занимала центр стены, поскольку она замыкалась сама на себя как всякое не имеющее пластической доминанты образование.

Перечислять все тематические элементы росписи мы не станем. Для беглой характеристики ее вида сказанного достаточно. Она просуществовала дольше написанных для ресторана «Центральный» пейзажных вставок, но исчезла вместе со зданием Дворца пионеров. На его месте в пору быстрого размножения банковских офисов возникло стеклянное здание нового банка, ничем не напоминающее бывшее до него строение.

Соавторство Кирьянова, Наседкина и Семенова росписью Дворца пионеров началось, этой же росписью закончилось, превратившись в сотрудничество на основе единого рода занятий каждого на своем участке. Имея тягу к камерным сюжетам, к нюансам цвета и тона, Семенов постепенно к монументальному искусству с его публицистикой, характерной для 1960-х, охладевал, расходясь в отношении к нему с Кирьяновым и Наседкиным. Наседкин, напротив, станковую живопись, картину, укрупнял, приближая ее к строю панно, и драматизировал. Кирьянов повернулся лицом к взаимодействию архитектурных объемов и цвета.

Основная роспись интерьеров Дворца пионеров завершена. Оставались нетронутыми фасады здания и вход в него. Но художнический триумvirат распался. Наседкина пригласили расписывать стены детского сада локомотивного завода сюжетами на тему животного и растительного мира, Семенов для недавно открывшейся библиотеки ГПНТБ занялся выкладыванием деревянными кубиками мозаики «Хлеб Сибири». У Кирьянова появилась возможность создать памят-

ный въезд на Красный проспект со стороны улицы Мостовой, и он, не остывший еще от трудов во Дворце пионеров, взялся за выполнение нового задания. К Красному проспекту по четной стороне улицы Мостовой протянулась слегка изогнутая в сторону основного движения бетонная стенка примерно трехметровой высоты. В стенку Кирьянов вставил рисующую металлическую линию, изображающую стремящиеся в небеса ракеты, добавив к ней куски стекла для отражения света автомобильных фар вечером. В темное время суток эти стекла должны были вспыхивать под фарами и вызывать мимолетный призрак неземного мира: вся установка характеризовалась словом «Космос». Днем стеклянные вставки будто исчезали, они гасли, их затмевали рисованные металлической линией силуэты стремящихся в небеса ракет. Продолжая ход бетонной стенки, далее по улице Мостовой выстроился ряд планшетов из шести одинаковых белых квадратов с портретами заслуженных деятелей космической отрасли. Заканчивалась установка высокой вертикалью из поставленных плотно одна к другой длинных дюралевых трубок. Эта вертикаль, напоминая огненный след ракеты, олицетворяла порыв в небо.

Успех на улице Мостовой предопределил возврат к детскому парку имени Кирова. Кирьянову было предложено выстроить и соответственно оформить парадный вход во Дворец пионеров, чтобы тем самым поставить точку в проделанной работе над его оформлением.

Здание дворца стояло на окраине основного леса, когда-то бывшего густым и обширным, а теперь под напором неминуемо надвигающегося города заметно сократившегося. Однако и сократившийся лес сохранял признаки леса вопреки статусу парка, навязанному ему к тому времени. Вокруг дворца оставались еще следы строительства, провоцирующие на его продолжение.

И вот Кирьянов получил добро на завершение строительства. Он заложил

перед входом во дворец две бетонные параллельные стелы, образовавшие вестибюль дворца, или, лучше сказать, пропилеи. Обе стелы несли на себе изображение пионерской символики: пятиконечных звезд, театральных масок, палитры с кистями, скрипичных ключей, моделей планеров... Каждый элемент изображения создавался металлической линией, заложеной в бетонное тело стел. Сооружение казалось долговечным, как постройки Древнего Рима.

Кириянов уже забыл, как он жаловался на недостаток работы в Новосибирске. Недолго длились дни, когда он искал работу, пришло время, когда работа искала Кириянова. В 1963 г., когда еще продолжалась роспись интерьеров Дворца пионеров, правление Новосибирской организации Союза художников привлекло его к преподаванию в студии «Спутник», организованной на территории Союза, где рисованию и живописи могли учиться все желающие. Постоянным преподавателем студии со дня ее основания был В. В. Титков, который уже носил неофициальный титул старейшего художника Новосибирска. Ему в помощь и при необходимости в замену подыскивались имеющие высшее профессиональное образование молодые художники. Одним из таких молодых⁴ стал Кириянов. Полгода спустя на той же площадке Союз организовал десятидневный семинар художников-оформителей домов культуры Новосибирска, среди руководителей семинара мы видим того же Кириянова.

Пока достраивался Дворец пионеров, будто специально для Кириянова начали реконструировать двухэтажный особняк, предоставленный некогда А. И. Еременко. Генерал армии давно в этом особняке не жил. Строение стояло отдельным запасным помещением под боком Дома офицеров и теперь подготавливалось к нуждам новосибирского Дворца бракосочетания. В него и пришел монументалист Кириянов.

⁴ В 1963 г. Кириянову исполнилось 37 лет.

Он выполнил для зала ожидания панно «Вечная весна» во всю стену первого этажа (древесно-стружечная плита, темпера), представив деликатную сцену союза и согласия вступающих в брак девушки и юноши, а для банкетного зала на втором этаже укрепил горизонтально протянутое керамическое панно «Народная пляска», состоящее из семи отдельных, но сюжетно и пластически связанных между собой частей. Если рассматривать их слева направо, то на первой части панно увидим приплясывающего гармониста; отдельно от гармониста, паузой в развитии сюжета, округлое лиственное дерево; далее группа взявшихся за руки пляшущих; снова дерево той же неизвестной породы; правее дерева танцующие мужчина и женщина; еще одно разделительно-соединительное дерево и, наконец, подбоченившаяся в пляске женщина.

Одновременно с подготовкой к открытию Дворца бракосочетания в Академгородке создавалась детская художественная школа. Объединенный комитет профсоюза Сибирского отделения Академии наук СССР в 1965 г. постановил 1 сентября текущего года открыть художественную школу. В судьбе ее принял участие живописец, член Союза художников Е. З. Рожков, живший в Академгородке. Но сил одного Рожкова для широко задуманного дела было явно недостаточно. К нему присоединились Семенов и Кириянов. Семенов даже перебрался в Академгородок, получил там квартиру и взял на себя труды и ответственность директора школы. Кириянов занимать этот пост не мог, перед ним замаячила работа для детского клуба оловозавода, вскоре ставшая для него основной и продолжавшаяся в течение двух лет (1967—1968).

Монументалист не может, подобно станковисту, всю творческую работу проводить у себя в мастерской, он должен работать и в мастерской, и на объекте росписи, а путь от оловозавода до Академгородка занимал несколько часов. Трудности проезда возрастали зимой, а это основной сезон работы в школе.

Под школу выделили одноэтажное, удобно расположенное внутри микрорайона строение с интерьером, перегороджен- ным сдвигающейся в гармошку стенкой, с изолированной комнатой, в которой мож- но было устроить гончарную мастерскую: в эту комнату был проведен кабель вы- сокого напряжения для муфельной печи. Еще одна небольшая комната использо- валась как учительская, хранилище уче- нических работ и комната отдыха.

Очень скоро преподаватели увидели, что детское художественное мышление имеет свои особенности, проявляющиеся часто с большой силой и выразительно- стью. Первой реакцией на такое откры- тие было стремление сохранить духовный мир детей во всей его непосредственности, чтобы ненароком не заглушить скрытых способностей ребенка. Работа с натуры, а больше по воображению, пошла в школе таким образом, что детям не пришлось настраиваться на рационалистический лад, например на вычерчивание линейной перспективы, хотя, конечно, основы профессиональной грамоты, понятия про- порций, объема, тона, цвета живописи не могли не составить значительной доли содержания занятий. Прошло немного времени, и воспитанники детской худо- жественной школы Академгородка будто сами собой, без влияния руководителей, стали завзятыми живописцами.

Год спустя в школе появилось новое оборудование: два гончарных круга и му- фельная печь. Число преподавателей по- полнили скульпторы Б. Н. Горовой, жив- ший в Академгородке, и В. Е. Семенова, как и Кирьянов, приезжавшая на занятия из города. В школе начались занятия леп- кой и художественными ремеслами, что заметно отразилось на увлечениях Ки- рьянова.

Уже через полгода, в марте 1966 г., в Доме культуры «Академия» открылась выставка учеников школы. Еще через год подобная выставка экспонировалась в Новосибирской картинной галерее. Однако благодатная пора художественной школы продолжалась недолго. В 1968 г.

в Академгородке разразилась война за идейную святость сотрудников научных институтов. Ряд заметных ученых вы- нуждены были уехать. Исчез дискуссион- ный клуб «Под интегралом», был уволен директор художественного музея Дома ученых М. Я. Макаренко. Не избежала пристальной проверки и художественная школа. Кирьянов почти весь 1968 г. на- ходился в Москве, благодаря чему ока- зался на обочине событий. Он вернулся и узнал, что Семенов оставил директорский пост и готовится уехать в Ленинград, а школу переводят в другое место.

Между тем творческая жизнь Кирья- нова шла своим чередом. Миновало два года со времени окончания его работы в городском Дворце пионеров — и снова перед ним нечто подобное, детский клуб Новосибирского оловянного завода, рас- положенного далеко от центра города на левом берегу Оби. В отличие от город- ского Дворца пионеров, клуб завода мыс- лился более скромным центром досуга юных жителей заводского поселка, но и в нем планировались интерьерные росписи на темы «Земля» и «Космос». Писать их надо было темперой на древесно-стру- жечной плите, что не обещало длитель- ного существования росписи. Скромнее по тематике, но надежнее по материалам была наружная мозаика «Игры и занятия школьников», фризом охватившая здание клуба на уровне окон.

Это была новая для него задача. Дво- рец пионеров снаружи был оформлен не росписью, а бетонными стенами с метал- лическим рисунком элементов пионер- ской символики. Таким сооружениям из бетона и металла не страшны дожди, ве- тры, снега и морозы, но они без интерьер- ных сюжетов были бы непонятны. Здесь же необходимо было раскрыть в панно на фасаде главную тему оформления клуба. При сохранении изобразительности на- ружного панно следовало применить не употреблявшиеся ранее материалы.

Новая техника в росписи фасадов детского клуба — конечно же, мозаика, известная миру с античных времен. Она

новая в Сибири, здесь ею никто не пользовался. Художнику, решившему работать в данной технике, предстояло самому ехать в Москву, где решались проблемы распределения художественных материалов, а затем и на завод — оплачивать и отправлять смальту на новосибирский адрес.

Наконец все подготовительные хлопоты преодолены, панно шириной 140 сантиметров (средний рост подростков в клубе) и длиной семь метров водружено на предназначенное ему место. Зрителям открылась картина, изображающая две группы девочек слева и справа от разделительно-соединительного дерева с круглой кроной, окруженной языками света-цвета, подобно подсолнуху. Занятия девочек исчерпываются хороводом из трех фигур слева от дерева и двух фигур, занятых считалкой.

Дерево располагается в центре панно, на стыке двух составляющих его полную величину квадратов, обрамленных незамысловатым цветочным орнаментом. Дети оказываются как бы под деревом жизни, охраняющим их безмятежные годы.

Кириянов охотно отзывался на призывы к разнообразной общественной работе. Мы отмечали его преподавательскую деятельность в студии Новосибирской организации Союза художников, отметим также и участие в работе художественного совета и правления Союза. В середине 60-х по инициативе Кириянова и его соратников в здании горисполкома была развернута выставка неосуществленных проектов новосибирских монументалистов. Предполагалось, что авторитет горисполкома подтолкнет заказчиков работ довести дело до благополучного конца. Выставка открылась, работала сколько ей назначено работать и закрылась, не удостоенная даже ее обсуждения. Каталог выставки состоял из двадцати четырех номеров, а каждый номер состоял из утвержденных художественным советом эскизов, разработки архитектурной ситуации предполагаемой росписи, узловых деталей сюжета. Его машинописный эк-

земпляр подписали исполняющий обязанности председателя Новосибирского отделения Союза художников РСФСР Г. М. Мирошниченко и ответственный секретарь Союза Б. Н. Горовой. Из каталога мы узнаем об участии самого Кириянова в шести проектах, не упомянутых ни в личном деле художника, ни в общих документах Союза. Оказывается, работая в детской школе Академгородка, Кириянов ждал сигнала к началу росписи хотя бы по одному из шести утвержденных эскизов, однако так и не дождался. Сохранились фотографии директора Института ядерной физики Г. И. Будкера, в своем кабинете доброжелательно беседующего с Кирияновым, Гороховским, Соколом, Горовым. Будкер тоже не смог помочь художникам. Возможно, его остановило еще не отмененное постановление «Об излишествах при проектировании и строительстве», а оно прямо касалось директора, продолжавшего в то время доработку корпусов Института ядерной физики и технических сооружений при них.

Постоянные заботы Кириянова о монументалистах Новосибирска отзывались в его судьбе тем, что правление Союза назначило Кириянова в 1969 г. председателем секции монументального искусства Новосибирска. По долгу службы ему предписывались регулярные, с интервалом в год-два, отчетные доклады о деятельности секции и составление хроники работ всех монументалистов города, а также станковистов, временно привлеченных к выполнению росписей. Первый отчетный доклад Кириянова «О работе секции монументально-декоративного искусства» состоялся в 1971 г. Первые страницы доклада описывают историю монументального искусства в городе и за его пределами: Кириянов упомянул в докладе мозаичное панно Г. Н. Трошкина, выполненное для здания ТЭЦ-2 Комсомольска-на-Амуре, и мозаику Н. Н. Мотовилова и А. П. Фокина для колхоза имени Урицкого Сузунского района Новосибирской области. За историческим экскурсом следовали злободнев-



Слева направо: Я. Яковлев, В. Кирьянов, Т. Грицюк, Н. Грицюк. 1972 г.

ные разделы «Об участии на выставках», «Вопросы будущего монументально-декоративного искусства в Новосибирске», «О плане монументальной пропаганды в нашем городе». Примерно такого же рода разделы входили и в последующие его доклады.

Организационная и теоретическая работа не заслоняла, а лишь оттеняла работу практическую. В 1970 г. Кирьянов для Дома культуры слабослышащих «Радуга» подготовил панно на всю торцевую стену просторного зала. На панно восемь девушек в белых платочках, в юбках колоколом образуют хоровод, девятая девушка, одетая так же, как и прочие, справа, спиной к зрителю, ведет хоровод, дирижируя им.

Хоровод занимает срединную часть некоего сферического места, символизирующего Землю. На краю сферы слева автор поместил два привычных ему дискообразных деревца. За краем сферы и отчасти на ней самой ясно видны мотивы Новосибирска, никаких признаков чего-либо нерукотворного не содержащие: театр оперы и балета, здание вокзала, железнодорож-

ный мост через Обь и менее показательные строения, заполняющие пространство между перечисленными памятниками новосибирской архитектуры. Надо всем этим раскинулась многоцветная радуга, усиливающая мажорный тон хоровода.

Кирьянову нравилось собственное панно в клубе «Радуга». Панно сложилось быстро и гармонично. При большой его поверхности, оно, благодаря всего двум цветным активным элементам — хороводу с преобладанием в нем белого цвета и единого потока семицветной радуги, — читалось на всем пространстве зала. Нарисованная архитектура миражом бледнела на втором плане и, придавая всему сюжету бытовой акцент, цельности живописного строя панно не мешала, лишь конкретизировала воображаемое место действия.

Работа в «Радуге» еще не завершилась, а Кирьянова уже ждал заказ на оформление Дворца культуры «Строитель». Хотя в проекте здания ни росписи, ни тем более мозаики и витражи не предусматривались, автор проекта Г. В. Гаврилов, окончивший Сибстрин в

1957 г., ровесник Кирьянова, оказался податливым на предложение развить средствами монументального искусства идею постройки. В результате началась длительная работа Кирьянова над композициями и плоские белые фасады здания обогатились содержательными зрелищными элементами. Под свежим впечатлением от только что законченной работы монументалист с сорокалетним стажем работы в Новосибирском Союзе художников А. А. Бертик поощрительно отзывался о трудах Кирьянова. В очерке для новосибирской газеты он писал:

Декоративное панно на фасаде здания, сделанное опытным художником В. Кирьяновым, не лишено достоинств.

Тема мозаики — труд строителей. Своёобразно композиционное решение плоскости панно. Фигуры строителей созвучны общему ритму созидания. В них монументальная условность сочетается с типическим и индивидуальным. Цельности восприятия мешает только некоторая дробность правого панно и особенно панно, расположенного между окон. <...>

Автор большого витража в лекционном зале — все тот же В. Кирьянов. Вообще-то витражи, широко распространенные в Прибалтике, для Сибири дело новое. Если в классическом витраже фрагменты из стекла соединяются свинцовой пайкой или латунию, то Кирьянов и его помощники по исполнению А. Голубев и А. Моисеев применили новый, технологически более простой способ соединения стекла эпоксидной смолой. Витражи в оконных проемах лекционного зала на тему «Искусство» привлекают яркостью прозрачных красок, создают необыкновенное зрелище. Гармония, построенная на контрастных сочетаниях, — вещь трудная. И надо отдать должное В. Кирьянову — он ее добился. Композиция витража — атрибуты искусства (ноты, кисти, палитра и т. п.) и маски поющих людей, поданные в очень сложной ритмической связи. Эта связь держит в единстве оформление всех оконных проемов. Несколько укрупненные масштабы — тоже находка автора, она дает повышенное эмоциональное звучание всему витражу⁵.

⁵ Бертик А. Союз архитектора и художника // Советская Сибирь. — 1974. — № 9.

Работу архитектора Гаврилова Бертик по справедливости оценивает строже кирьяновской. Действительно, плоский параллелепипед здания лежит у начала Березовой рощи, с самой рощей никак не взаимодействуя. Но отделочные удачи в ряде интерьеров Бертик принял почти восторженно. В результате общая оценка строения была удовлетворительной. Благодаря мозаике и витражам дворец выглядел запоминающимся, контрастным к окружающей зелени и полудеревенским постройкам.

Два десятилетия ДК «Строитель» привлекал к себе жителей города, стремившихся к искусствам разного рода. Он сделался центром художественной самодеятельности Новосибирска, в частности живописцев. В нем были выставочные залы, комнаты для собраний. Общее число зарегистрированных самодеятельных художников достигало пятисот человек.

Кирьянову довелось услышать добрые слова в свой адрес от участников Первой зональной конференции художников-монументалистов Сибири, собравшихся в Новосибирске в конце мая 1974 г. Заканчивалась работа над мозаикой и витражами ДК «Строитель», длившаяся уже пять лет. Оргкомитет конференции состоял из представителей разных городов края, но основными деятелями были члены правления Новосибирской организации СХ, ее монументальная секция, а в секции — Кирьянов. Он был главной движущей силой события: он делал основной доклад на конференции и готовил итоговые документы.

На конференции присутствовали члены правления Союза художников РСФСР монументалисты И. М. Бройдо и О. П. Филатчев. Особый интерес вызывал тридцатипятилетний Филатчев, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, автор только что оконченной росписи интерьеров Московского института нефтехимии им. Губкина, благодаря публикациям в журнале «Декоративное искусство СССР» и в серии популярных

книжечек общества «Знание» сделавшейся повсеместно известной.

«О. Филатчеву были предложены три глухих стены зала: замкнутое пространство с искусственным освещением. <...> Он расписал их сплошь, ввел множество фигур и сюжетов. Роспись начинается прямо от уровня пола. Его героям — студентам и преподавателям Института нефтехимической и газовой промышленности — остается сделать один шаг, чтобы сойти со стены»⁶. Это было новое веяние в монументальном искусстве, поддержанное рекомендацией Союза художников монументалистам в росписях опираться на станковые формы живописи. Сам Филатчев о методах своей работы на конференции не сказал ни слова. К тому, впрочем, и повода не было: основные темы на конференции касались материальной стороны монументального искусства и условий работы художников-монументалистов в Сибири. Резолюция конференции именно их выявляла и подчеркивала:

«1. Отсутствие технологической базы (специально оборудованных помещений для выполнения больших и сложных по технологии выполнения монументальных работ).

2. Отсутствие в Сибири материальной базы снабжения монументалистов.

3. Малочисленность художников со специальным образованием монументалистов».

В резолюции содержалась также рекомендация открыть «в Сибири филиал одного из художественных вузов с наличием в этом филиале факультета монументальной живописи и скульптуры»⁷.

Самостоятельно исправить описанную ситуацию в искусстве Сибири участники конференции, конечно, не могли. Они обратились за содействием в секретариат Союза художников РСФСР,

а себе вменили в обязанность созывать подобные конференции регулярно, сопровождая их «выставками эскизов, фотографий, слайдов со всех выполненных работ за отчетный период»⁸. Ближайшая выставка, в которой дружно участвовали монументалисты Сибири, состоялась через полгода после конференции, она проходила в Томске в феврале 1975 г.⁹

Впервые состоявшееся общение монументалистов Сибири воодушевило участников конференции. Выработанные конференцией документы Бройдо и Филатчев увезли с собой в Москву, в секретариат правления Союза художников РСФСР, укрепив надежду на ожидаемую поддержку монументального искусства в Сибири. Кирьянов же оставался ходоцем общего дела в официальных кругах Новосибирска. Помимо того, у него шла очередная большая работа, которая должна была убедить сограждан в действительности монументального искусства.

На южном торце здания Областного совета профсоюзов, на светлом, удобном для обозрения месте готовилось мозаичное панно «Труд, наука, культура, искусство». Оно монтировалось Кирьяновым на глазах студентов первого набора художественно-графического факультета Новосибирского педагогического института. Студенты в работе над панно никакого участия не принимали, они были только сочувствовавшими зрителями. Но затем и они были допущены на монтаж мозаики, чтобы видеть процесс работы и внутренне готовиться к соответствующей деятельности в качестве помощников автора проекта. Не сразу, не вдруг, но пришло время, когда студенты худграфа, а затем и студенты Новосибирского архитектурного института стали принимать участие в работе мозаичистов. Началось

⁸ Там же.

⁹ 4-я Зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая». От Новосибирска в ней участвовали восемь авторов монументальных работ. Кирьянов показал витражи Дворца культуры «Строитель».

⁶ Бычков Ю., Десятников В. Советская монументальная живопись // Знание. — 1977. — № 12. — С. 27—30.

⁷ Резолюция конференции монументалистов Сибири.

в то время, когда Кирьянов, проделав обычный при новом сюжете труд эскизных решений, начал выкладывать мозаику для фасадов Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии медицинских наук.

Идея и композиционный строй панно возникли и развивались от самого названия — «Человек и наука медицина», предложенного автору еще в начале работы, названия, которое само в себе содержало и тему, и идею будущего произведения. <...>

Фрагмент, открывающий (или завершающий) обзор панно на т. н. «Западном фасаде», показывает основоположника экспериментальной научной медицины Галена. <...>

Композиция строилась с учетом возможности обзора панно с трех различных направлений и с различных расстояний.

Панно в целом и фрагменты имеют ритмическое деление посредством чередования условных оптических линз, символизирующих научный медицинский контроль за происходящими конкретными жизненными и производственными ситуациями, фиксированными световыми потоками, исходящими от центрального светового круга. <...>

Тексты, введенные в композицию, несут, помимо информационной, еще и конструктивную и декоративную функции. Как, например, декоративные геральдические ленты, обрамляющие сверху и снизу центральную часть панно, они являются началом и завершением смыслового строя композиции. На нижней ленте, символизируя современные возможности медицины, как бы идет поток информации от ЭВМ о жизнедеятельности человеческого организма.

На верхней ленте графикой ЭВМ выписаны слова и изречения древнеримского поэта Ювенала — «Здоровому телу — здоровый дух», приобретшие в свете сегодняшних представлений вид афористически выраженной программы современной на-

уки. <...> Этот афоризм завершает и конструктивно, и в смысловом отношении как центральную часть, так и все панно в целом¹⁰.

Работа над мозаикой длилась долго, по сведениям друзей Кирьянова — десять лет. 29 марта 1989 г. перед ней состоялось выездное заседание градостроительного совета совместно с архитектурно-художественной секцией при Главном управлении архитектуры и градостроительства горисполкома общим числом 12 человек. Достоинства мозаики обсудили, рекомендовали выдвинуть ее на присвоение Государственной премии РСФСР. Автору было предложено продолжить работу для ИКЭМ, создать мозаичные портреты ученых-медиков, витражи в вестибюле здания, белый цвет стен главного корпуса заменить более подходящим к колористическому строю мозаики. Перед Кирьяновым открывались далеко идущие перспективы...

Но шел 1989 год. Уже расшатывались скрепы советского государства. Начались митинги, увлекавшие многих смелостью громко высказываемых критических суждений. В следующем десятилетии финансирование бюджетных работ сократилось до минимума. Оплачивать дорогостоящие произведения монументалистов уже не было возможности.

Кирьянов по инерции продолжал проектировать новые объекты, но дальше эскизов дело не шло. Он принял предложение занять место преподавателя рисунка и живописи художественно-графического факультета Новосибирского педагогического института. В этой должности он и закончил свой творческий путь.

¹⁰ Кирьянов В. Г. Конспект пояснительной записки панно «Человек и наука медицина».



АВТОРЫ НОМЕРА

Антонов Андрей родился в 1966 г. в Перми. Окончил семинарию при Троице-Сергиевой лавре. Семь лет преподавал в Вятском духовном училище богословские дисциплины и красноречие. С 2012 г. работает в Кировском театре кукол имени А. Н. Афанасьева в должности завлита. Автор книг «Равноденствие игрушки», «У Ноя была коровенка», «Семь неизданных поэм», «Ходит белый петушок», сборника стихов «То есть» и более трехсот статей на темы культуры и этики. Живет в Кирове.

Ахпашева Наталья Марковна родилась в 1960 г. в с. Аскиз, Хакасия. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких поэтических книг. Член СП России. Кандидат филологических наук. Заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Работает в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова. Живет в Абакане.

Башкуев Геннадий Тарасович родился в 1954 г. в Улан-Удэ. Окончил Иркутский государственный университет. Прозаик, драматург. Пьесы поставлены в театрах РФ и ближнего зарубежья. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Современная драматургия», «Сюжеты». Член Союза писателей России. Живет в Улан-Удэ.

Делаланд Надя родилась в 1977 г. в Ростове-на-Дону. Окончила филологический факультет Ростовского государственного университета, аспирантуру при РГУ, докторантуру Санкт-Петербургского государственного университета. Работает арт-терапевтом в психиатрической клинике «Преображение» (Москва). Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Арион», «Звезда», «Вопросы литературы» и др. Лауреат и финалист ряда литературных премий. Живет в Москве.

Злобин Владимир родился в 1990 г. в Новосибирске. Трудится разнорабочим. Своими учителями в литературе считает Н. Гоголя, П. Карпова, А. Платонова, Л.-Ф. Селина. Публикуется впервые. Живет в Новосибирске.

Легеза Дмитрий Владимирович родился в 1966 г. в Ленинграде. Окончил медицинский институт, работал врачом. Печатался в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», «Новый берег» и др. Автор двух сборников стихов. Лауреат конкурса им. Хармса (2013). Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, организатор международного литературного фестиваля «Петербургские мосты». Живет в Санкт-Петербурге.

Муратов Павел Дмитриевич родился в 1934 г. в Новосибирске. Окончил Ленинградский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат искусствоведения, член Союза художников России. Автор монографий «Художественная жизнь Сибири 1920-х годов» (1974), «Изобразительное искусство Томска» (1974) и др. Живет в Новосибирске.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг (серия ЖЗЛ) о Жюль Верне, Уэллсе, Брэдли, Леме, Толкине, братьях Стругацких. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат многих отечественных и международных литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

Прокопов Евгений Васильевич родился в 1953 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский институт народного хозяйства. Автор шести книг (проза, очерки, пьесы). Публиковался в журнале «Сибирские огни». Член Союза писателей России, Творческого союза художников России. Живет в Новосибирске.

Якимова Людмила Павловна родилась в Горьком. Окончила Горьковский пединститут. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института филологии СО РАН. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Сибирские огни», «Сибирский филологический журнал», «Slavia orientalis» и др. Автор более 300 научно-теоретических и литературно-критических статей и семи монографий по истории русской литературы. Живет в Новосибирске.



МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 4.04.2017 г. Дата выхода № 5 за 2017 г. в свет 10.05.2017 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.